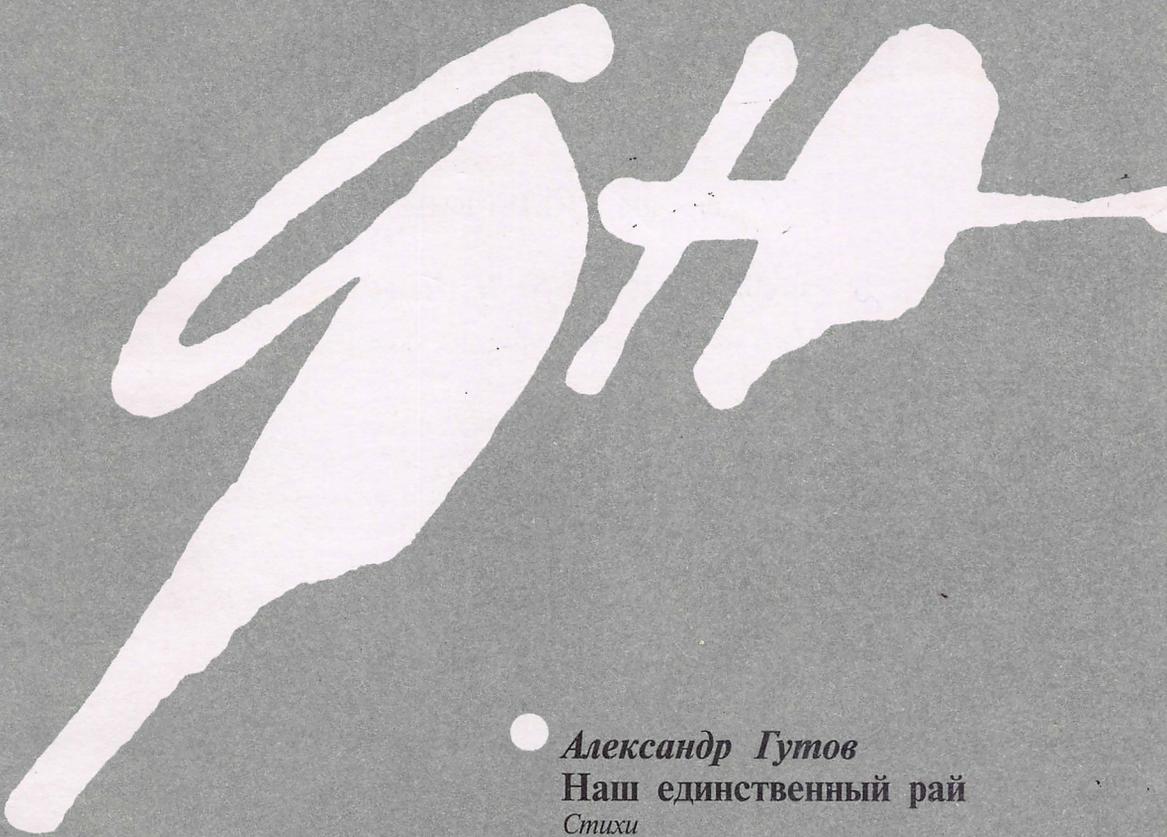


ДРУЖБА НАРОДОВ



- **Александр Готов**
Наш единственный рай
Стихи
- **Роман Сенчин**
Ничего страшного
Повесть
- **Борис Хазанов**
Третье время
Повесть
- **Алексей Автократов**
Афера
Физиологический очерк
- **Иван Дзюба**
Свобода и неволя
Бориса Чичибабина

5'2003

Читайте в следующем номере:

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ

Севастополь и далее

Рассказы о военно-морских людях

По слухам, по утверждавшейся офицерской молве, получалось так, что капитан-лейтенант Кунин входил в историю по крайней мере Черноморского флота небылцей, хохмой, скандалом, что, конечно, уязвляло его.

Или так: сработала нечистая сила! Колдовство! Проявление инфернальных сил, бороться с которыми бессмысленно.

Так думали все... Лишь адмиралы не сдавались, во всем вина Кунина.

Между Сциллой и Харибдой

«Круглый стол»

Россия зажата между факторами угрозы и давления. Каковы ее действия?

Почему война в Ираке не вызвала ожидавшейся волны терактов?

Агрессивная фракция ислама — и Китай. Враги? Союзники? Противовесы?

Есть ли сегодня у России геополитические интересы, которые она в силах осуществить?

Может ли восторжествовать идея всемирной тоталитаризации?

На эти и множество других вопросов пытаются найти ответы участники «круглого стола» Лев Аннинский, Константин Барановский, Владимир Дегоев и Игорь Яковенко.

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

5'2003

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Александр ГУТОВ. Наш единственный рай. <i>Стихи.</i>	3
Роман СЕНЧИН. Ничего страшного. <i>Повесть</i>	8
Александр МЫЗНИКОВ. Есть у сердца музыка немодная... <i>Стихи</i>	73
Галимьян ЗИНАТУЛЛИН. Смерть, которой никто не заметил. <i>Рассказ</i>	77
Борис ХАЗАНОВ. Третье время. <i>Повесть</i>	81
Светлана СОЛОЖЕНКИНА....Но вставало облако светло и огромно. <i>Стихи</i>	107
Вера ЧАЙКОВСКАЯ. Месяц в деревне. <i>Рассказ</i>	111

Публицистика

Алексей АВТОКРАТОВ. Афера. <i>Физиологический очерк</i>	117
---	-----

Нация и мир

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Несколько ночлегов с воином, шаманом и кузнецом	148
---	-----

Мемуары

Владимир ЛАКШИН. Последний акт. <i>Подготовка текста, «Попутное», примечания С.Н.Лакшиной. Продолжение</i>	169
--	-----

Критика

Анна КУЗНЕЦОВА. Берега реализма	192
Иван ДЗЮБА. Свобода и неволя Бориса Чичибабина. С украинского. Перевод Елены Мовчан	202

Эхо

«Такая страна». Рубрику ведет Лев Аннинский	219
Summary	224

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 2003 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70250

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и Министерства печати РФ

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК,
Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Леонид БАХНОВ, Василь БЫКОВ, Алла ГЕРБЕР,
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Иван ДЗЮБА, Александр КЛЯЧИН, Леонид КОСТЮКОВ,
Валентин КУРБАТОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Сергей ФИЛАТОВ,
Атнер ХУЗАНГАЙ, Константин ЩЕРБАКОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ.

Александр Готов

Наш единственный рай

* * *

Сын земли городской
От макушки до пят,
Закопной тоской
Насыщающий взгляд,

Человек из толпы,
Где локтем под ребро,
Я рисунок судьбы
Вижу в схеме метро.

Мы в дороге молчим,
Наши жесты скупы.
Кто из нас отличим?
Кто из нас вне толпы?

Униформе под стать
Мой потертый кожан,

Трехэтажная «мать» —
Не бомонд парижан.

Я со всеми бегу
В ежедневном броске.
Я — иголка в стогу,
Я — крупинка в песке.

Я тепла хоть микрон
Схороню в глубине,
Как последний патрон
Берегут на войне.

И вагонную пядь —
Свой короткий покой —
Завоюю опять
В плотной кладке людской.

Отбой

Сомкнувшись в шесть тугих колонн,
О плац бьем сапоги.
Идешь, зажат со всех сторон,
Орешь какой-то гимн.

Про то, что ветры веют с гор
И кто-то на посту,
Ревет в сто глоток страшный хор,
Аж слышно за версту.

Сержант — гармошкой сапоги,
Снежок воротничка.
«Не слышу, вашу мать, шаги,
Хреновые войска!»

Аллея, как назло, узка.
«Сомкнуться и терпеть!»

Готов Александр Геннадиевич родился в Москве в 1963 г. в семье учителя физики (отец) и инженера химического предприятия (мать). В 1980 г. закончил среднюю школу в Кузьминках и поступил в МГПИ им. Ленина на филологический факультет. К этому времени уже писал стихи. Закончил институт в 1985 г.

С 1986 г. преподает в школе № 1143 литературу и русский язык. Дважды становился победителем конкурса «Учитель года» Юго-Восточного округа, занимал призовое место в московском конкурсе. Участвовал в разработке новой программы литературного образования, выпустил методические пособия. В 1995 г. стал лауреатом премии московского мэра в области образования, в 2002 г. присвоено звание «Заслуженный учитель России», получил премию правительства Москвы в области образовательных технологий.

С 1997 г. выступает с чтением своих стихотворений в рок-кабаре Алексея Дидурова.

Живей, еще я добр пока,
И громче песню петь!»

Допели — рад воротничок.
Вот и кирпич казарм.
«Минута — всем занять толчок!» —
Кричит наш командарм.

И вот шесть взмыленных колонн
Одну штурмуют дверь.
Сопенье, мат со всех сторон
И несколько потерь.

В сортир ворвался, как прибор,
Саперный батальон.
«Минута кончилась — отбой!» —
Орет Наполеон.

Тут и секунды не блажи.
Сержант могущ, как Бог.
Все по-уставному сложи:
Портянки на сапог

И в койку, разом, поскорей
Уйти в короткий сон.
И вдруг последний у дверей.
Нет, не успеет он.

Сержант ослабился слегка:
«Подъем!» — и все в проход,
Портянки, раструб сапога.
Стоит понтонный взвод.

Из-под пилотки на глаза
Соленый льется пот.
«Отбой!» — ну пронеслась гроза.
Момент — и в койках взвод.

«Подъем!» — не думай, ты — кремь,
Все вытвержено в лоск:
Хэбешка, сапоги, ремень.
«Успел!» — подскажет мозг.

«Отбой!» — портянки на сапог,
Хэбе с пилоткой прочь,
Последний в койку марш-бросок —
И провалиться в ночь.

Нам повезло, и наш сержант
Нам не испортил дня.
Я слышал, что какой-то Дант
Служил здесь до меня.

5 апреля 1997 г.

* * *

Оскопленная роща средь камня и пыли,
Суевливая площадь, где полгорода в мыле;
Лишь один неподвижен и в роли мессии
Вознесен и приближен к стеклянной «России».
Пару жестов скупых, хоть при жизни раскован,

От забав голубых высотой застрахован.
 В этом городе странном, бывшем красным когда-то,
 Словно рваная рана или алая дата,
 Я родился и выжил, эпохой дышал.
 Диаматы мурыжил, по стройкам шуршал.
 Я носил кирзачи, я видал города,
 Кое-что заучил, кое-что навсегда.
 Как чугунно тяжки были прежние годы,
 Где пытались в пески двинуть с Севера воды,
 Где старик, свой финал всем являя с экрана,
 Моих сверстников гнал в злое пекло Афгана,
 Где остригли тайгу, как у дома аллею,
 Эпохальную выстроив узкоколейку.

Но эпоха пришла необычной окраски:
 Обнажились тела и посыпались маски.
 Превращенья просты и предсказаны даже:
 Обернулись мечты ослепительной лажей,
 Превращенье в нахала юнца нахаленка,
 В золотого тельца — золотого теленка.
 Что ни год — то в итоге считай високосным,
 За афганский поход муки приняли в Грозном.
 Стали Крезы богаче, как обрушилась хата.
 Не усвоить иначе урок диамата.

Декабрь 1997 г. — январь 2002 г.

* * *

В этом странном вертепе
 Все идет невопад.
 Перелески и степи
 Меньше чых-то палат.
 Промерзает до хруста
 В черных лужах вода,
 И в почете капуста,
 А рубли — как когда.

В этом странном вертепе
 Барыши — с авантюр,
 На пророках не цепи —
 Пиджаки «От кутюр».
 Но волнуются Крезы,
 Хоть везде КПП,
 Первых нот «Марсельезы»
 Слыша звуки в толпе.

А в моем Вавилоне,
 Где пространства — в обрез,
 Косяки, как в затоне,
 Пропускает Совбез.
 Тянет школьницу к травке,
 Прет охранник добро.
 Вот бы памятник Кафке
 Где-нибудь у метро.

В этом странном Содоме
 Все реформы — в пике.
 Часть страны — сразу в коме,
 Часть страны — в столбняке.
 Что ни праздник — ни к месту,
 Что ни дом — без ворот.
 Вольно Русту и Весту
 Среди наших широт.

Тридцать первое декабря 2002 года

Этой ночью святитель Никола
 По заснеженным тропам
 От Камчатки дойдет до Оскола
 И своротит к Европам.

Вырвет нас из трясины мертвящей,
 Хватки буден бульдожьей,
 Запах хвои напомнит пьянящий,
 Шум волненья в прихожей.

В сердце, может быть, тронет такое,
 Добираясь до сути,
 Тридцать девять прожитых с лихвою
 Очищая от мути.

В нимбе искр, избавляясь от плена,
Память — лучшее средство —
Мне закатит, проворная, в вены
Пару кубиков детства.

Пусть еще позади перегонец,
Что на счастье был скуден,
Этот день, словно старый червонец,
Среди мелочи буден.

Нынче ночью, таинственно-длинной,
Черт-те что обещаая,
Выйдет кто-то под маской козлиной,
Стрелки на год смещая.

Декабрь 2002 г.

* * *

А.А. Дидурову

Ты — стареющий гид
По московскому дну.
За стеной твой Аид
Точит зуб на струну.
Бывший мальчик, хитрец,
Что жевал лебеду,
Ты — джинсовый скворец
В коммунальном аду.

Чай остыл на столе,
Взгляд соседи косят:
Обречен на сто лет —
Отмотал пятьдесят.
Не девятый ли круг,
Не повторный ли срок?
Стих жесток и упруг,
Как взведенный курок.

* * *

Неловко новый день встречая
В седьмом часу,
Иду в сопровожденьи лая
Каких-то сук.

Меня обнюхав понемногу,
Решили — свой,
И Цербер уступил дорогу
И снял конвой.

Тропинка вьется средь подобных
Двух гаражей,
Как в древности средь монстров злобных
Шел путь мужей,

Что плыли по волнам пролива
В какой-то край.
А надо мной без перерыва
Вороний грай.

Краснеют острой буквы грани.
Взгляд — на ходу:
Орфей с гитарой об Афгане
Поет в аду.

Торговли мелочной авгуры
Сулят товар,
Мелькают тени, лица хмуры
И слаб навар.

И здесь же — быстрая работа,
Взяв документ,
С моей персоной сверит фото
Мальчишка — мент.

Он козырнет мне — знак, сулящий:
Свободен путь.
И это жизни настоящей
Простая суть.

Ноябрь 2002 г.

* * *

Горизонты сужая, Выплывают дома. Не своя, не чужая, В город вторглась зима. Не пейзаж после битвы — Прежний мир на юру. Как по лезвию бритвы, Ты идешь по двору. Горожанин со стажем И к тому ж пешеход, В муравейнике нашем Знаю: сутки — за год, Серый камень асфальта, Ветер бьет наугад, Как иконная смальта, На рекламе оклад. Здесь не рай, не пророки, В наши кущи — без виз,	И покатошь дороги Чуть заметная вниз. Но какие поэты И какая печаль, Но какие рассветы На Оке я встречал! Как в отчаянных спорах Мысль прорваться спешит, Листьев выцветших ворох Как под ветром шуршит. Чьи-то лица навстречу, С теплым светом из глаз. Мимоходом замечу: Жизни ход не угас. Бит и ветром, и градом (Хоть на ключ запирай) Мир, что кажется адом, — Наш единственный рай.
---	---

Ноябрь 2002 г.

* * *

Все переменится:
Время, пейзаж,
Деньги, азы.
Старые козыри выйдут в тираж
Или в тузы.

Вырастет девица.
Грудью тугой
Станет пленять.
Все перемелется.
Словно мукой,
Выбелит прядь.

Карты тасуются.
Кто-нибудь сдаст —
Выкрикну: «Вист».
Годы спрессуются
В тоненький пласт,
Текста — на лист.

Все перемелется:
Мысли, слова,
Шрамы, рубцы.
Вырастет деревце,
Брызнет листва,
Крикнут птенцы.

Роман Сенчин

Ничего страшного

Повесть

1

Как-то так незаметно, само собой получилось, что все продукты стали храниться в одном месте — в холодильнике. Даже макароны, сахар, специи... Это оказалось очень удобно — открыл дверцу и сразу же все нашел. Да и еще, наверное, есть причина, почему продукты попадали не в шкафчики, тумбочку у электроплиты, а в холодильник. Не так громко, требовательно он гудит, не так звонко трясутся в его нутре полки-решетки. Когда полон — гудение становится спокойным, уютным, сытым каким-то, точно похрапывает устроившаяся на коленях любимая кошка...

Муж и дочь ушли на работу, а у Татьяны Сергеевны выходной. Она работает три дня через три в сигаретном киоске неподалеку от дома. Достаточно удобно вообще-то, единственный минус — киоск до того пропитался запахом табака, что аж грудь начинает болеть и нос к концу смены распухает, как у алкоголички. Летом Татьяна Сергеевна приоткрывает дверь, и это слегка освежает воздух, а зимой, в морозы, когда включен обогреватель, от едкого, смолянистого духа кружится голова, и в горле першит так, будто туда перца насыпали.

Время от времени Татьяна Сергеевна вдруг загорается желанием найти другое место. Расспрашивает знакомых, простаивает по полчаса у щитов объявлений, изучает колонку «Вакансии» в местной газете. Тринадцать часов (с восьми утра до девяти вечера) в такие периоды высиживает через не могу, чуть не плача от обиды и досады, завидует даже старухам с семечками по соседству, но вскоре этот период кончается, и Татьяна Сергеевна понимает, что ее сигаретный киоск — подарок судьбы. И работа простая — получай через окошечко деньги, выдавай взамен пачки «Явы», «Примы», «Союз—Аполлона», зажигалки, спички — да и зарплата более-менее. Две с половиной тысячи. Муж в своем институте чуть больше двух получает, а дочь Ирина в лаборатории — тысячу семьсот. К тому же работает Татьяна Сергеевна пятнадцать дней в месяц — остается время на домашние дела, на дачу.

Дача-дача... Да, о даче, кажется, теперь можно забыть...

Очнувшись от мыслей, глянула на часы, заторопилась. До десяти надо успеть обед приготовить. Внук Павлушка увлеченно смотрит в комнате длинный японский мультфильм про космических чудищ, так что пока мешать не будет. Обычно-то он по будням в садике, но там карантин уже больше недели. Краснуха.

Вынутое из морозильника еще рано утром мясо легко поддавалось ножу. Впрочем, и замерзать как следует, в камень, не успевает. Каждый божий день, кроме субботы и воскресенья, с десяти утра до пяти вечера происходит отключение электричества. Какие-то там долги-передолги у города перед энерго чем-то.

Позапрошлым летом, когда начались эти отключения, люди возмущались очень, подписи собирали, квитанции, чтоб показать, насколько исправно за свет они платят, иски носили в суд, а потом вроде как приспособились и притихли... Зимой свет в основном давали без перебоев, хотя то и дело возникали перебои с отоплением — то трубы лопнут, то горючее на ТЭЦ кончится... И вот снова май, потеплело, и свет, как и два предыдущих года, только утром и вечером. И нет уже явно протестующих, по телевизору и радио, в газетах никто об этом не говорит и не пишет, никто с подписными листами по подъездам не бегаёт. Привыкли.

Да и как не привыкнуть? Иначе только отчаяться остается. Лечь и лежать...

Татьяна Сергеевна срезала мясную мякоть с кости. Кость опустила в кастрюлю с водой, а мякоть поделила на аккуратные брусочки — будет поджарка.

Пока варился бульон, нашинковала морковь, лук, свеклу, капусту, почистила пяток картофелин... Электрорплита старая, две конфорки из трех нагреваются слабо, на них и вода закипает еле-еле. Надо бы электрика вызвать, но все как-то — то времени нет его ждать, то денег жалко. Ведь не бесплатно же он станет чинить, тем более — квартира приватизированная, цены в жэке для таких квартир коммерческие.

В целом, если соединить зарплаты мужа, дочери и ее, получается совсем даже неплохо для их города. Почти что семь тысяч. У других и вовсе работы нет, и непонятно на что живут. Хотя, с другой стороны, что такое семь тысяч для семьи из четырех человек?.. По субботам Татьяна Сергеевна с дочерью ходят на рынок. Сразу, почти механически, покупают макароны, рис, подсолнечное масло, сахар, куриные окорочка, а потом начинаются сомнения, совещания — брать или не брать йогурт для Павлика, какое мясо — говядину с осколками раздробленной кости или все-таки что-нибудь вроде филе, раскошелиться ли на баночку шпротов, кофе, сгущенки... Хорошо еще, что свежие фрукты в основном дочь с работы приносит — в виде подарков; не надо на них еще тратиться.

В первую неделю месяца Татьяна Сергеевна идет в сберкасса с пачечкой квитанций. Платит за телефон, садик, квартиру. И оставляет в сберкассе без малого тысячу... Пять человек прописаны в их двухкомнатке. Четверо вот живут, а дочерин муженёк так, числится только, но платить за него — плати... Надо бы напомнить Ирине. Пускай он выписывается или обратно сходятся, или хотя бы алименты нормальные платит. Нечего...

— Баб, — появился на кухне Павлушка, — пошли гулять!

— А что, кончился мультик?

— Угу, кончился.

Татьяна Сергеевна взглянула в окно. Погода, кажется, подходящая. Погулять бы надо, конечно.

— Сейчас, милый, — ответила, — только обед приготовлю. Ты пока собери игрушки. По всей квартире разбросаны.

Павлушка было пошел, но тут же и передумал:

— Не хочу! Давай гулять надо!

— Обед еще не сварился. Пятнадцать минут.

— Пятнадцать минут?

— Да, да, иди совочки, ведро найди. Возьмешь ведь их? Пистолетик...

Внук обрадовался занятию и убежал.

Скоро четыре года ему. Совсем, кажется, недавно (да это уж про любое событие в жизни можно сказать: кажется, совсем недавно) встречали Иришу в вестибюле роддома. Купили большой букет роз, шампанское. Иринин муж, Павел, помнится, все вытирал ладони о свои светло-синие джинсы, и на джинсах оставались мокрые полосы; на дверь, откуда должна была выйти жена с сыном, смотрел испуганно, почти в ужасе...

Она вынесла Павлушку сама. Лицо серое, замученное, но в то же время такое счастливое было, одухотворенное. С гордостью подала сверток Павлу, взамен приняла цветы.

Через неделю-другую, когда жизнь семьи вошла в новую, уже с младенцем, колею, стало ясно, что муженек-то у Ирины эгоист из последних и долго он здесь не протянет. И действительно — сперва стал отпрашиваться переночевать в мастерской, поработать, дескать, а месяца через два, тайком собрав вещички, просто сбежал. Осталась от него вот память — названный его именем и по его же настоянию мальчуган...

Ну а что?.. Он ведь у нас творческая личность, художник! По крайней мере постоянно об этом напоминал. Но своим художеством, уверена Татьяна Сергеевна, оправдывает он эгоизм и лень. За тот год с небольшим, что прожил здесь, она не увидела ни одной его картины, за исключением двух копий Гогена, сделанных, кажется, еще в училище, — кривотелые папуаски с недоспелыми плодами в руках. Что-то он вроде набрасывал карандашом, какие-то натюрмортики, которые школьники на уроках рисования на четверочку выполняют.

Сейчас живет в подвале кинотеатра «Ровесник», работает там оформителем. И всегда, проходя мимо «Ровесника», Татьяна Сергеевна поражается карикатурности лиц актеров, что малюет Павел гуашью на больших, из мешковины, щитах, вывешен-

ных справа и слева от входа в кинотеатр. Эти щиты наверняка людей только отпугивают...

Нашла взглядом будильник. Четверть десятого. Борщ варится, мясо в сковородке почти дошло. Осталось еще гарнир приготовить. Спагетти лучше или гречку? Рис уже надоел.

Остановилась на гречке. Павлушка ее, правда, не любит, но он наестся борщом с поджаркой... Вообще, признаться надо, капризным он что-то растет чересчур. И воспитательницы на него жалуются: в тихий час ложиться не хочет, не ест, что дают, дерется, во время прогулок с участка постоянно убежать норовит. А ведь и школа не за горами.

Включила радио. Бубнилку, как его называют. Тут как тут — до приторности участливый и душевный и в то же время деловой голос молодого мужчины: «Уважаемые пенсионеры! Мы знаем, как многим из вас тяжела, беспросветна старость, и искренне хотим вам помочь». Татьяна Сергеевна скорей убавила звук до полной неслышности. Костью в горле эти постоянные уговоры пожилых людей завещать свою квартиру фирмам в обмен на прибавку к пенсии и цветной телевизор... Пусть даже такие фирмы и не мошенники, пусть честно условия выполняют, но ведь в скольких семейных драмах они повинны!.. Вот живет, например, старушка в отдельной квартире; на старость лет у нее, естественно, обиды всякие, мнительность, и после очередного конфликта с родней она вызывает по такому объявлению агента и переписывает квартиру на фирму. Потом, может — да и наверняка, — одумается и раскается, попытается будет сделать, как было, восстановить прежнее завещание, только сделать это уж точно в сто раз сложнее. Неустойки, суды... Вот и катастрофа, крах мечты молодых о своем жилище. И тоже обиды, обиды...

— Баб, ну пошли-и! — снова появился на кухне Павлушка.

Уже с ведерком, набором совков, сам натянул джинсы и свитерок, даже обулся, правда, не на ту ногу.

— Сейчас, Павлуш, гречка сварится.

— Не хочу гречку!

— А это не тебе, а маме и дедушке. Тебе борщик со сметаной сварила.

— Не хочу-у! Пошли-и...

— Перестань капризничать! — повысила голос Татьяна Сергеевна. — Переобуйся. Опять неправильно.

Внук присел в дверном проеме, стал стягивать с ног ботиночки... Пора сандалии ему купить — погода-то почти летняя.

В универмаге Татьяна Сергеевна видела симпатичные и, кажется, прочные, за двести тридцать рублей. Надо с Ирой посоветоваться, сводить Павлушку примерить. Без него покупать рискованно — уже многое надевать не хочет. «Не нравится!» Тоже вот личность...

Прибавила громкость бубнилки — и вовремя. Дикторша как раз объявляла: «Новости в середине часа». После короткой музыкальной заставки внятной скороговоркой начала рассказывать:

«В чеченском селении Новые Атаги совершено покушение на исполняющего обязанности начальника райвоенкомата. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован. Один военнослужащий погиб и еще один получил ранение».

«Ох, сколько можно, — горестно, привычно качнула головой Татьяна Сергеевна, открыла кастрюлю. — Лет уж семь там одно и то же, одно и то же...»

А дикторша озвучивала следующее известие:

«Россия сокращает количество миротворцев в Косово. Этой ночью на родину отправился первый эшелон с военными. Вывод личного состава и техники продлится до конца июня».

Ребром ложки Татьяна Сергеевна прижала к бортику кастрюли картофельный брусочек, надавила. Тот легко разломился на две части. Готово.

«На городском кладбище в городе Эссентуки обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Адская машина была положена в полиэтиленовый пакет, который висел на одном из деревьев рядом с могилами».

Эта новость напомнила о взрыве на каком-то московском кладбище несколько лет назад. Человек пятнадцать тогда погибли. Афганцы-бизнесмены. Кого-то долго судили, приговаривали к срокам, потом оправдывали, снова судили...

«С Юрия Буданова может быть снято обвинение. Судебно-психиатрическая экспертиза признала полковника невменяемым в момент убийства чеченской девушки».

«Хм, — усмехнулась Татьяна Сергеевна, помешивая булькающую, как гейзер, гречку, — как же они умудрились теперь-то определить?.. Ведь не вчера же случилось...»

«По предварительным данным, обрушение кровли монтажного корпуса на Байконуре, — не терял энергичности голос дикторши, — произошло из-за рокового стечения обстоятельств. Окончательные выводы госкомиссия огласит на следующей неделе».

— Ба-аб, ну давай! — Павлик переобулся и вытягивал левую ногу, чтобы Татьяна Сергеевна завязала шнурок.

— Пять минут еще буквально. Сейчас сготовится...

— Пять? — Он посмотрел на свою руку, растопырил пальцы, шепотом их пересчитал, мотнул головой. — Много! Пошли-и!

— Помолчи хоть маленько! Дай послушать, что в мире творится.

Внук топнул ногой, всхлипнул и ушел из кухни.

Пусть посердится. Если во всем потакать...

«В республике Тува, — продолжали сообщать из пластмассовой коробочки радио, — удалось остановить распространение огня, угрожающее селу Сой. А в Хабаровском крае за минувшие сутки площадь охваченной огнем тайги возросла на семь тысяч гектаров».

«Каждую весну, — по инерции продолжала ворчать Татьяна Сергеевна, — горит и горит. А не горит, так затопляет...»

«Торговый дом «Уралсевергаз» прекратил сегодня газоснабжение нижнетагильского химзавода «Планта». В результате без горячей воды остался жилой микрорайон «Северный», дома которого обслуживаются котельной химзавода. Долг предприятия за поставку топлива составляет три целых три десятых миллиона рублей».

«Да-а, конечно, — отреагировала она и на эту новость, — отключать-то они умеют».

Вздохнула и испугалась своего вдоха, дряблого, совсем старушечьего; заторопилась, проверила мясо в сковородке, сдвинула гречку с горячей конфорки. Все, можно идти.

Ах, да, чуть не забыла!.. Выдернула вилку холодильника из разболтанной розетки — масса случаев, что перегорает техника, когда вечером электричество подадут. Напряжение скачет, как бешеное.

— Ну все, Павлуш, не злись, — примирительно сказала, надевая кофту, — надо же мне было еду приготовить. Мама с дедой с работы придут голодные, а у нас один хлебушек... Пойдем, пойдем гулять теперь, пока лифт не отключили!

Павлик исподлобья смотрел в экран телевизора, делал вид, что не слышит.

* * *

Первая лекция — в девять часов. «Древнерусская литература» у первого курса историков. После большой перемены, в час дня, фольклор на втором курсе филологического факультета.

Путь от дома до института (четыре года назад переименованного в педагогический университет, но название не прижилось) занимал у Юрия Андреевича обыкновенно двадцать минут на троллейбусе. Впрочем, в последнее время троллейбусы с улицы почти исчезли — ломаются, говорят, один за другим от старости, — и их заменили микроавтобусы «Газель», по шесть рублей за проезд.

И сегодня, хоть вышел он в самом начале девятого, у института оказался за пять минут до начала лекции. Почти бегом преодолевал путь от остановки до двери. По дороге ругал себя: ведь еще в прошлом месяце решил не покупать проездной билет на троллейбус (все равно почти не ездит на них, чаще всего, не дождавшись, садится в «Газель»), но двадцать пятого апреля по давней привычке подошел к киоску «Гортранс», сунул в окошечко сто двадцать рублей: «Проездной на троллейбус, будьте добры. На май».

Да, всё, надо бросать эту традицию, тратить пусть на три рубля больше, зато добираться на работу без таких вот проблем. Сперва на остановке мнешься, а потом — трусой...

Уже больше тридцати лет Юрий Андреевич Губин пять раз в неделю открывает тяжелую, из толстого мутного стекла дверь, входит в вестибюль историко-филологи-

ческого корпуса. Раньше, во времена своего студенчества и аспирантуры, сдавал пальто в гардероб, а затем по праву преподавателя стал раздеваться на кафедре.

Двадцать три года он преподает здесь древнерусскую литературу и фольклор. Давно пора бы получить профессорское звание (уже как-то совсем неприлично в сорок девять именоваться доцентом), только все собраться не может всерьез засесть за докторскую, набрать себе учеников-аспирантов. Размышляет об этом частенько, но мимоходом, расплывчато — скорее даже не размышляет, а мечтает написать, набрать, статью...

Надсадно, загнанно дыша, Юрий Андреевич поднялся по крутым, вышерканным до ложинок в бетоне ступенькам на третий этаж, вошел на кафедру русской литературы.

Просторная комната, на стенах портреты классиков. С потолка свисает огромная, напоминающая театральную, люстра... А вот ходить по комнате сложно — дело в том, что на кафедре восемь штатных сотрудников и у каждого персональный стол, плюс к тому стоят два громоздких, глубоких кресла, между ними журнальный столик с чайной посудой, и еще, конечно, вешалка, шкафы для документов и книг.

— Доброе утро! — одновременно бодро и запыхавшись, произнес Юрий Андреевич.

Неизменная Наталья Георгиевна, старшая лаборантка, как радушная хозяйка, улыбнулась в ответ и кивнула Губину; молодой преподаватель, недавний аспирант Кирилл, тоже кивнул, но быстро, судорожно, продолжая перебирать бумаги (волнуется перед лекцией). В глубине кабинета над книгой, собрав в кулаке свою жидкую седую бороду, сидел профессор Илюшин; на приветствие Губина он вовсе не отреагировал — наверняка, увлеченный чтением, и не услышал.

Четвертый находящийся в кабинете, Дмитрий Павлович Стахеев, преподаватель советской литературы тридцатых—пятидесятых годов, красиво курил, развалившись в кресле. Дождался, пока Губин разденется и направится к своему столу, резко вскочил, протянул руку:

— Приветствую, Юрий Андреевич! Как оно? — И сам же, по своему обыкновению, подказал ответ: — Ничего?

— Ничего, Дим... ничего хорошего.

Они были знакомы, как говорится, тысячу лет. Точнее — тридцать два года, еще со студентов. Стахеев учился на курс старше, после окончания института поступил в аспирантуру, затем стал преподавать. За ним следом двигался и Юрий Андреевич. Судьбы, в общем, похожи, но только на первый взгляд...

За свою жизнь Юрий Андреевич встречал всего нескольких подобных Стахееву. Людей, по-настоящему умеющих жить, не устающих от жизни. Энергичных, как называли их, одни — почти с восхищением, другие — с презрением и брезгливостью. Да, нытики, вздыхатели разные таких энергичных всегда не любил... Презрение и брезгливость Губин чувствовал и в себе, несмотря на то что считал Дмитрия Павловича почти что другом, но за этим презрением трусливо пряталась простая зависть его, вялого, слабого к сильному.

Стахеев все время был у него перед глазами.

Без видимых трагедий сменил трех жен, без видимых усилий содержал пятерых детей; чуть ли не в каждом номере областных «Ведомостей» появлялись его статьи о литературе, о выдающихся личностях, о театре, о книжных новинках, и уж точно в каждом номере — «Хронограф», где вкратце рассказывалось о важнейших событиях мировой истории... В двадцать восемь он защитил докторскую, в тридцать четыре стал профессором. Еще в советское время побывал в Болгарии, ГДР, Чехословакии и почти «западной» Югославии, одевался всегда в дорогие костюмы, ежегодно менял портфель; теперь, поговаривали, параллельно с преподаванием Стахеев имел какие-то коммерческие дела...

Юрий Андреевич старался особенно с ним не сближаться. Причиной тому было все то же внутреннее, скрываемое, конечно, но непреодолимое презрение, прячущее зависть к удачливому, деятельному человеку. И зависть только усиливалась, крепла по мере того, как приближался Юрий Андреевич к своему пятидесятилетию... Пятьдесят лет жизни почти за спиной. Впереди, вблизи уже — старость...

В прошлом году, на юбилей Стахеева в ресторане «Сибирские зори», увидев его, розовощекого, счастливого, в окружении таких же счастливых бывших трех жен и аспирантки Евгении, которую прочили в очередные жены, пятерых детей (от почти тридцати до восьми лет), сослуживцев с подарками и здравицами, Юрий Андреевич почувствовал такое острое раздражение, омерзение даже, что, просидев ради приличия

часа полтора, потихоньку увел свою немолодую, грузную, первую и единственную жену домой...

— Ничего хорошего, говоришь? — сочувственно усмехнулся Стахеев. — Н-да, старичок, ты не оригинален.

— Что ж, и сам не рад.

— Так надо ж встряхнуться! Цыгане, тройка, рестораны...

Как алюминиевая ложка о миску, задребезжал звонок. И вовремя — прервал в самом начале малоприятную, никчемную беседу.

Молодой Кирилл, схватив папку с лекциями, убежал. Стахеев вернулся к журнальному столику, затушил сигарету в глиняном башмачке-пепельнице. Юрий Андреевич достал из портфеля бумаги, хрестоматию Гудзия. Взглянул в зеркало, причесался.

— Борис Антонович, — окликнула Илюшина старшая лаборантка, — звонок уже был!

Тот ошалело, будто разбуженный среди ночи, огляделся, бормотнул что-то, взял книгу и походкой пьяного вышел. Губин направился вслед за ним, не спеша, зная по опыту, что первые несколько минут занятий — время пустое. Студенты должны перездороваться, рассесться, найти в своих шуршащих пакетах что там им нужно. Настроить более-менее...

В коридоре его нагнал Стахеев, шагая уверенно, чуть враскачку. Руки в карманах будто подчеркивали, что ни в какой помощи, хотя бы в тезисах лекции, их хозяин не нуждается. Юрий Андреевич опять почувствовал раздражение и зависть. Он, почти на голову выше Стахеева, крупнее, солиднее, казался себе сейчас напялившим костюм и галстук дворовым оболтусом; а Стахеев — то ли директор школы, то ли участковый...

Их обгегали опаздывающие. Некоторые мимоходом, через плечо здоровались.

— Слушай, старик, у тебя до сколько сегодня? — спросил Дмитрий Павлович.

— Вторая лекция в час. Потом — свободен.

— Везет. А мне еще возись с аспирантами, к ученому совету готовься... Как белка кручусь.

Но в этой жалобе Стахеева ясно слышалось, может, и не осознанное им самим превосходство. Ты вот, мол, неприметный кандидат-доцент, а я — фигура незаменимая.

Юрий Андреевич ответил неискренне сочувствующим вздохом:

— М-да-а...

— Хотя ладно, подождут аспиранты... — Стахеев вдруг изменил интонацию. — Дело у меня к тебе, старик, очень важное. Надо бы обмозговать.

Остановились у дверей аудитории, где Губин читал лекцию. И минуту назад он бы спокойно вошел туда, лишь кивнув на прощание коллеге...

— Что случилось? — спросил сейчас почти испуганно; дел у Дмитрия Павловича к нему за все тридцать лет случилось не густо.

— Да это, видишь ли, не в двух словах. Давай после занятий. А лучше — на большой перемене. Посидим в «Короне», например, поговорим обстоятельно... Как, лады?

— Лады, — кивнул, конечно, Юрий Андреевич.

Войдя в аудиторию, по привычке пробежал глазами по рядам, поднимающимся амфитеатром, внятно, в полный голос объявил:

— Добрый день! Садитесь!

Сам же втиснулся в узкую фанерную трибунку, положил перед собой бумаги, хрестоматию Гудзия, отодвинув ребром ладони в угол шуршащую обертку от «Твикса». Еще раз, теперь уже пристальней, посмотрел на студентов, про себя отметил: «Едва ли треть собралась».

— Тема нашей сегодняшней лекции — «Сатирическая литература шестнадцатого тире семнадцатого веков».

Это была предпоследняя лекция курса. Последнюю, по традиции, Юрий Андреевич посвящал старообрядческой литературе. А затем начинались зачеты, экзамены. В июле — вступительная эпопея. Потом же, наконец, коротенький отпуск...

Двадцать четвертый раз он говорит в этой аудитории, стоя в этой же самой, напоминающей детский гроб, трибунке, одни и те же слова:

— Датировка «Повести о Ерше Ершовиче» вызывает споры. Принято считать, что написана она в середине, а то и ближе к концу семнадцатого столетия. Впрочем, в начале шестидесятых годов стали появляться аргументированные гипотезы, что

«Повесть...» создавалась в конце шестнадцатого или в самом начале семнадцатого веков...

Двадцать три волны студентов, двадцать три курса филологов, в каждом из которых по шестьдесят человек. Без малого полторы тысячи набирается... Единицы остались здесь, в родном институте, некоторые уехали в Новосибирск, Питер, в Москву, из них, наверное, с десятков в науке; кое-кто, естественно, работает по специальности — учителями литературы и русского языка. Но большинство-то занимаются совсем не тем, ради чего учились, читали совсем не нужные в повседневной жизни книги, исписывали толстые тетради конспектами, не спали перед экзаменами, до слез радовались дипломам...

Город не из крупных. Впрочем, считается студенческой столицей Западной Сибири. Да, вузов тут хоть отбавляй... На улицах Юрий Андреевич то и дело встречает знакомые лица тридцати-, двадцатипятилетних парней и девушек; и каждый раз как поленом по голове, когда узнает он в троллейбусной кондукторше бывшую бойкую девчущку, отлично прочитавшую доклад на тему «Областные тенденции в литературе Древней Руси»; или вдруг продавец из палатки с видеокассетами оказывается тем юношей, что так бегло, голосом новгородского дьячка шпарил: «Коркодил зверь лют есть, на что се разгневает, а помочится на древо или на ино что, в тот час се огнем сгорит. Есть в моем земли петухы, на них же люди ездять». А теперь вот увлеченно рассказывает он потенциальному покупателю: «Ну, «Эволюция»! Просто шестисотый фильм! Такой синтез фантастики и стёба. Эффекты не слабее, чем в «Матрице». Дэвид Духовны в главной роли!..»

Надо бы привыкнуть к подобным столкновениям, но Губин никак не может да и не хочет привыкать. Он старается поскорее уйти, прячет глаза, словно увидев нечто постыдное. А бывшие ученики реагируют неодинаково — одни тоже отводят взгляд, другие делают вид, что не узнали; бывает, радуются, бурно здороваются, бывает, сочувствующе спрашивают: «А вы всё там же?» И когда он кивает, вздыхают. Явно жалеют его...

Он и на рынок с женой перестал ходить, чтоб не умножать подобные встречи. Тем более — на рынке (не на том, где Губины покупают по субботам продукты, но какая, в принципе, разница?) работает и дочь. Не торговкой, слава богу — одно пока утешает, — в лаборатории, проверяет на нитраты укроп с арбузами... А ведь закончила биохим университета, Мичуриным и Павловым зачитывалась, портрет Вавилова над кроватью держала...

* * *

Официально рабочий день начинался в восемь утра. К этому времени открывались тонары и киоски, старушки привозили на тележках овощи со своих огородов. Но Ирина, само собой, всегда немного опаздывала — приходила раньше начала была было глупо, да и путь от дома до рынка совсем неблизкий — с одного края города в другой.

Вообще, умом, работа, хоть малоинтересная и малоденжная, Ирине нравилась. Рынок компактный, аккуратенький, нешумный; огорожен, точно надежным забором, контейнерами с товаром. Находится он на стыке двух микрорайонов, недалеко от автобусной остановки. Люди, возвращаясь домой, просто не могут сюда не зайти, чего-нибудь не купить...

В каморке-лаборатории Ирина просиживала часов до трех. После этого новые торговцы почти никогда не появлялись (ложная и неискоренимая истина, что торговать нужно с утра, хотя здесь вот основной наплыв покупателей бывал как раз в пять-шесть вечера); и, не спеша собравшись, она замыкала каморочку, уходила.

Три дня здесь, потом три дня отдыха. Такой график был для нее удобен, тем более что и мать работала по такому же в своем табачном ларьке, но в другие дни, и поэтому дом всегда был под присмотром... Раньше в выходные Ирина готовилась к аспирантуре. Поступала два раза, но неудачно, и постепенно аспирантура осталась в прошлом, почти забылась. Теперь три свободных дня она проводила с сыном, делала что-нибудь по хозяйству, валялась на кровати, встречалась с подругами. Иногда ей перепадал заказ написать курсовую или реферат для студентов за небольшую плату.

Честно говоря, она обижалась на папу, который вроде совсем равнодушно отнесся к ее неудачам с аспирантурой. Ведь мог бы как-то помочь, посодействовать — он человек в местных научных кругах не из последних, есть у него знакомства... Сама она

не заводила с папой разговоров об этом, даже никогда не намекала, а тот то ли не задумывался, то ли просто ввязываться не хотел.

Иногда Ирина с грустью вспоминала себя маленькой и сожалела о том своем исчезнувшем навсегда отношении к папе, когда он казался ей самым сильным, всемогущим, настоящим волшебником. Теперь от этого не осталось следа, лишь сожаление; теперь, наоборот, она замечала, что родители хотят видеть сильной ее, ждут от нее помощи и поддержки, чего-то чуть не волшебного... Ирина боялась признаться себе в догадке: это они стареют, теряют силы, может, и подсознательно готовятся отдать ей руководство семьей...

Да, повзрослев, она узнала, как трудно в жизни дается каждый шаг вперед, любая, даже самая малая перемена к лучшему. Проще всего, конечно, плыть по течению. Хорошо, если плывешь, чаще же — начинаешь тонуть, и волей-неволей приходится барахтаться, стараться быть на плаву...

Вышла из автобуса, по узкой асфальтовой тропинке пересекла двор двух кирпичных пятиэтажек — и вот он, рынок. Торгуют в основном продуктами. Лишь в трех тонарах — моющие средства и два киоска с цветами. Иногда еще с лотков продают то книги, то посуду, то косметику. Но это не особо расходуется, и потому торговцы быстро исчезают, их место занимают другие и, тоже проведя впустую неделю-полторы, перебираются в какое-нибудь новое место. Пытаются подзаработать там.

Около девяти, рынок еще почти пуст. Лишь несколько старых раскладывают на прилавках овощи, вяжут пучки ранней редиски, батуна. Азербайджанец Яшар перебирает возле своего киоска прошлогоднюю картошку... На ветке большого тополя, что растет между контейнерами, не по-городскому красиво распевает крошечная серокрылая пташка.

Дворник, улыбчивый юркий человек полутораметрового роста, кем-то когда-то в самую точку прозванный Шурупом, гонит к мусоросборнику окурки и фантики. Увидев Ирину, взял мелту, как ружье на параде, приветливо гаркнул:

— Здравия желаю, Ирин Юрьна!

— Здравствуйте! — обрадовалась и она, только сейчас осознавая, что настроение у нее сегодня, несмотря на невеселые размышления, на редкость умиротворенное, светлое.

И дело не только в солнечном майском утре — ей в последнее время по душе были дни пасмурные, с ленивым, мелким дождем: такая погода, казалось, уравнивает людей, создает впечатление, что всем не очень-то весело, у всех проблемы, нескончаемые, досадные неприятности. А в ясные дни, когда лица людей менялись, превращались в улыбающиеся, по-детски жмурящиеся от солнца, сильнее давили тоска, неудовлетворенность и остро, до желания закричать, понималось, что жизнь идет мимо, впустую, не так.

Сегодня же и солнце, и красивое пение пташки, и еще не совсем прогретый после ночи, но тем более приятный и вкусный воздух, и улыбающийся Шуруп, и приятельский кивок Яшара, воркотня старушек радовали, прибавляли сил. Бодрили. И предстоящие часы работы (да на самом деле и не работы, а, скорее, дежурства в тесной будке под названием «лаборатория», разнообразившегося монологами администраторши) не вызвали тоски. Что ж, промелькнут эти часы, и впереди целый вечер, а с послезавтра — три свободных дня. Может, сегодняшний вечер или завтрашний или выходные подарят какое-нибудь событие и как-нибудь по-настоящему изменится жизнь. Хм, как во французском кино...

Отперла дверь, включила свет, обогреватель (отопления в будке нет, только краны с холодной и горячей водой), не снимая пока плаща, села за стол. С минуты на минуту, знает, коротко, для проформы постучавшись, заглянет поздороваться ее начальница, администраторша рынка Дарья Валерьевна. Они работают в паре уже больше двух лет, и обычно у Дарьи Валерьевны происходит столько событий, что их совместных дежурств не хватает, чтоб рассказать обо всем. Но разговор начинается не сразу, не с утра, а ближе к обеду, когда они будут пить кофе.

Обогреватель мерно выдувал из решетчатой пасти горячий воздух, в будке становилось уютней... Ирина поднялась, стала медленно стаскивать плащ...

Дверь еле слышно задела костяшками пальцев, и прежде чем Ирина успела произнести: «Да!» — открыли. На пороге полная, крепкая женщина лет пятидесяти — Дарья Валерьевна.

— Привет, Ириночка! Уже пришла? Ты что-то раньше обычного, — сыпанула она горсть ежеутренних фраз; сама еще в пальто, с сумкой. — Как у тебя?

— Да ничего, нормально, — так же обыкновенно отозвалась Ирина. — Без катастроф.

— Ну и хорошо, и хорошо! Это самое главное... А у меня, представляешь!.. — Но, опомнившись, администраторша тут же остановила себя, удержалась пока от подробностей. — Ох, пойду... — Она выглянула на улицу. — Уже очередь за весами стоит. И, кстати, Рагим новый завод сделал, арбузы, виноград... так что посмотри там всё как надо. Не дай бог, какая проверка...

— Да, конечно, — кивнула Ирина, — конечно...

Сейчас у администраторши самый напряженный отрезок дежурства. Нужно выдать весы, собрать арендную плату за торговое место, проверить, как убрался Шуруп, сдать выручку приезжающему обычно часов в двенадцать доверенному человеку от хозяина (у хозяина, говорят, таких рынков штук десять по городу)... И Ирине тоже придется немного пошевелиться. Хоть сделать видимость, что работает. Без этого, за просто сидение в будочке, и на десять рублей, ясное дело, рассчитывать нечего.

Поверх кофточки надела белый длиннополый халат. На секунду почувствовала себя прежней студенткой, готовящейся к практическим занятиям... Осторожно, как приучили, вынула из сейфа пробирки, реактивы, прибор для измерения нитратов... Хм, да, пародия на лабораторные опыты. Но что, в принципе, она потеряла? Имела бы сейчас, при лучшем раскладе, звание кандидата, может, дали бы место в каком-нибудь колледже или в медучилище. Только еще вопрос — смогла бы учить?.. А к научной работе и вовсе Ирина давным-давно интерес потеряла, еще курсе на третьем погасло в ней что-то, что заставляло школьницей бегать вечерами в кружок ботаников, дежурить в библиотеке, ожидая, когда принесут с почты новый номер «Науки и жизни»; упрашивать родителей купить микроскоп, дорожный альбом для гербария... И-да, нашла себе увлечение двенадцатилетняя девочка... Но тем не менее это увлечение дало ей возможность получить образование, профессию, работу, которая, худо ли бедно, кормит ее и ее сына... И где такие, кто не растерял прелести детской увлеченности, превратив увлечение в средство зарабатывать на жизнь?

Мама закончила Красноярский художественный институт по специальности «промграфика», несколько лет, как сама рассказывала, пыталась сотрудничать с архитекторами, модельерами, но все заканчивалось в лучшем случае макетами, проектами, эскизами. А потом она вернулась туда, где работала три года по распределению после института, — на обойную фабрику и отсидела в производственном отделе полтора десятка лет, пока фабрику не закрыли. Теперь продает сигареты в ларьке...

Папа, как говорят, крупный специалист по древнерусской литературе. Тоже с детства у него началось... Вместо Жюль Верна читал былины и «Путешествие за три моря»... Ну а что в итоге? Преподает в пединституте, рассказывая из года в год все одно и то же, а потом, на экзаменах, слушает сбивчивые пересказы собственных лекций... Ничего он вроде теперь не исследует, не пишет, не публикует.

У Ирины много знакомых, почти все закончили вузы, и никого, кто бы, добравшись лет до двадцати пяти, искренне был доволен своей работой, профессией. Одни явно к ней равнодушны и предпочитают говорить о детях, о квартирных проблемах, жалуются на нехватку денег, круглый год мечтают об отпуске; другие (эти, кажется, еще не совсем сдались) изображают снобов. Физики называют Эйнштейна спятившим сифилитиком, а его теорию относительности — бредом, которого никто никогда не понимал и не поймет, потому что просто нечего понимать, сами же ни на шаг ни в чем не отступают от тех постулатов, что вдолбили им в головы во время учебы. Историки любят порассуждать о книгах Носовского и Фоменко, которые перекраивают хронологию, до слез смеются над их утверждениями, что осада Трои и захват крестоносцами Константинополя — одно событие, а сами остановились на том, что навсегда зазубрили сотню-другую исторически значимых дат, годы правления крупнейших монархов...

Да, что-то и позавидовать некому. Все превратили свои увлечения в золотой запас юности (слышала где-то такое сравнение) — в специальность, в ремесло. И радуются, что повезло не вагоны всю жизнь разгружать, а заниматься делом более или менее для себя близко. Но дальше, к открытиям, к настоящей погруженности в дело двигаться никто не желает. Диплом есть — и хорошо, кандидатскую по давно истоптанной проблеме защитил — прекрасно... Вот, может, только муж... бывший муж, Павел, и исключение. Хотя у него как раз наоборот...

Вместе со средней он закончил художественную школу в маленьком северном городке Колпашеве, потом с двух попыток — между которыми была армия — поступил

в училище на театрального оформителя. Прочился, кажется, года полтора и бросил. И все-таки его взяли в областной драмтеатр декоратором.

Тогда-то Ирина с ним и познакомилась, почти пять лет назад. В то время она часто ходила на спектакли, после них с подругами и приятелями сидела в театральном кафе «Аншлаг», пила по глоточку джин с тоником, слушала умные разговоры, которые чаще всего выражались в критике только что увиденного спектакля.

Однажды, помнится, кто-то из их компании стал хвалить (редкий случай!) декорации, и тут же, будто подслушивая, подошел молодой, но изможденного вида парень в красном свитере, со щетиной на подбородке, явно нетрезвый, и с гордостью объявил: «А декорации-то мои!» Ребята насторожились, готовые послать подошедшего куда подальше, но тот вовремя, и чуть сбавив гонор, пояснил: «Я декоратор местный, Павел Глушенков. Смену вот оформляю...» Его пригласили присесть, налили бокал вина.

Парень, посмеиваясь, достаточно комично стал рассказывать про свою работу, про то, как изводят его замечаниями и придирками художники-оформители, режиссеры, а директор то и дело пересчитывает тубы с краской и твердит про экономию; развлек компанию парочкой театральных баек... Рассказывая, он часто и жарко поглядывал на Ирину, а она, почему-то очень нервничая, на него... Что-то было в нем не просто божественное, но такое, точно он способен сотворить огромное, новое, настоящее. Способен к прорыву, что ли...

А потом, как часто, как у многих бывает, он провожал ее домой, снова рассказывал о театре, о живописи, о своих картинах, которые, как в галерее, рядами вывешены в его голове. Вот только надо собраться, вырваться из суетни — и нарисовать... Это «нарисовать» Ирине очень понравилось, слышались в этом слове и напускное пренебрежение к своему главному делу, и скрытая серьезность, почти одержимость... Они шли вдвоем по пустым ночным улицам, еле знакомые, а Ирине казалось, что они вместе уже тысячу счастливых лет и впереди у них тоже тысяча лет. Таких же счастливых лет... Обычный, древний, но обманывающий, наверно, каждого человека мираж.

Их счастливая пора, как оказалось, уместилась в несколько коротких осенних недель, когда они встречались урывками — то он поджидал ее после лекций возле университета, то она пробиралась в его театральную мастерскую. В те недели, когда еще не наступила настоящая привязанность, а происходила лишь подготовка к ней, стремление друг другу понравиться.

Потом, почти сразу после их первой ночи, Павел все чаще и чаще стал жаловаться; он повторял почти то же, что в первый раз, про давление оформителей, режиссеров, но теперь в его словах не слышалось ни капли комического, ни грана иронии, а сплошные сарказм и горечь. Он называл себя маляром, тут же подолгу и как-то отчаянно, в длиннющих монологах расписывал свои ненакрашенные картины. Театр он теперь именовавал не иначе как тюрюгой, в которой его держат даже не зарплата, а крыша над головой (Павлу театр снимал комнату в общежитии спичечной фабрики), ведь дом родной у него в двух сотнях километров отсюда, в Колпашево...

Как-то однажды само собой получилось — Ирина привела Павла к родителям, познакомила. Ужинали вместе по-праздничному, за большим столом в зале. У мамы с ним оказались общие темы — в некоторой степени ведь коллеги, так или иначе — оба художники.

А еще через несколько дней, словно бы мимоходом, подчеркнуто буднично, они зашли в загс и подали заявление; это оказалось очень, до странности просто — паспортные данные, пятьдесят рублей госпошлины, дата регистрации... В тот же вечер Павел с двумя сумками и этюдником переехал к ней.

Чего тогда было больше в Ирине, любви или жалости, или хотелось иметь постоянного мужчину (на нее, тихую и не особенно симпатичную, парни редко обращали внимание), она понять не могла и не хотела копаться в душе. А зря... зря, конечно.

За тот месяц, что отделял подачу заявления от свадьбы, случилось несколько ссор; ежедневно жить с Павлом оказалось делом нелегким. И родители уже не так тепло к нему относились, мама просила Ирину все тщательно взвесить, папа, по обыкновению, помалкивал, но зато выразительно хмурился... Подруги, как одна, отговаривали от такого замужества, а когда она начинала доказывать, какой Павел особенный, фыркали и махали руками: «А, романтичка!..»

Недели через три после свадьбы Павел, рассорившись с кем-то в театре, уволился. Еще через месяц нашел место художника в кинотеатре «Ровесник» и вскоре

после рождения сына стал там иногда ночевать — работать, — а потом и жить постоянно.

И вот три с половиной года Ирина то ли замужем, то ли нет. Было несколько попыток и с ее, и с его стороны сойтись, но через несколько дней случался новый разрыв... А ведь ей уже двадцать семь. Из молоденькой девушки-студенточки она превратилась в женщину (так это страшно быстро и незаметно произошло!), а еще через несколько таких же страшно быстрых и незаметных лет станет очередной теткой с рылой, бесформенной фигурой, мясистым, вечно усталым лицом. Вроде Дарьи Валерьевны... И сейчас, она сама видит, привлекательной ее язык не повернется назвать, а дальше... И надеяться, кажется, не на что...

Долго звала Рагима принести образцы для анализа. В конце концов принес, вдобавок — водрузил на стол среди пробирок пакет с фруктами.

— Это подарок! — сказал.

Ирина, как обычно, сперва поотказывалась, затем же поставила пакет под раковину, поблагодарила. Занялась образцами.

Рагим присел, разбросал ноги, со сдержанным торжеством сообщил:

— Через три дня на родину еду!

— У-у... Надолго?

— Два месяца. Отпуск.

— Соскучились?

— А как думаешь? Всю зиму здесь, осень. На пятнадцать килограмм похудел!

— Хорошо вам...

Рагим захохотал:

— Что похудел?!

— Что едете. Я б тоже куда-нибудь с радостью...

— Поехали, слушай, со мной. Чего? Сядем в поезд — три дня, и Агдам!

— Какой Агдам?

— Ну, какой... Мой город. Родина!.. Чего? Поехали, Ира. Там красиво, лето уже. Горы, вино, виноград скоро будет...

В тоне явная высокомерная шутливость, что свойственна всем, кто вот-вот обретет свободу, попадет в те места, где его ждут, где провел он детство, лучшие дни; и вот так, между делом, он подзадоривает случайно оказавшегося рядом, бросив все, сорваться, оказаться не здесь... Да, в шутку... А если взять и ответить: «Поехали! Какой у тебя поезд? Сейчас сбегаю в кассу, она здесь рядом, куплю билет. Хорошо?» Как он, наверное, перепугается, как, выкатив и без того большие глаза, заикаясь, спросит: «Нет, постой... Ты серьезно?..» Как будет изворачиваться, осторожно, чтоб не уронить свое достоинство, объяснять, что позвал просто так, не всерьез.

Ирина усмехнулась невесело, почти зло. Рагим, кажется, угадав ее состояние, перестал шутить, замолчал.

Только ушел, получив разрешение торговать, появилась Дарья Валерьевна:

— Что, Ириш, есть дела?.. А то пошли кофе пить. Только-только чайничек принесла.

— Спасибо, сейчас...

Кипяток она берет у знакомой из ближайшего дома, где газовые плиты.

Уселись в более просторной, похожей на настоящий кабинет комнатке администраторши. На столе чашки с черным, крепким «Нескафе», печенье в вазочке, рафинад. Не спеша, словно бы разминая язык и челюсти для скорой безудержной гонки, Дарья Валерьевна делилась главной своей проблемой:

— Опять вчера из военкомата повестку принесли. На медосмотр. Я отказывалась расписаться, но какой смысл... Сегодня не распишешься — завтра с милицией явятся... Как до вступительных в институт дотянуть, ума не приложу. Тут же в армию тащут и тут же по телевизору каждый день: часовой десятерых убил и сбежал, еще какие-то с автоматами убежали, милиционера застрелили, а потом и сами себя... — Дарья Валерьевна поболтала ложечкой в чашке, вздохнула. — Вообще больше вреда от этой массовой информации. С утра мало что вечно ужасные новости, так еще на одной программе «Чистосердечное признание», на другой «Дорожный патруль», по третьей в то же самое время «Служба спасения»... И с каким настроением я должна жить?..

С темы призыва сына в армию начинается каждая их посиделка. А потом уж — другое.

— У моей соседки-то какое несчастье, Ир! Ты себе не представляешь!

Ирина отреагировала, хотя, честно сказать, ее мало интересовала какая-то незнакомая женщина:

— Что случилось?

Глотнув кофе, Дарья Валерьевна поморщилась, спустила в чашку еще кубик рафинада. Энергично застучала ложкой по стенкам и тут же резко бросила.

— Она няней работает в детском саду. Надя... Я про нее тебе раньше когда-то... У нее муж в том году от рака желудка умер... И она в детский садик устроилась. Уже на пенсии, но копейка же лишняя не помешает, да и детишек так любит...

Администраторша еще раз попробовала кофе и теперь осталась довольна вкусом. Правда, лицо у нее просветлело лишь на секунду.

— Очень, в общем, Надю хвалили, очень ценили. И детишки тоже тянулись, сказки она им рассказывала, и насчет чистоты все очень аккуратно... И тут вот позавчера приходит в слезах. Я, конечно: «Что стряслось опять?» Плачет, задыхается. Корвалолола ей накапала. Успокоилась маленько, рассказала.

Ирина осторожно пила кофе, поглядывала на печенье, но взять и начать жевать, когда вот сейчас ей сообщат нечто страшное, не решалась.

— В общем, принесла в группу кастрюлю с молочным супом. Стала разливать по тарелкам, а детишки вокруг играли. Воспитательница отошла куда-то... И тут девочка одна на нее со всего маха как налетит. Кастрюля — на эту девочку. А суп только с плиты, живой кипяток... Обварилась, говорят, очень серьезно... Тут же «скорую» вызвали...

Ирина поежилась, стряхивая со спины ледяные мурашки, кончики пальцев противно зашипало. Так часто бывало с ней, когда слышала про кровь, про боль, когда представляла себя над бездонной пропастью.

— Ужас какой, — искренне прошептала она. — И что теперь? Как девочка?

— В больнице девочка. Ожоги... и на лице... Ей три с небольшим. На всю жизнь следы могут остаться... — Администраторша тяжело вздохнула. — И Наде какво? Она ведь всей душой к ним, и вот — такое. Пожилая ведь, пять лет как на пенсии... Еще и родители-то заявления подать грозятся...

Ирине было жалко и девочку, и няню, понимала она и чувства родителей, и все-таки жалость, сочувствие были неглубоки, почти искусственны, как сочувствие попавшим в беду героям очередного фильма.

— Н-да-а, — встряхнулась Дарья Валерьевна, высказала свою любимую и бесспорную мысль: — Страшная, Ирочка, вещь — эта жизнь. И не знаешь, в какой момент что обрушится... — Глотнув кофе, спросила: — А твой-то как сынок? Ничего, не болеет?

— Да нет, нормально. — Говорить у Ирины не было никакого желания, и все же зачем-то она добавила: — С бабушкой сейчас, дома. Карантин в садике.

— Из-за чего?

— Краснуха.

— У-у, опасная очень болезнь. Особенно для беременных, Ир. Если беременная заболевает краснухой, рекомендуют сразу делать аборт.

— Почему?

— Ну, ребенок неполноценный рождается.

— Гм...

Ирина ожидала, что Дарья Валерьевна, как обычно, расскажет наглядную историю на эту тему — о какой-нибудь своей знакомой, заразившейся во время беременности краснухой и родившей уродца... Вместо истории администраторша задала новую порцию вопросов:

— А с мужем как? Всё так? Не помирились?

Невольно, точно защищаясь от кого-то или чего-то, Ирина усмехнулась; тут же испугалась этой усмешки, бросила, нервно покачивая полупустую чашку:

— Мы и не ругались. Живем просто отдельно.

— Плохо это, плохо, Ириш, — наставительно и безжалостно определила Дарья Валерьевна. — Я вот своего прогнала за пьянку, за лень его несусветную, а теперь... Голос внутри, и одно и то же: «Зря, зря...» Тогда казалось невыносимым с ним жить, а с другой стороны... Тяжело одной, ой как тяжело-то... Сын вот вырос, заступник, но без отца... Вечером домой приду, и чувство такое, будто у нас что украли... — Администраторша покачала головой, выпустила свой долгий и тяжких вздох. — Трудно выбрать, трудно решить, Ирочка... Только... только если есть шанс, если сомневаешься, то советую очень — сходитесь. И ты должна, как женщина, первой... Он ведь у тебя не сильно-то злоупотребляет? Ну, выпивкой?

— Не сильно, — выдавила Ирина ответ, теряя терпение; в последнее время она всячески старалась не вспоминать, не размышлять (без особых, правда, успехов) о

своих отношениях с мужем, о будущем, и каждая фраза администраторши сейчас колола, прожигала ее болью, как игла. — Н-но, понимаете, не в одном пьянстве дело. Много есть других причин...

— Да это уж точно, это уж точно. Столько всего, бывает, сплетется, что и не распутаешь. Только режь. Хотя, Ириша, поверь, хуже пьянства ничего нет на свете. Ничего нет страшней. И ты все-таки попытайся... Или, может, лучше другого найти, пока ребенок маленький. Ты подумай — жизнь-то длинная впереди, а лучшие годы твои сейчас. Дальше, Ир, хуже будет.

— Спасибо...

— Ты только не обижайся! Я это по своему опыту сужу и по другим. Знаешь, сколько таких вот, как я... как ты?.. Но тебе еще, слава богу, не поздно...

2

Сразу, только вышли за дверь, началось.

Двое мужиков копались в шите, где счетчики. Точнее, копался один, а второй стоял рядом, по-ассистентски держа открытый дипломат с отвертками, плоскогубцами, изолянткой.

— Что вы делаете? — встревожилась Татьяна Сергеевна.

— А что? — нагло уставился на нее ассистент, а его напарник, кряхтя, вытягивал из недр шита тонкий сероватый провод.

— Извините! — Татьяна Сергеевна, оскорбленная этим «а что?», повысила голос. — Я имею право спросить! Я здесь как-никак тридцать лет живу.

И мужик с дипломатом вдруг как-то болезненно сморщился.

— Ну, радиоточку аннулируем у ваших соседей. В конторе велели. Давно слишком, сказали, не платят.

— Ба-аб! — потянул Татьяну Сергеевну Павлушка. — Пошли-и!

Она одернула внука, желая что-нибудь еще сказать этим электрикам. Только — что? Во-первых, отключают не у нее, а во-вторых, соседям, кажется, теперь не до радио. У них другие заботы — с рассвета, через стену слышно, спорят, кому на поиски похмелиться бежать...

В лифте рядом с кнопками этажей новый сюрприз. Листок из школьной тетради и обстоятельная, разборчивым почерком надпись: «Уважаемые жильцы! С 1 мая сего года стоимость пользования лифтом увеличена на 2 (два) рубля! Теперь она составляет 14 (четырнадцать) рублей с человека в месяц. Просьба тем, кто за май уже оплатил постарому, доплатить в счет июня!! ЖКХ № 43».

— О господи, — шепотом произнесла Татьяна Сергеевна, и опять вспомнился бывший зять: с какой стати за него, прописанного, платить?! И ведь даже на сына алиментов от него не видели, хотя чего ему опасаться — они ведь с Ириной официально женаты... Надо, да просто необходимо вечером поднять вопрос. Или пусть наконец разведятся или... А какой еще вариант? Три с лишним года тянется непонятно что, и улучшений ни на грамм... и Ирине, кажется, все равно, будто не ее касается в первую очередь, не ее сына. — Доброе утро, — не особенно приветливо из-за мыслей поздоровалась она со старушками на скамейке.

— Доброе, доброе, — совсем безрадостно отозвались те.

Павлушка, оказавшись на воле, сломя голову, бросив ведро с совками, помчался к качелям.

— Осторожнее! — послав ему вслед строгое, но бесполезное, Татьяна Сергеевна под села к старушкам.

Крайняя справа, Наталья Семеновна, снимая ногтями шелуху, кидала в беззубый рот коричневатые, поджаренные семечки; вторая, та, что в центре, из соседнего дома, с медалью «50 лет Победы» на джемпере, просто хмуро глядела перед собой, а третья, крайняя слева, Светлана Дмитриевна, была занята чтением городских «Ведомостей».

— Слышали? — чтоб разделить неприятность, сказала Татьяна Сергеевна. — Лифт опять подорожал.

— Да как еще бы не слышать! — со злой готовностью отозвалась старуха с медалью. — Сидим вот тоже горюем. Огня вон нет целыми днями, а денежки драть — это не забывают.

— А вам разве, — Татьяна Сергеевна показала кивком на медаль, — льготы не положены?

— Мне-то лично положены... без очереди в сберкассе плачу.

— Ба-аб, покачай! — крикнул Павлушка с качелей.

В этот момент Светлана Дмитриевна оторвалась от газеты. Сообщила:

— Како-то ЗАО «Горкомхоз» извещат: теперь те, у кого на участке водопровод проложен, должны коллективный договор заключать, чтоб вода поступала.

— Чего?! — еще не поняла, но приготовилась рассердиться старуха с медалью.

— Ну, у кого свой дом или дача...

Татьяне Сергеевне очень хотелось дослушать очередную, наверняка возмутительную новость, но Павлик позвал уже громче, отчаянно вихляясь на сиденьице:

— Ну, баб! Ну покачай!

Пришлось встать, подобрать ведро с совочками, пойти к внуку...

Однообразно, раздражающе тонко скрипели истершиеся подшпипники качелей, и Павлушка так же однообразно выкрикивал:

— Сильнее! Сильнее!

А Татьяна Сергеевна в ответ просила его об одном и том же:

— Держись давай крепче!

Скрип резал уши, казалось, колючими комками влетал в открытые форточки. И Татьяна Сергеевна каждое мгновение ожидала — сейчас кто-нибудь высунется и истерически заорет: «Да перестаньте вы издеваться! Голова же лопнет!»

— Что, Павлуш, пойдем лучше в парк, — сама первой не выдержала, притормозила она качели.

Внук тут же заныл:

— Еще-о!

— В парке есть качели хорошие, а эти слышишь какие...

— Нет, на этой хочу!

Управлять Павликом у Татьяны Сергеевны получалось только дома, и то не всегда, а уж на улице он был полным хозяином; да его и можно понять — ведь бабушка вышла гулять с ним, а не он с ней, она нужна лишь для того, чтоб его не обидели, он не заблудился; качаться же именно на этих качелях — полное его право...

Дом их, светло-серая девятиэтажка, стоит в новой части города. Правда, новой части уже лет тридцать, и жизнь в ней такая же устоявшаяся, как и в старой. Впрочем, какая и где она нынче — устоявшаяся? Второй десяток лет непрекращающейся лихорадки.

Внук резко, неожиданно соскочил, и Татьяна Сергеевна лишь в последний момент успела удержать налетающее на него сзади сиденье качелей.

— Павлик! Разве можно так?! А если б ударило? Так ведь и сотрясение мозга...

Но тот, не слушая и не слыша, уже бежал в сторону парка. Татьяна Сергеевна, бормоча досадливо, с ведром в руке поспешила за ним.

«Ох-хо... Мальчик растет, — подумалось, — нахлебамся с ним еще...»

Когда-то она очень хотела сына. Точнее, хотела, чтоб старший ребенок был сыном, а младший — девочка. Но первой родилась Ира, второго же завести не решились... Конечно, несколько ущербная семья получилась, хотя, с другой стороны...

О событиях в Афганистане она, само собой, знала — часто по воскресеньям смотрела передачу «Служу Советскому Союзу», где бывали оттуда репортажи, оптимистические, по-военному бодрые. Да и что, казалось бы? Служат наши ребята в ГДР, и в Чехословакии, и в Польше, теперь помогают устроить жизнь южному соседу... Лишь в восемьдесят четвертом поняла, что там происходит на самом деле.

Привезли сына сослуживицы по обойной фабрике. Привезли в заваренном металлическом гробу; сопровождающий офицер рассказал, что перевернулся грузовик на горной дороге в Туркмении и гвардии рядовой... В общем, несчастный случай. Но после поминак, уезжая, другой сопровождающий, сержантик, оставил конверт. И там было про бой в ущелье, про семнадцать убитых из роты и домашние адреса некоторых из них...

Сослуживица стала переписываться с родителями погибших, и вскоре оказалось, что вошла она в бесконечный лабиринт все новых и новых семей, потерявших своих мальчишек; сотни и сотни писем приходили осиротевшей матери.

И тогда, еще молодой почти женщиной, порадовалась Татьяна Сергеевна: «Хорошо, что у меня не сын».

А потом были вырезанные погранзаставы в Таджикистане. Чечня. И это оказалось намного ужаснее Афганистана. Ужаснее в первую очередь тем, что война была здесь, на экране телевизора, чуть не в прямом эфире. Генералы рассказывали в

угреннем выпуске новостей, какое село они сейчас будут бомбить и освобождать от боевиков, а в вечернем — как бомбили, как брали дом за домом, сколько боевиков уничтожено, каковы наши потери. Через день появлялись более полные репортажи — уже с убитыми мирными жителями, завернутыми в плащ-палатки российскими солдатами, сваленными в кучу чеченцами, у которых до странности одинаково кровятели раны в голове... И такое почти ежедневно и, можно сказать, тянется до сих пор, восьмой год без малого...

Сын Татьяны Сергеевны, если бы он существовал на свете, вполне мог попасть хоть в Таджикистан, хоть в Чечню.

А сколько всяких других опасностей — не опасностей, не то слово — мальчишек повсюду подстерегает. Разве вот девочка бы так с качелей безрассудно спрыгнула?

Ладно, хватит об этом. Жизнь сложилась, как сложилась, Татьяне Сергеевне почти пятьдесят, внуку вот-вот четыре. Одна надежда, что у него все хорошо сложится. Слабая надежда, если откровенно признаться...

Миновали широкую, но не особенно загруженную в дневные часы транспортом улицу, оказались в парке.

Он почти загородный, за ним речка Самусь, один из многих притоков Оби, а дальше — дачный поселок. Да, именно дачный, а не садово-огородный, — участки давали годами в пятидесятых, по шестнадцать соток, в основном бору. Не простым людям, ясное дело, давали, зато дачи — в настоящем смысле слова... Теперь, правда, некоторые участки освобождены от деревьев и наследники состоятельных в прошлом владельцев сажают там овощи и картошку себе на прокорм. Сидеть в выходные в шезлонгах под соснами сегодня мало кто может себе позволить.

Семья Татьяны Сергеевны обзавелась дачей (не дачей, шестью сотками в садово-огородном кооперативе) в восемьдесят седьмом. У мужа в институте создали тогда этот кооператив, и почти все сотрудники принялись за обработку кусочков степи за юго-восточной окраиной города. Но многие к этому вскоре охладели.

Несколько лет большинство участков стояли лишь кое-как огороженными, заросшими коноплей и полынью, а потом прошел слух, что бесхозные наделы будут отнимать и продавать людям со стороны. Педагоги и их домочадцы зашевелились, да и подоспела тут потребность, какая-то всенародная тяга копать в земле, строить, в пятницу вечером мчаться из города на свои шесть соточек — на свою территорию.

С трудом приучаясь, Губины удобрили скудную степную землю, посадили вишни и сливы, соорудили сначала времянку, а потом, за четыре лета, и достаточно симпатичный домик.

Много помог им сослуживец мужа Дмитрий Павлович Стахеев. Человек вроде совсем городской, профессор, а оказался и в строительстве специалистом, и на деревообрабатывающем комбинате своим человеком — договорился там о покупке досок и бруса для Губиных за нормальную цену, вагонки, даже оконных рам.

Сам он первым в кооперативе дом поставил, превратил свои сотки в заглаждение просто, забил скважину, не дожидаясь так и не проложенного по их участкам водопровода... Да, очень умелый и энергичный человек, и все делает как-то легко, словно бы мимоходом, почти играючи. Волей-неволей, а позавидуешь...

— Бабуль, — остановился Павлик перед киоском у входа в парк, — купишь «Хубба-Бубба»?

Разговаривает он еще неважно, зато такие вот названия произносит уверенно и четко. И ничего удивительного — по двадцать раз на дню слышит их из телерекламы, видит радостные жующие лица.

— Нет, Павлуш, давай не будем, — попыталась сопротивляться Татьяна Сергеевна.

Внук с пониманием посмотрел на нее.

— Рубеичек нету?

— Мало совсем...

— Тогда чупа-чупс.

Вот ведь и цены знает. «Хубба-Бубба» эта шесть рублей стоит, а чупа-чупс — полтора.

— От него зубки портятся. Я лучше тебе вечером печенюшек шоколадных наделаю. Хорошо?

Но где еще вечер, а сладенького хочется сейчас. И Павлик привычно начинает канючить:

— Не-ет, купи чупа-чупс! Красненький!

Повеселев, с чупа-чупсом во рту, он помчался по парковой аллее к знакомой площадке.

Площадка хорошая, сооружена с фантазией, и потому ребятишки на ней играют без усталости, она им не надоедает... Здесь и горки разной высоты, с которых можно кататься хоть зимой, хоть летом, и качели, обыкновенные и в виде лодочек; песочницы, шведские стенки, турники, избушка на курьих ножках, простенькие механические карусели, а по краям площадки скамейки для родителей.

Еще не дойдя до места, Татьяна Сергеевна заметила новое. Что-то вроде замка, и он качался, дрожал, разноцветные башенки кивали, словно звали к себе, а из замка слышались восторженные детские визги... Раньше любопытства подкатила тревога — что это еще придумали?

И тревога усилилась, когда навстречу медленно прошла мать с ребенком. Мальчуган ревел и упирался, женщина же почти волокла его по дорожке, уговаривала:

— Завтра еще попрыгаешь. Ну Артем!.. И так три раза... Никаких денег не хватит...

«Деньги, деньги, — кольнуло мозг. — Платный аттракцион, что ли, какой-то поставили?»

Так и оказалось.

Сама площадка безлюдна, качели, из-за которых у ребятишек порой возникали чуть ли не драки, пусты. Зато толпа перед надувным качающимся замком. И Павлик, растерявшись, смотрит на прыгающих внутри, визжащих детей. Соображает, наверное, как и что...

Татьяна Сергеевна остановилась рядом, тоже соображала, но о другом — как бы увести его, пока не разобрался, не вошел во вкус. Потом, она знает, с ним не сладить.

Взрослые возле аттракциона вели себя по-разному. Одни, улыбаясь, глядели на своих резвящихся сынишек и дочек, внуков и внучек, а другие сдерживали их, рвущихся в замок, убеждали на удивление одинаково:

— Ты уже наигрался, хватит пока! Пойдем лучше «Милки Вэй» купим. Завтра снова придем...

Ясно, понятно — «Милки Вэй» или «Твикс» стоят рублей по восемь, а десять минут этого удовольствия на «замке-батуте», как значится на прикрепленном к резиновой башенке объявлении, — пятнадцать рублей. Но какой ребенок довольствуется десятью минутами? Тем более Павлик... А он сбросил по примеру других ботиночки и лез внутрь аттракциона, не обращая внимания на голос мужчины, что дежурил в воротах:

— Ты с кем, малой? погоди, сперва надо денежку заплатить... Да погоди!..

Павлик обогнул его, как что-то хоть и мешающее, но неопасное... Подоспевшая Татьяна Сергеевна уже протягивала мужчине пятнадцать рублей. Пятнадцать первых рублей.

* * *

Лекция протекла нормально, как всегда. Преподаватель подробно рассказал о сатирической литературе Древней Руси, студенты его выслушали, кое-кто нужное записали в тетрадь.

Раньше, давно, незадолго до звонка Юрий Андреевич спрашивал: «Вопросы есть?» Но чаще всего вопросов не было, и создавалась неловкая пауза, и потому эту реплику он отодвинул в самый конец, произносил ее параллельно со звонком, под шелест собирающихся высыпать из аудитории студентов.

Но все-таки сегодняшняя лекция слегка отличалась для Юрия Андреевича от сотен предыдущих — автоматически рассказывая о «Ерше Ершовиче», он в то же время гадал, что за разговор к нему у Стахеева. Нерядовой наверняка разговор, раз предложил посидеть в баре «Корона»; обычно перебрасываются они несколькими ничего не значащими фразами на кафедре или в коридоре и расходятся по своим делам...

Дмитрия Павловича он нашел в том же самом кресле, курящим сигарету. Стахеев заулыбался:

— Как, отчитал?

— Отчитал...

— А у меня настоящий диспут случился... — В голосе Стахеева послышалась гордость... — Вот Наталья Георгиевна рассказывает как раз.

— По поводу? — Губин положил на стол бумаги, книгу, осторожно потянулся.

— Диспут-то?.. Да вот, видишь ли, никак не могу убедить умников, что «Тихий

Дон» Шолохов написал... Не все спорят, человек пять, зато такие — пена брызжет... Текстологический анализ пришлось проводить. Взяли ранние рассказы, стали све-рять... Представляете?

Юрий Андреевич в ответ качнул головой, усмехнулся. Усмехнулся вроде ирони-чески, а на самом деле, почувствовал, со скрытой завистью. У него на занятиях пеной не брызгали...

— Они и не отрицают, что одним человеком написано, — продолжал Стахеев. — Они другой гипотезы придерживаются. Да, писал, дескать, один и тот же, но не Михаил Александрович, а его тесть — отец жены.

— Хм... — Теперь Юрий Андреевич усмехнулся искренней. — Забавно.

— А почему именно он? — спросила старшая лаборантка Наталья Георгиевна.

Тут вошел багровый, потный, измотанный до предела Кирилл. Страдальчески выдохнул, отер лицо носовым платком. Внимание Стахеева мгновенно переключи-лось на него:

— Каково? Укатали сивку?

— И не говорите, — буркнул тот, но буркнул явно не для того, чтоб отвязались, а как старшему товарищу, которому, правда, стыдно жаловаться.

— Что было-то? Семинар?

— Да, по Тютчеву.

— И? — Стахеев выпустил из ноздрей плотные струйки сигаретного дыма.

— Ну, я их начал о главном опрашивать, а они на мелочи какие-то... И ведь специально увели, чтоб не показать, что даже стихов как следует не читали...

— А что за мелочи?

— Н-ну... — Кирилл дернул плечами. — Зачем он дипломатом работал всю жизнь, сознавая, что это мешает поэзии. Увидел ли Пушкин в нем большого поэта или просто так напечатал...

— Какие же это мелочи, дорогой?! — перебил, чуть ли не вскричал Стахеев. — Это как раз и есть главное! Стихи, в целом, — бесспорны, а вот такие вопросы...

«М-да, главные темы, споры, пена изо рта, — раздраженно думал Юрий Андре-евич, сидя за своим столом, — а в итоге прилавок, рулон с билетами, исторический календарь в местной газетенке, который любой школьник составить способен. — И уже с откровенной озлобленностью он мысленно бросил Стахееву: — Пустобрех ты просто-напросто! Все равно о чем болтать, лишь бы слушали...»

Но когда Дмитрий Павлович предложил ему пойти в «Корону», послушно поднялся из-за стола...

— Какие прогнозы насчет чемпионата? — по пути спросил Стахеев.

Юрий Андреевич глянул на него непонимающе:

— А?

— Чемпионат мира по футболу ведь скоро. В курсе?.. Как тебе наша славная сборная?

— Да я как-то... не слежу в последнее время.

И действительно, он давно не интересовался футболом. Нет, иногда смотрел матчи, но лишь когда, переключая каналы, случайно наткнулся на трансляцию; думать же о том, каков состав сборной, гадать, выйдет ли она из группы, ему и в голову не приходило. Хотя когда-то следил, прогнозировал, спорил с тем же Стахеевым.

— Вряд ли, думаю, что-то покажут, — без увлечения, может, заразившись равнодушием коллеги, говорил Дмитрий Павлович. — Нападения нет совсем, с защитой тоже беда. Единственное — средняя линия. Потому и держат мяч по семьдесят минут за игру. Чемпионов мира, хе-хе, за время владения мячом можно дать...

Вошли в полутемный, скупое и красиво освещенный свечами зал «Короны». Даже и не подумаешь, что освещен так по необходимости, из-за того, что просто электри-чества нет... Юрий Андреевич здесь еще не бывал, но, как каждый горожанин, знал из рекламных объявлений, что бар этот самый престижный и элитный.

— Присаживайся, — по-хозяйски указал ему Стахеев на стол в уголке; глянул в сторону устройствшихся шеренгой молодых людей в белых рубашках и черных брюках и тоже сел.

Официант мягко положил перед ним кожаную папочку. Дмитрий Павлович раскрыл ее, уверенно перелистнул, пробежался взглядом по названию кушаний.

— Что, Юр, — поднял глаза на Губина, — по бизнес-ланчу?

— Я не голоден...

— Ну, у тебя еще лекция впереди. Подкрепиться надобно. Чего ж?.. Давай, да? А то мне одному кусок не полезет.

Юрий Андреевич двусмысленно пожал плечами.

— Н-так... и-и... — Стахеев еще полистал меню. — И водки графинчик. Не против?

— Ты что?! Как я на лекции буду...

— Мы по чуть-чуть. Чисто для аппетита.

— Я — нет, — испуганно и твердо сказал Юрий Андреевич.

— А я капельку, с твоего позволения. — И Стахеев жестом подозвал ждущего поодаль официанта.

Встречая надписи «бизнес-ланч» на выставленных щитах у дверей кафе и баров, Юрий Андреевич никогда не воспринимал это название как название чего-то вкусного, свежего. За этим «бизнес-ланч» виделись иссохший муляж сосиски с булочкой, красное пятно крахмального кетчупа. А на самом деле вот, оказалось, — обалденно пахнущий, роскошный обед. И так соблазнительно тянет холодом от запотевшего графинчика с водкой...

— Как, не созрел? — Стахеев поднял графинчик над рюмками.

— Нет-нет, не стоит... Боюсь расклеиться.

— Что ж — зря.

Стахеев выпил и стал энергично хлебать харчо. Но вдруг неожиданно отложил ложку, прожевал, вытер губы салфеткой.

— Слушай, Юр, хочу тебе одно предложение сделать. — Он снова наполнил свою рюмку и задержал графинчик в воздухе, настоятельно советуя Юрию Андреевичу, и тот поддался:

— Половину только. Символически.

Выпили, закусили.

— Что за предложение? — не выдержал Губин слишком длительной паузы.

— Гм... Понимаешь, старик, отличная наклюнулась подработка. Я бы сам не отказался, только вот, так сказать... гм... обличьем не вышел. А нужен человек статный, высокий чтоб, с породой... Ну, типа тебя. Ты вот идеально подходишь...

Юрию Андреевичу всегда становилось неловко, неприятно, когда заговаривали о его внешности. Внешне действительно — граф Орлов... Но даже когда молодая жена шептала ему в постели: «Ты мой сильный... ты мой самый красивый...» — Юрий Андреевич сразу остывал, выныривал из горячего забытья страсти. И вспоминалось тогда, как он начинает тревожиться, искать пути отступления, завидя впереди на вечерней улице компанию подвыпивших парней, как предпочитает уводить жену (а до того невесту) с танцплощадки, когда чувствует, что к ней проявляют слишком уж большое внимание и наверняка, если останешься, придется драться... Да и вообще характер его не соответствовал внешности; благородство, может, в какой-то мере и было, а вот решимости, мужественности он в себе не ощущал. Скорее — робость.

— Для чего подхожу? — и сейчас, смутившись, насупившись, перебил Губин вопросом Дмитрия Павловича.

— Н-ну-у... — Тот наполнил рюмки. — Давай перед антрекотиком. Хорошо здесь кормят... Могли бы, в принципе, и рестораном назвать. Но бар, видишь ли, в моде сейчас. Ресторан пугает, бар как-то вроде... — Он покрутил пальцами. — Вроде попроще.

Проглотив водку, сладко поморщившись и бросив в рот ломтик маринованного огурчика, Стахеев кивнул Губину: мол, пей, не бойся.

Губин выпил, склонился над тарелкой... Надо закусить плотнее, хмель задавить. Ведь лекция впереди...

— Слышал, наверное, — снова заговорил Дмитрий Павлович, — открывается казино на днях? «Ватерлоо»... Его игорным домом решили назвать, чтоб обыватель не очень пугался.

— Слышал, кажется... Но мне такая информация как-то не особенно интересна.

— Зря, зря, что не интересна. Все-таки первое такое заведение в нашем медвежьем углу. Через двенадцать лет после официальной легализации... И здание строили почти что три года... — Стахеев говорил с чувством, даже слегка как бы обидевшись на равнодушие коллеги. — Мучительно, по кирпичику... В любом случае — событие для города нерядовое.

— Лучше б музей отремонтировали, — не согласился Юрий Андреевич. — Вон прочитал тут в газете, задняя стена вот-вот рухнет...

От сотни граммов водки он почувствовал заметный прилив энергии. Но энергия была нехорошей, агрессивной; подмывало сказать что-то хлесткое, обидное

Стахееву — то, что он прятал от себя самого, давил даже в мыслях... Стахеев же, наоборот, сделался еще добродушней, снисходительней. Сидел, отвалившись на спинку стула, курил, улыбался; узел галстука оттянул к третьей пуговице кремового цвета сорочки. И его добродушие неожиданно передалось Юрию Андреевичу, он тоже улыбнулся, спросил:

— Так что за дело-то, Дим? Хорош круг да около...

— Дело... — Тот задумался, будто припоминая, что ему нужно было от Губина. — Дело... Дело, старик, такое. Гм... Только ты с плеча не руби, а подумай, взвесь. Лады? — И, по своему обыкновению, не дожидаясь ответа, продолжил: — Согласен ты стать лицом казино «Ватерлоо»? Работы почти никакой, ответственность нулевая, зато денежки, мягко говоря, приличные.

— Как это — лицом?

— Ну, как... Ходить там по вечерам в форме французского маршала, в рекламе сняться... Короче, понимаешь, чтоб с твоим обликом оно связано было. С живым, так сказать, человеком. — Стахеев доразлил содержимое графинчика по рюмкам. — Давай, старик, тут по плоточку осталось.

Юрий Андреевич с машинальной послушностью выпил... Суть стахеевского предложения он еще не уяснил, понял лишь, что услышал совсем не то, что ожидал. Ожидал, может, предложения помочь с профессурой, с восстановлением дачного домика; совсем уж втайне ожидал разговора о своем скором пятидесятилетии, о том, как и где его лучше отметить... А тут вот нечто совсем другое...

— Ничего страшного нет, я тебе гарантирую, — заторопился Дмитрий Павлович. — Наоборот, я считаю, удача. Я сам бы с радостью, только росточком, увы, не вышел...

— Погоди, — перебил Губин, — объясни толком.

— Н-так... — Голос преподавателя советской литературы стал медленным, каждое слово весомым, значительным. — Значит, недели через две открывается игровой дом «Ватерлоо». По названию последнего сражения Наполеона... Мировая практика показывает, что очень полезно иметь крупной фирме, магазину, ресторану, гостинице живое олицетворение. Так сказать — символ. И мы, старик, предлагаем тебе стать символом «Ватерлоо». Ничего особенного, да и почти ничего тебе делать не нужно...

— Извини, перебью... — Юрий Андреевич понял в конце концов, о чем ведет речь Стахеев, но не оскорбился, не почувствовал желания встать и, бросив на стол сотню (правда, еще вопрос, набралась бы в его бумажнике сотня), уйти; вместо оскорбленности появилось, защекотало любопытство. — Извини, а кто это «мы»? Ты какое-то отношение к этому... к казино имеешь?

— Так, более или менее... Понимаешь, мой зять, муж старшей дочери, Денис, один из совладельцев. Деньги большие вложил... Он и подал идею тебя привлечь. Он тебя видел тогда, на моем дне рождения, залюбовался, говорит... В-вот... Деньги, Юр, очень приличные тебе будут платить. Машину свою наладишь или подклатишь на новую, с дачей разберешься. Все нормально будет, старик...

— Да уж...

— Ладно ты, не грусти! — Стахеев потряс его за плечо. — Сейчас пропустим еще по сотенке — и в альма-матер...

Юрий Андреевич сидел скрючившись. Перед глазами кривлялся клоун из телерекламы, символизирующий «Макдоналдс»... Потом на его месте появился он сам, одетый в костюм Наполеона, с дурацкой шляпой (или как там она называется?) на голове, пальцы правой руки сунуты за борт серого френча (или сюртука?)...

— Кстати, — встрепенулся он, будто нашел выход из сложной ситуации, — у меня ведь, хм, с Наполеоном мало общего. Он вроде невысокий был, полноватый, с залысынами... Ты, прости, как-то больше на его роль подходишь.

Стахеев опять улыбнулся, добродушно, открыто. Покивал:

— Так-то так, только, с другой стороны, людям-то наплевать — похож, не похож. Главное — чтоб фигура солидная. Тем более не Наполеоном ты будешь, а так... каким-нибудь маршалом. Кто там у них был красавец?.. Ней, Мюрат...

Официант поставил на центр стола запотевший графинчик и неслышно отошел в сторону. Стахеев без промедлений наполнил рюмку.

— Ну, за все доброе!..

Конечно — естественно! — Юрий Андреевич был уверен, что откажется. Однозначно и решительно. Только позже, сейчас неудобно. Завтра... при следующей встрече...

И Стахеев, будто услышав его мысли, не торопил:

— Ты, старик, вечером посиди, обмозгуй. Ничего, повторяю, особенного. С Татьяной посоветуйся... Как она, кстати? Нормально?.. Привет передавай.

Юрий Андреевич качнул головой. Равнодушно слушал, глядя на грязную пустую тарелку.

— Снимешься в паре роликов, напечатают твою фотку в буклете. Иногда, под настроение, будешь по залам гулять... Костюм тебе подберут настоящий, той эпохи. Мы уже в театре договорились. Мерки только надо с тебя снять... Ладушки?

— Я подумаю, — ответил Губин, не поднимая глаз.

Было бы просто бестактно рубануть сейчас, поев и выпив за счет Стахеева, коротким, тяжелым «нет».

* * *

Вторая половина дня. Солнце лишь чуть начало клониться к западу, но из тенистых углов уже тянет холодом. Да оно и понятно — по Самуси только-только, как всегда, тяжело, с треском и хрустом, прошел лед, а земля, старушки огородницы говорят, совсем недавно оттаяла.

Зима вообще в этих краях задерживается подолгу, на север уползает неохотно, часто возвращаясь снегопадами в конце мая, промозглым ветром, от которого жухнет трава, чернеют белые цветки яблонь и слив.

За последние несколько лет Ирина привыкла, приучилась как раз в это время ехать на дачу, собирать граблями в кучу прошлогоднюю сухую ботву и листья, заправлять сооруженные папой грядки семенами морковки, редиски, лука, устраивать цветочные клумбы вокруг их домика, следить за Павлушкой, которому непременно надо, по примеру деда, копать землю, и копает он ее как раз там, конечно, где уже лежат семена...

Но теперь, судя по всему, с дачей покончено. Сгорели домик, почти все плодовые деревца, и без них стала чужой, немилрой сама земля на изуродованном участке. Даже не тянет туда. Нет, чего зря говорить, — тянет, но как представишь черную гору углей и железок вместо домика, вспомнишь о погибших вещах и — лучше просто отрезать, похоронить. Словно и не было.

Каждую зиму у людей дачи горят. То ли из-за электричества происходит, то ли бомжи поджигают нарочно или случайно... Ирина слышала, что многие пытаются найти виновных, судятся, страховки выбивают. Одни вроде побеждают, другие — нет, только какая, в общем-то, разница... Все равно дачу, ту, к которой прикипел душой, не вернуть. Строить заново далеко не у всех хватает энергии и решимости...

Ирина ушла сегодня с работы часа на два раньше, чем положено. То есть — обычно. Дел не предвиделось, слушать Дарью Валерьевну уже не было сил; часов с двенадцати в голове появилась знакомая, постепенно вытесняющая другие мысль: «Надо домой. Засесть с Павлушкой в комнате, поиграть... Совсем, наверное, мать там замучил... Вечером еще постирать...» И в начале третьего она заперла лабораторию, с пакетом подаренных Рагимом фруктов вышла за ворота рынка... Вместо автобусной остановки ноги как-то сами собой понесли ее к центру. Ирина не сопротивлялась, радуясь весне, кратковременной свободе между работой и домом; та мысль о Павлике, о матери, о вечерней стирке — она давно поняла — лишь повод сбежать. На самом деле ей было нужно, не давало покоя совсем другое...

Не замечая тяжести пакета, медленно, прогулочной шла по главной магистрали города, по так и не переименованному проспекту Ленина... Сперва сплошь кирпичные и блочные пятиэтажки, иногда — девятиэтажные дома, но вот проспект расширился, и слева — большая площадь с памятником все тому же Ленину, два облицованных мрамором правительственных дворца (теперь — городская и областная администрации) друг против друга, шеренги разноцветных машин на стоянке; за Лениным десяток голубоватых елей, а в центре площади — фонтан...

Вид площади всегда навевал на Ирину приятные воспоминания. В детстве летними вечерами она гуляла здесь с мамой и папой, замороженно — не оторваться — смотрела, как бьют вверх из гранитных ваз единственного тогда в их городе фонтана плотные струи воды и падают с мягким шипением, разбиваются, разлетаются далеко вокруг мельчайшими свежими каплями... Сейчас, без электричества, фонтан, конечно, бездействует...

Тут же, сбоку площади, драматический театр с колоннадой у входа, построенный лет сто пятьдесят назад; чуть дальше краеведческий музей — тоже старинное

здание, — закрытый сейчас, и уже с полгода, на капитальный ремонт. Еще дальше универмаг «Сибирь», трехэтажный, многозальный гигант, любимое некогда место у женщин — бродили по нему, точно бы действительно по музею, мяли развешанные на железных шестах платья, кофточки, юбки, любовались драгоценностями за толстым стеклом, приценивались к стиральным машинам, телевизорам, пылесосам, а потом стали дивиться почти инопланетным «Панасоникам», «Индезитам», «Аристонам»... Теперь магазины с подобным товаром появились на каждом шагу, но все они небольшие, даже тесные, а ведь какое удовольствие переходить из отдела в отдел, петлять по залам, каждый раз обнаруживая нечто удивительное, фантастическое просто, жаль — но об этом как-то в тот момент не думаешь, — не по карману...

Универмаг работает с недавнего времени только по выходным, тоже из-за отсутствия света, зато вокруг него плотным кольцом — рынок, где продают те же самые товары, что и в «Сибири».

Еще в районе центра почта с междугородним телефоном, физико-математический корпус университета, гостиница «Ермак» (название звучное, хотя Ермак до их мест не добрался), ресторан «Сибирские зори» в дореволюционном здании, напоминающем Большой театр; а еще вот появилась и новостройка — казино.

Строили его долго, года четыре, огородив высоченным забором из железобетонных плит, нарушая тишину и вечно торжественно-праздничную атмосферу сердца областной столицы. Много было споров по поводу и строительству в целом, и того, что строится именно казино. Многие, понятное дело, были против; в газетах появлялись статьи, то: игорный дом украсит наш город, придаст ему еще более современный и цивилизованный вид, то прямо противоположные: нарушит архитектурную гармонию, превратит площадь в арену бандитских тусовок и стоянку автомобилей богатых клиентов.

Но строительство тормозила наверняка не эта дискуссия в прессе, а отсутствие денег. Случались многомесячные паузы, и за забором тогда наступало затишье, скорее тревожное для горожан, чем желанное; замки на больших воротах успевали покрыться ржавчиной, сторожа скучали на своих дежурствах, в народе начинали бродить слухи, что казино строить все-таки запретили и теперь наверху решают, сносить ли здание или же приспособить его под что-нибудь дельное — под художественную школу, например, которая сейчас ютится в двухэтажном бараке возле заброшенной кочегарки, а может, перевести сюда музей...

Но вот отпирались ворота, веселели сторожа-охранники, сновали туда-сюда груженные кирпичом, цементом, мрамором «КамаЗы» и «ЗИЛы», головы прохожих снова раскальвались от трескотни отбойных молотков, компрессоров, гула и скрипа, криков строителей.

И наконец-то эпопея, похоже, завершена. Забор исчез, над входом дугой висит, блещет в солнечных лучах стеклянная надпись «Ватерлоо». Со дня на день открытие ожидается.

А вот и кинотеатр «Ровесник»... Ирина замедлила шаг...

В их городе три кинотеатра. Один — «Дружба» — в новом микрорайоне, а два других — «Художественный» и «Ровесник», почти в центре, недалеко друг от друга.

Раньше у них были разные функции. В «Художественном» показывали фильмы для взрослых, а в «Ровеснике» — для юношества, мультики, и почему-то, как теперь вспоминается, почти бесперывно, «Война и мир» в течение четырех дней (в день по серии), с примечанием на афише: «В рамках изучения классической русской литературы». Может быть, люди из гороно были уверены, что школьник, не осилив огромного произведения, хоть таким образом познакомится с основными сюжетными линиями, главными героями, или просто у кинотеатра была своя копия, вот и крутили...

В последние годы разницы между этими кинотеатрами не стало. И в «Художественном», и в «Ровеснике» шли теперь одинаково зрелищные боевики, катастрофы, триллеры, мелодрамы; впрочем, сборы, кажется, получались мизерные — народ перестал проводить вечера в кинотеатрах. Пришлось ставить в фойе бильярд, игровые автоматы, организовывать кафе, сдавать часть помещения под магазинчики...

В этой ситуации удивительно, что дирекция «Ровесника» сохранила в штате должность художника, тем более все новые фильмы сопровождался теперь целым набором разнокалиберных цветных и черно-белых афиш на глянцевой финской бумаге с самыми увлекательными кадрами... Зачем, казалось бы, художник, который малюет гуашью то же самое на щитах из грубого холста? Но, наверное, в этом есть свой расчет — надежда на любовь людей к традиции: вот, мол, привыкли, проходя мимо,

бросать взгляд на щиты и вдруг возьмут да вспомнят, как стояли в очередях на «Покаяние» или «Маленькую Веру», расчувствуются, купят билет на сегодняшний вечерний сеанс. Решат тряхнуть стариной.

Ирина, улыбаясь, постояла перед щитом, где оранжевой, желтой и розовой красками была изображена слишком похожая на себя Шарон Стоун, подумала: «Умеет Павел передать самое характерное в человеке. Но получается как-то... как карикатура». И вспомнились его картины — если была нарисована березовая роща, то береста имела слишком правильное деление на белый и черный цвета, а на натюрморте стакан, к примеру, был точно бы сфотографирован, и тени лежали идеально ровно. Люди получались пропорциональными, зато неживыми. И сам Павел, закончив очередную картину или рисунок, неизменно с досадой оценивал: «Ученичество».

Честно говоря, Ирина почти с самого начала их серьезных отношений поняла: он не добьется в живописи чего-то большого; точнее — поняла, что у него нет таланта, позволяющего сделать недостижимое для других. Но ей нравилось, было необходимо его хотя бы словесное стремление, попытки, его упорство. Ирина точно заряжалась этим, хотя сама никогда не пыталась сделать нечто необыкновенное. Заряжалась для того, чтобы просто жить. Ведь для просто жизни необходима цель, пусть даже чужая...

Сейчас она ждала, когда в веренице автомобилей появится брешь и можно будет перебежать улицу.

«А если зайти? Посмотреть? — слабенько царапнула мыль. — Тем более... в кои веки здесь оказалась».

И Ирина тут же сдалась ей; обогнула кинотеатр, увидела черную железную дверь. Дверь приоткрыта, значит, Павел на месте.

Постучала. Изнутри не сразу и как-то недовольно отозвались:

— Да-а!

Она вошла в черноту, нащупывая ногой ступеньки вниз. Одна, две, три, четыре. Теперь будет выступ стены, а за ним уже мастерская и одновременно жилище Павла.

Первое, что заметила, — огонек толстой, стоящей на консервной банке свечи, раздвигающий подвальную тьму на несколько сантиметров вокруг, и, чуть позже, — синеватый, совсем жидкий отсвет в углу. Оттуда знакомый голос:

— Кто там? — не тревожный, а по-прежнему недовольный.

Ирина помнила, знала, что электричества в городе нет, но эта темень пришибла, оглушила ее, словно тяжелый камень. И она оторопела.

Синеватый отсвет в углу заметался, там заскрипело. В голосе Павла появился испуг:

— Эй, кто это? А?

— Я, — наконец сумела сказать Ирина.

— А чего сразу не отвечаешь?

— Извини... темно.

— Хм, да вот — дичаем.

Павел осторожно поставил на стол дающий синеватый отсвет предмет. Подошел к Ирине.

— Какими судьбами?

— Так... шла мимо... — Это объяснение было правдой, только почему-то показалось ей сейчас глупым и искусственным, и она замолчала. Подумала: «Зря зашла. Зачем?»

— Что ж, садись, — пригласил муж. — Тут где-то табуретка должна быть...

Он тоже сел к столу, стал виден. Все такой же сухощавый, с неизменной недельной щетиной, волосы завиваются над плечами салными прядями. Глаза непривычно ленивые. Нет в них той постоянной возбужденности, почти злости, что всегда пугала и очаровывала Ирину... Или это просто в жидком свете так сейчас кажется?..

— Как живешь? — кашлянув, спросила она.

— Да как... — Павел поозирался, будто спрашивая подсказки у невидимых вещей в комнатке. — Как дитё подземелья. Днем сплю, а ночью афишки крашу, кой-какая халтура перепадает. — И поспешно уточнил: — Очень редко, правда, перепадает.

Ирина поняла, успокоила:

— Ничего. Павлушка сыт, здоров. С деньгами терпимо, — и кивнула на предмет, дающий синеватый отсвет. — А что это? Телевизор такой?

— Да нет... Компьютер. Но... ноутбук называется. Ну, портативный.

— Я видела, да... В рекламе.

Павел нажал какую-то кнопку, синеватый отсвет исчез. Закурил, поглядывая мимо Ирины.

— Извини, — вдруг спохватился, — чаю нет. То есть кипятка... Два часа еще до цивилизации.

— Что?

— Ну, когда Чубайс электричество даст.

— Да-да...

Замолчали. Свеча на банке оплыла и превратилась в бледно-желтый полупрозрачный холмик, на вершине которого, чуть заметно дрожа, торчало яркое перышко...

— А как он работает? — раздражаясь и пряча раздражение за этим вопросом, произнесла Ирина.

— Компьютер-то? Ну, так... — Мужу явно не хотелось разговаривать. — В нем батарейки есть... не батарейки, а эти... аккумуляторы. На несколько часов хватает... Полезная все-таки вещь... Я раньше не понимал, а теперь оторваться от него не могу... Эскизы на нем делать учусь...

Ирина слушала эти его вымученные фразы, и раздражение только росло. Да, зашла с тайной даже от самой себя готовностью быть с ним, предложить снова попробовать стать семьей; тоже втайне мечтала, что, увидев ее, он бросится навстречу, обнимет... Что потом, лежа на его узеньком топчане, будет долго разговаривать о сыне, вспоминать общее хорошее из их прошлого, ведь хорошее было... А оказалось, ему и десять минут с ней в тягость. Спасибо, что хоть открыто не гонит.

— Извини, — перебила Ирина, — а откуда он у тебя? Они ведь, кажется, дорогие.

Павел как-то мгновенно сник от вопроса, ссутулился, на лице мелькнуло выражение испуга, и голос стал еще тише, медленней:

— Да, понимаешь, предложили... за копейки... Две тысячи... Наверно, ворованный... Ты, пожалуйста, поэтому никому... Хорошо?

— А мне особенно рассказывать и некому.

Ей хотелось вскочить и закричать. Про развод, про деньги, про его бегство, предательство...

— Я на квартиру копил, — явно оправдываясь, продолжал Павел, — хотел снять однокомнатку, а тут вот предложили... На нем такие можно картинки делать! Только принтер надо еще, чтоб выводить на бумагу... — Он затушил сигарету, первый раз посмотрел Ирине в глаза и улыбнулся. — Владеть пора новыми технологиями.

— Понятно.

— Слушай, а хочешь глянуть, что я понакрасил? — В его голосе вдруг появилось смущение, какое бывало раньше, когда он показывал ей, еще подруге, свои работы. — То есть, — хохотнул коротко и тоже смущенно, — не нарисовал... Хм, слово тоже новое для этого надо... Новые технологии — новые термины... Показать?

— Покажи.

Павел подсел ближе к ней, стал нажимать какие-то клавиши. Компьютер ласково заурчал, экран снова осветился синеватым, на нем появились значки, квадратики. По подобию шкалы побежал красный кружок; и затем — появилась мрачная заставка. Вечернее небо, башни небоскребов, усеянные желтыми точками окон.

— Ой, блин! — Павел сморщился. — Не то включил... А, ладно... Игра обалденная. Смотри. Это вот герой игры. Автомобильный вор и вообще бандит. У него тут разные миссии, задания то есть. Но мне нравится просто по городу шляться... Это как бы Нью-Йорк... Можно машины угонять, деньги отбирать, оружие. В баре можно выпить... Такой имитатор жизни, короче.

Одновременно со словами Павел проделывал то же самое на компьютере. То садился в грузовик, гнал на нем по улице, и под колесами смачно хрустели и лопались пешеходы, то врзался в стену и выскакивал из кабины за несколько секунд до взрыва машины, то умело забивал кулаками до смерти первого встречного и забирал пачечки долларов; заходил в бар и пил виски рюмка за рюмкой, вступал в перестрелку с враждебными группировками...

Наблюдать за всем этим было скучно. Но именно скучно — наблюдать; Ирине захотелось, как-то даже против ее настроения, самой поводить человечка по улицам, покататься среди небоскребов.

— А можно мне?..

— Погоди! — резануло досадливое в ответ; правда, голос Павла сразу смягчился. — Сейчас повяжут его, тогда...

И сначала вдалеке, еле различимо, а затем все громче, резче завывали сирены полицейских машин. Герой игры заметался, кинулся в темный узенький переулочек.

Сзади уже слышались визг тормозов, команды комиссара... Переулок оказался глухим тупиком; человек побежал обратно, на ходу перезаряжая пистолет... Полицейские набросились разом отовсюду, схватка оказалась короткой, и героя бесцеремонно швырнули на заднее сиденье «Кадиллака».

А через полминуты он уже стоял у дверей полицейского участка, оглядываясь по сторонам, готовый к новым подвигам.

— Давай, теперь можешь ты хулиганить. — Муж уступил компьютер Ирине. — Садись на этот стул, он удобней...

Даже просто заставить человечка ровно идти по тротуару оказалось делом нелегким. Он постоянно сшибался со встречными, наткнулся на фонари, на витрины. Вот пихнул какого-то здоровенного негра, и тот в несколько ударов прикончил беспомощного героя.

— Ну, ты тоже его бей! — горячился, учил Павел. — Мышкой шелкай, он будет драться.

Ирина кивала...

Каждая новая попытка была удачной. Нужно только по-настоящему увлечься игрой, не думать о постороннем... Наконец получилось забраться в машину. Ирина выбрала низенькую, спортивного типа, стоящую у дверей стриптиз-клуба. Надавила на клавишу «W», и машина рванула по улице. Тут же зазвучала спокойная, уютная мелодия.

— Это, дескать, автомобильное радио, — объяснил муж. — Если хочешь, можно другую волну поймать.

— Не надо...

Машина летела на сумасшедшей скорости, и приходилось то и дело перебирать пальцами клавиши «A», «D», «W», заменяющие руль, чтоб не врезаться, не разбиться.

— Ну, Ир, молоде-ец, — стоя за спиной, хвалил Павел. — Я сперва и километра не мог проехать на такой тачке, а ты вон — с первой попытки. Да-а, классно-классно!..

От быстрой езды голова чуть кружилась. Дыхание перехватывало на поворотах и при появлении встречного автомобиля. Но это было приятно. Вспоминалось детское ощущение, когда, поднявшись с соседскими девочками и мальчишками на крышу родной девятиэтажки, стоишь на самом краю и, чуть наклонившись вперед, бросаешь взгляд вниз, к черной, безжалостно твердой глади асфальта, и тут же, задохнувшись от ужаса и восторга, отшатываешься, пятишься, и пальцы шиплет, будто ударило током...

А сейчас — сейчас она сидела в мягком кресле спортивной машины, слушала нежную, тихую музыку; колеса скользили по бесконечной улице, как по льду, и справа, до самого горизонта, сверкали электричеством небоскребы, слева плескался океан, а впереди тающим айсбергом вздымалась статуя Свободы... Так можно было мчаться сколько угодно, не заботясь о бензине, нарушая правила, разбиваясь и погибая на одну минуту, а затем, снова сев за руль этой же самой машины, опять мчаться вперед...

3

У подъезда столкнулись с главой домового комитета Алиной Станиславовной. Павлик, зная, что у взрослых начнется сейчас разговор, побежал к качелям.

Алина Станиславовна — женщина пожилая, давно на пенсии, но активности в ней — и молодая позавидует.

Татьяне Сергеевне она не очень-то симпатична (один в один управдомша из комедии «Брильянтовая рука»), хотя ясно, и никуда не деться от этого, — люди подобного склада необходимы. Энергия их, конечно, находит разное применение, у Алины Станиславовны вот не самое худшее — забота о своем доме, стовосьмиквартирной девятиэтажке.

Ее выбрали главой комитета еще лет десять назад, когда было модно (а в то время казалось просто необходимостью) такие комитеты создавать. Почти везде вскоре они заглохли, исчезли, будто и не было, о них и забыли, но Алина Станиславовна своей деятельностью не позволяла жильцам дома этого сделать. Постоянно следила, насколько тщательно моются подъезды, висят ли замки на чердачных люках и целы ли лампочки; она выбивала места для строительства гаражей, чтоб автомобили не загромождали двор; ее стараниями были установлены запоры на дверях подъездов. Запоры, правда, не кодовые (на кодовые общественных денег не хватало), и визиты гостей стали проблемой — не у всех в квартирах имелись телефоны, людям приходи-

лось или кричать в окна, что они пришли, или дожидаться, когда кто-нибудь, входя или выходя, откроет дверь.

Расцвет деятельности Алины Станиславовны пришелся на тот момент, когда в Москве взорвались дома. Она тут же организовала собрание, составила график дежурства, контролировала, точно образцовый командир, как несут вахту ее соседи... Когда страх от взрывов слегка притупился, одни смеялись над этими своими дежурствами, патрулированиями двора, у других, наоборот, было чувство, что дом их не взлетел на воздух лишь благодаря бдительности Алины Станиславовны.

Теперь у нее было новое большое дело — она боролась за подвал.

Судьба их подвала получилась типичной, чуть ли не классической.

Изначально он был предназначен для нужд жильцов: разделен деревянными стенами на отсеки, где можно было хранить картошку, пустые стеклянные банки, разный мешающий в квартире, но могущий когда-нибудь пригодиться хлам. Лопнувшая труба однажды основательно затопила подвал, вдобавок замок с двери постоянно кто-то срывал, и почти все восьмидесятые он простоял бесхозным, в него спускались прохожие, чтоб справить нужду... В восемьдесят седьмом подвал расчистили, отремонтировали и устроили в нем детский клуб «Парус» с настольным теннисом, фотолaborаторией, авиамodelьным кружком.

«Парус» просуществовал года четыре, радуя ребятишек, принося жильцам хоть и некоторое неудобство из-за детской неутомности, зато все-таки больше положительных эмоций, и вдруг закрылся. Причину узнать не удалось, да и мало кто интересовался. Тогда все закрывалось, случай с «Парусом» никого особенно не тронул; другие у людей были заботы.

Постояв несколько месяцев под замком, подвал снова ожил, чтобы стать секцией боевых единоборств «Тибет». Вместо детей туда стали ходить подростки лет шестнадцати, откровенно послеармейские парни, иногда встречались и девушки.

Выбранная как раз тогда председателницей домового комитета, Алина Станиславовна стала добиваться возвращения в их подвал детского клуба. И «Тибет» действительно быстро съехал — перебрался в спорткомплекс, принадлежащий канувшим в лету «Трудовым резервам», подвал же на три с лишним года снова заперли. О нем вроде как все позабыли, даже Алина Станиславовна успокоилась — все же пустой подвал лучше, чем толкущиеся во дворе по вечерам мускулистые, свирепого вида юнцы.

Но в позапрошлом году там вдруг оборудовали склад для хранения фруктов; случилось это как раз накануне московских взрывов, владельцами фруктов были азербайджанцы, и Алине Станиславовне не составило больших хлопот от них избавиться. Впрочем, как это часто бывает, дальнейшее оказалось куда хуже предыдущего — в подвале организовали выращивание шампиньонов.

Сперва возмущались все жильцы поголовно, писали коллективные письма, дружно ходили митинговать к дворцу администрации города. Это помогло лишь отчасти — приезжала комиссия, осмотрела подвал, что-то измерила и вынесла заключение: влажность воздуха в норме, прочности фундамента ничто не угрожает...

То ли это заключение повлияло на многих, то ли еще какие причины, но борьба с шампиньонщиками после комиссии заметно приутихла. Это привело к распрям среди жильцов — те, кто продолжал бороться, считали, что остальных просто-напросто подкупили; доходило до бурных ссор на лестничных площадках и разрыва знакомств. В конце концов лишь немногие вот уже почти два года стойко добивались выдворения из подвала чужих. Среди них главенствовала, конечно, Алина Станиславовна.

И сейчас она, забыв поздороваться, сразу всучила Татьяне Сергеевне лист бумаги.

— Вот опять собираю подписи. Здесь, в правой колонке, надо свою фамилию и роспись, а слева — номер квартиры... Пошлем представителю президента в округе. Пора! Сил нет никаких... Ведь это наше помещение, как ни крути, может, мы сами хотим там шампиньоны растить!..

Вслед за бумагой у Татьяны Сергеевны оказалась и ручка. Она вписала номер квартиры, черкнула подпись... Вложив бумагу в папочку и мгновенно успокоившись, председательница сообщила:

— Галкин к нам на гастроли собрался. Слыхали? Говорят, в интервью каком-то сказал.

— А кто это? — измотанная прогулкой, не поняла Татьяна Сергеевна.

— Ну как! Мальчик-то этот, юморист... С Пугачевой еще поет, игру ведет «Миллионер».

— Ах, да, да...

Голос Алины Станиславовны стал заговорщицким:

— Если будет возможность, вам с супругом билетики взять? В свободную-то продажу, наверно, они вряд ли поступят.

— Да я как-то... — Татьяна Сергеевна растерялась. — Не особо поклонница...

— Ну, я тоже не поклонница, но хоть положительные эмоции получить. А он так умеет... не как другие. По-доброму.

Павлик, безуспешно попытавшись покачаться на качелях, прибежал обратно, сам достал из пакета с час назад со слезами вытребованный батончик «Нестле», сорвал блестящую обертку, бросил ее на асфальт. Татьяна Сергеевна подняла.

— Вы с дачей-то как? — Теперь голос председательницы стал сочувствующим. — Что решили? Картошку-то сажать будете?

— Ох, не знаю...

— А что так?.. Все равно ведь надо. Как зимой-то?

Татьяна Сергеевна, начиная тяготиться разговором, взглянула на чистое, до прозрачности голубое небо; все же призналась:

— Слишком тяжело все это видеть, Алина Станиславовна. Были с мужем в начале апреля, как снег сошел... Гора углей посреди участка.

— М-да-а, горе-горе... У меня знакомые на пилораме есть. Может, договориться насчет материала? Они лишнего не возьмут...

— Да у нас тоже есть человек, — перебила Татьяна Сергеевна. — Только каково оно — заново строиться...

Доев батончик, видимо, истомившись до крайности, внук потянул ее домой. Татьяна Сергеевна с радостью ему поддалась. Для приличия поблагодарила председательницу за участие. Та кивнула, резко достала список из папки, что-то увидела в нем и ринулась к соседнему подъезду.

Обедали чуть теплым борщом, поджаркой с гречкой, соленой — любимой внуком — капустой.

Хлебнув ложку борща, Павлик отодвинул тарелку. Татьяне Сергеевне пришлось подать мясо.

— Кто мясо глотает, тот умирает! — сообщил внук, наколов на вилку кусок поджарки.

— Почему это?

— Потому. — И, сунув кусок в рот, стал жевать. — Нам Зоя Борисовна так сказала.

— Глупости какие-то.

— Да-а! Кто мясо глотает, тот умирает!

— Почему умирает-то?!

Она понимала, что спорить с четырехлетним ребенком глупо, бесполезно, но копившеся с утра раздражение искало выхода и вот, кажется, нашло. Татьяна Сергеевна уже кипела, представляла, как выскажет воспитательнице, этой Зое Борисовне, по поводу идиотского «кто мясо глотает...». В самом деле — что за дикость? Они так там приучают, что ли, детей мясо не есть?..

— Кто мясо глотает, тот умирает, — как назло, не унимался Павлик.

— Перестань ты, ешь давай!

— Надо мясо жевать, а не глотать. А кто глотает — тот умирает!

— У-у, — поняла наконец Татьяна Сергеевна. — Да, правильно. Правильно вам говорят... — И почувствовала неловкость, даже стыд, будто уже отчитала воспитательницу ни за что.

И чтобы подавить это чувство, она повелительно, слегка грубовато произнесла:

— Жуй хорошенько, не отвлекайся!

Заскреб ключ в замке. Павлик тут же соскочил со стула, побежал в прихожую. А оттуда уже бодрый голос деда:

— Здорово, Пал Палыч! Как дела?

— Нома-ально!..

Еще не уловив запаха, Татьяна Сергеевна поняла, что муж навеселе. Его всегда выдавали глаза — они становились как-то ярче, выразительней, в них появлялись одновременно и радость, и виноватость. И голос тоже немного менялся — слова произносились слегка натужно и нараспев, как у страшно уставшего, но и счастливого человека.

Вообще-то выпивал он редко, очень редко, если сравнивать с большинством других, даже вполне интеллигентных мужчин. Приятельницы когда-то давным-давно, случалось, намеками предупреждали Татьяну Сергеевну, что именно в таких скрыва-

ются запойные алкоголики, психопаты, способные надеть ужасных вещей. Она обижалась на эти намеки, хотя втайне, конечно, и беспокоилась... Но вот прожили почти тридцать лет — ни одного скандала бурного. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить...

И все же она ощутила недовольство, нет, точнее ревность, что муж выпил. Сразу возникли вопросы: с кем? по какому поводу? Ведь и она могла бы...

— Со Стахеевым пришлось по чуть-чуть, — сказал, будто ответил ей муж.

— А что у него? Очередной юбилей? — усмехнулась Татьяна Сергеевна и тут же пригасила раздражение: — Обед готов, дорогой. Только холодный...

— Можно и холодный. Голоден, как папа Карло!

Пока он переодевался, умывался, дали электричество. «Ишь ты, — изумилась Татьяна Сергеевна, — на полчаса раньше!» И это слегка повысило настроение; она с увлечением стала накрывать на стол...

Павлик смотрел в комнате телевизор, муж торопливо хлебал борщ, она сама, сидя напротив за квадратным столом, пила чай.

— Как лекции? — задала традиционный вечерний вопрос.

И Юрий Андреевич ответил, как и всегда:

— Да ничего, без эксцессов. — А затем, подумав, добавил, наверное, для разнообразия: — Экзамены скоро.

— Подлить еще?

— Не откажусь.

— Там и кость есть. Поглотишь?

— Можно.

Муж снова принялся за еду, а Татьяна Сергеевна без мысленной подготовки, неожиданно для самой себя спросила:

— Как думаешь, картошку когда будем сажать? Люди уже начали... Середина мая.

Вилка, которой Юрий Андреевичковырял кость, замерла, потом опустилась на стол. Он посмотрел на жену; в глазах растерянность, будто его ударили, но не сильно, и он не знает — в шутку или всерьез...

О даче они не говорили с того момента, как увидели остатки домика. Молча сняли тогда утеплители из мешковины и соломы с уцелевших после пожара плодовых деревьев, сгребли листья с виктории, забрали из обуглившейся времянки несколько более-менее нужных в дальнейшей жизни вещей, заперли ворота и пошли к автобусной остановке... Их «Москвичок» уже стоял к тому времени в гараже с заклиненным мотором, лысыми, до проволоки изъезженными колесами.

Да, тогда, в начале апреля, Татьяна Сергеевна была уверена: дача отныне в прошлом, больше не достанет сил приезжать туда, видеть черную язву посреди участка. Но только — как без нее?

— Надо сейчас решать, — уже уверенней продолжала Татьяна Сергеевна, — через две недели лето уже. Хоть что-нибудь успеть посадить.

— Да я понимаю, — с усилием выдавил муж. — Но не могу я, понимаешь... Как труп там лежит...

Он сказал то же самое, что думала и она, теми же почти словами, и от этого она загорячилась:

— А как мы будем без дачи? Ира вон таскает с работы маленько, но ведь... А у нас семья. Покупать?.. Так вообще никаких денег не хватит. Павлику витамины нужны. Что ж, без домика... у других и не было...

Муж еле заметно кивал, на лице уныние и тоска, и еще такое выражение... Оно бывает у щенков, когда их наказывают, а они силятся, но не могут понять, за что.

— Извини, что настроение порчу тебе после работы, — тихо, но неумиротворенно говорила Татьяна Сергеевна. — Просто без этой картошки несчастной тоже нельзя. Деньги рекой утекают... На одного Павлика сколько... Сегодня пошли гулять — и восемьдесят рублей как не было. То ему шоколадку, то мороженое, а нет — скандал. Знаешь ведь его характер... В парке еще аттракцион поставили — «замок-батуг». Пятнадцать рублей сеанс... Три раза пришлось платить, еле увела... За лифт вон прибавили... На той неделе за вывоз мусора тоже... А картошку, я тут глянула, продают — двенадцать рублей килограмм... За квартиру в месяц выходит по триста рублей почти. С человека. А у нас пятеро тут прописано...

Татьяна Сергеевна говорила тяжело, рывками, насильно; ей совсем не хотелось говорить все это, но и остановиться она не могла. И вдобавок внутри нее кто-то одобрительно и настойчиво бормотал: «Так, так, правильно. Пускай слушает, знает. А то все в облаках. Ученый... Правильно, правильно».

* * *

Давным-давно, когда они только вселились сюда, когда до рождения дочери оставалось несколько месяцев, а вещей было с гулькин нос, квартира казалась огромной, просторной и даже таинственной, будто не изученный пока что дворец... Вспоминая теперь те свои ощущения, Юрий Андреевич лишь грустно-иронически улыбается.

Большую комнату они сразу, не сговариваясь, стали называть «зал». Поставили в нем новенький диван-книжку, черно-белый телевизор «Рубин», сервант с шестью хрустальными бокальчиками, подаренными на свадьбу, а в центре — раздвижной обеденный стол.

Вторая, девятиметровая комната, получила звание кабинета — в ней должен был заниматься Юрий Андреевич, готовиться к лекциям, писать кандидатскую. Там установили стеллаж во всю стену, письменный стол с шикарной (тоже чей-то свадебный подарок) настольной лампой под зеленым стеклом.

Впрочем, такой порядок скоро нарушился. Родилась дочь; ее кровать и телевизор в одной комнате, конечно же, были несовместимы, и кабинет Юрия Андреевича сделался спальней Ириши. Письменный стол перетащили в угол зала, загородили его шкафом, чтоб создалось хотя бы подобие отдельного помещеньца, а точнее — закутка.

С тех пор Юрий Андреевич сидит по вечерам в закутке, лишь иногда с разрешения дочери укрываясь в ее комнате на час-другой, чтоб в одиночестве поработать над сложным вопросом, сосредоточиться...

Сегодня, по заведенной традиции, он сам приготовил себе кофе и с кружкой в руке направился в закуток... Кофе он пьет в последнее время «Пеле», а кружка с надписью «Нескафе». Это дочери с зятем после регистрации в загсе вручили — подошла девушка и с улыбкой, поздравлениями протянула коробку, а в ней две красные кружки с белой изнанкой и стogramмовая банка кофе... После того как зятек сбежал, кружка как-то сама собой перешла к Юрию Андреевичу... И ничего, удобная...

Павлик с серьезным, даже суровым видом глядит в телевизор. На экране молодой репортер энергично, уверенно рассказывает: «Выстрел киллера, по всей вероятности, прозвучал с крыши вот этого пятиэтажного дома...»

— Интересно? — невесело улыбнувшись, поинтересовался Юрий Андреевич.

Внук утвердительно дернул головой, от экрана не оторвался. Юрий Андреевич поставил кружку на край стола. Уселся.

Первым делом, тоже традиционно, вынул из портфеля все содержимое — ручки, бумаги, книгу, блокнот, очки в футляре. Сложил бумаги в ящик стола, очки подвинул к давно заброшенному перекидному календарю, хрестоматию Гудзия, приподнявшись, вставил на свое место на полочке. Взамен взял ее соседку, тоненький синий томик «Пустозерская проза».

Глотнул кофе, раскрыл.

Состояние хмеля после еды и разговора с женой прошло совершенно, вместо него появились вялость, ленивость. Тянуло перебраться на диван к внуку и устаться в телевизор.

«Нет, хорош, и так сколько вечеров впустую, — укорил он себя. — Делом надо заняться, в конце концов. Тем более — выходные теперь, скорее всего, на дачу уйдут...»

Уже несколько лет у него была идея расширить тему той лекции, что он посвящал «Житию протопопа Аввакума». Бесспорно, произведение уникальное, одно из лучших в русской литературе, и все же надо хоть бегло познакомить студентов с его письмами, с сочинениями его товарищей по Пустозерску. Они ведь тоже писали — да еще как! — а удостоились лишь перечисления имен. Дескать, были такие, и точка...

Но сперва, естественно, надо самому перечитать их вещи, сделать пометки, записать свои мысли, а потом уж составить текст минут на двадцать с цитатами, комментариями.

И-так, начать с дьякона Федора. Он, кажется, после Аввакума самый яркий из них писатель был...

Юрий Андреевич поправил книгу, чтоб свет лампы ровно ложился на страницы, сделал еще глоток кофе. Пополз взглядом по строчкам:

«Юзник темничной, грешный диакон Федор Иванов многострадальной страсто-терпице Настасье Марковне радоватися о Господе, и здравствовати со всеблагодатным домом, с любезными чады своими...»

Погружаться в словесный строй языка трехсотлетней давности поначалу приходилось с усилием. Правду сказать, Юрий Андреевич давно не перечитывал источники, предпочитал воскрешать в памяти темы лекций по своим записям, по заученным до автоматизма цитатам... «А им какво, — пришла вдруг, словно бы для защиты, ехидная мысль, — которые, кроме «типа», «как бы», в лучшем случае «в принципе», мало что могут сказать?»

— Дедунь, — рядом, слева и чуть снизу голос Павлика, — ты чего делаешь?

— Читаю.

Он попросился на колени, устроился, и велел:

— Ну, читай!

— «Тюрьмы нам зделали по сажени, а от полу до потологу головой достать, — с интересом, как воспримет текст Павлик, стал читать вслух Юрий Андреевич. — Да, слава Христуистинному, Лазарь отец писал царю письма, — другой год уже там; и ныне велено у него с Москвы о тех письмах взять скаску, и прислать к царю. — Внук завозилса, задышал, давая понять, что ему не нравится. — А писал страшно, и дерзновенно зело — суда на еретиков просил. Да не чаем мы — дать суд праведен».

— Не-ет! — Внук не выдержал, аж стукнул кулаком по столу; спрыгнул на пол. — Сичас! — Побежал в свою комнату.

«Когда еретик еретика судит вправду? — продолжал, но уже про себя и уже понимая, что чтение его вот-вот закончится, Юрий Андреевич. — Ни, ни; никогда бо сатана сатану не изгонит, по словеси Христову».

— Вот это! — Внук положил поверх «Пустозерской прозы» другую, с крокодиллом на обложке, книгу и снова стал карабкаться на колени Губину.

— И что? «Мойдодыра» или «Тараканище»?

— Нет, про рubeичку!

— Про какую рubeичку?

— Сичас... — Павлик, деловито посапывая, принялся листать страницы. — Про рubeичку... Вот! — Нашел рисунок, где были изображены муха и желтый кругляш у нее под лапками.

— А-а, так это про Муху-Цокотуху история! — несколько искусственно заулыбался Юрий Андреевич.

— И читай!

Он кашлянул, подвигал челюстями, как когда-то перед монологом, когда занимался в студенческом театре, и начал:

Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку...

— Нашла! — закончил за него Павлик.

— Правильно. — Юрий Андреевич перевернул страницу.

Пошла Муха на базар
И купила...

— Самовай!

— Молодец...

Приходите, тараканы,
Я вас чаем...

— Угощу!

— Павлуш, — появившись в комнате, попыталась выручить мужа Татьяна Сергеевна, — не мешай дедушке работать. Пойдем, я тебе почитаю.

— Нет! — Он прилепился к деду, заранее заныл, и Юрий Андреевич подмигнул жене: ладно, мол, пятнадцать минут, ничего страшного.

Татьяна Сергеевна пожала плечами, села в кресло.

— Смотрите сегодня вечером на РТР, — будто заметив ее, тут же предложили из телевизора.

— Дедунь, ну читай!

Тараканы прибежали,
Все стаканы выпивали.
А букашки —
По три чашки
С молоком,
С крендельком...

Но мысли его были теперь сосредоточены не на сказке. Думалось почти против воли совсем о другом.

Предложение Стахеева спустя несколько часов не показалось ему таким уж нелепым и оскорбительным. Действительно, если взвесить, что оскорбительного в том, чтобы наряжаться в платье наполеоновского маршала и погулять среди клиентов казино? Загримировавшись, сфотографироваться для рекламы в местной газете? Тысячи неизвестных и сотни известных на всю страну людей делают нечто подобное. Горбачев вон пищу когда-то рекламировал... Чем он рискует? Своей репутацией преподавателя педагогического института, кандидата филологических наук? Хм, он-то знает — над ним посмеиваются, что он в пятьдесят все еще кандидат, доцент, третий десяток лет собирающийся написать докторскую... И отказался бы кто-нибудь из них, из его коллег, от такого предложения?.. Нет, естественно, отказался бы кое-кто. Профессор Илюшин наверняка. Этот сторбленный, вечно мрачный полустарик с седой жидкой бородой до пояса, настолько погруженный в свой Серебряный век, что поминутно натывается на стены и дверные косяки. У него нет семьи, ему плевать на свой протертый до подкладки пиджак, у него только неизбывная скорбь по расстрелянному Гумилеву и восхищение поздним Ивановым... Предложения Дмитрия Павловича он бы просто не понял — смотрел бы на него скорбными глазами, тербил бы бородку, а в ответ промышал по обыкновению, чтоб отвязались: «Да, это интересно, интересно. Да-а... Но, увы, не по моей части».

Еще в ранней юности Губин вывел, что люди делятся на три категории. (Делить людей на категории, на типы, на сорта свойственно многим, если не всем, и каждый делит по-своему.) Оказалось, есть рвачи, живчики, в общем, люди энергичные, далеко не всегда честные, зато хорошо живущие; есть явные чудачки, они встречаются и в научной среде, и на заводах, и в деревнях среди доярок и комбайнеров (во время студенчества Юрий Андреевич три лета подряд провел в стройотряде в совхозах), эти чудачки могут трудиться по двадцать часов, они создают направления в искусстве, изобретают космические корабли, атомные бомбы, улучшают сенокосилки. И есть еще третья, самая многочисленная категория — ее принято называть «обыватели». Обыватели более или менее прилежно работают положенное законодательством время, потом более или менее благопристойно отдыхают; они обычно хорошие семьянины, у них обязательно в квартире присутствует пусть часто и неважный, но телевизор, а напротив него удобный, надежный диван, в прихожей на крючке висит зонтик, а на полочке для обуви щетка и вакса...

Тогда, давно, Юрию Андреевичу, конечно, хотелось стать чудачком. Они были ему симпатичны, притягивали к себе, хотя часто казались смешными. В них во всех он находил нечто одинаковое, какую-то неуловимую черточку в лице, нотку в голосе. И не важно, что это были люди совсем разных слоев, разных профессий, — все равно они были отмечены, помечены природой этой черточкой, будто пропуском в запретное для остальных.

Юрий Андреевич — в то время просто Юра, Юрик — старался не пропустить ни одной передачи об изобретателях и открытиях и сам тайком от приятелей и родителей ломал голову, что бы такое выдумать... Позже он месяцами мотался по северу области в фольклорных экспедициях, бродил по тайге, отыскивая староверческие деревушки, записывал сказания и былины, но, оказывается, все это было давно известно специалистам и даже опубликовано.

Пять лет в институте он проучился ровно, и вкладыш диплома поражал своим однообразием — длинные столбцы из цифры «4», лишь в нескольких местах украшенные пятерками... Когда учеба подходила к концу, Губину предложили поступать в аспирантуру и рекомендовали отделение древнерусской литературы. Преподаватель там прекрасно помнил делавшего интересные рефераты Юрия и взял к себе...

— Куда ж Ирина-то пропала у нас? — вернул из мыслей голос жены. — Седьмой час уже...

— Да зашла, наверно, куда-нибудь, — механически отозвался Юрий Андреевич

и обнаружил, что сидит за своим столом, читает внуку заученные с детства сказки Чуковского.

— Обещала быть к четверем, — вздохнула еще Татьяна Сергеевна. — Стирать собиралась...

— Сейчас придет, что ж...

— Деда, читай! — заныл Павлик.

— «А птица над ними кружится, — уставился в книгу Губин, — а птица на землю садится...»

Потом, начав жить отдельно от родителей, обзаведясь собственной семьей, он иногда, пугаясь и ругая себя, завидовал людям другой категории, тем, кого принято называть живчиками и рвачами. Их не любили, на них рисовали карикатуры в «Крокодиле», их сажали в тюрьмы, даже расстреливали, случалось, «за особо крупные хищения» и «валютные махинации». Но зато они имели большие квартиры, дачи с прислугой в заповедных зонах, водили дружбу с влиятельными людьми; они меняли машины, когда хотели... Такими людьми были напичканы, кажется — как и чудаками, все слои общества, они встречались среди партийных товарищей, хулиганов, среди ученых, рабочих, художников и писателей, среди колхозников. И действовали они по-разному: одни откровенно воровали, другие же — прикрываясь законом, одни хапали без меры, а другие — осторожно, помаленечку. Но цель у них была одна. Теперь эта цель называется: жить как человек. И в какой-то мере они оказались правы — то, что двадцать лет назад считалось пороком и преступлением, теперь определяется хвалебным, уважительным словом — бизнес.

Как и большинство, Юрий Андреевич частенько поругивает новые порядки, отношения, ворчит про беззаконие, но, задумываясь, представляя себя на месте какого-нибудь Дерипаски или Абрамовича, сознается — сознается как-то даже втайне от самого себя, — что и он не отказался бы стать таким. Иметь нефтяные скважины или автомобильный завод, жить в особняке из красного кирпича и купаться в бассейне с подогревом... Да, совсем бы не отказался... Правда, усилий, чтобы занять этикие прелести, он приложить не способен. И не то чтобы нравственно не способен, а куда проще — физически. От дома до института добраться и то утомительно, а тут такое... И большинство не способны, большинство способны лишь ворчать, ругать и завидовать.

— А-ай! — Павлик вдруг захлопнул книгу. — Не хочу!

— Как хочешь...

Только он убежал в свою комнату и стал катать по полу скрипучий самосвал, а Юрий Андреевич приготовился дальше читать сочинения дьякона Федора, заговорила жена:

— Ты не смотрел сегодняшнюю газету? Посмотри. Тут интервью с начальником нашего коммунального хозяйства по поводу летних водопроводов... Еще утром от соседок услышала...

— А что такое? — с досадой, что его отвлекают, но и с готовностью отвлечься спросил Губин.

— Понимаешь, теперь, чтоб вода на участок поступала... Сейчас... — Жена зашуршала газетой. — Вот, слушай: «По подсчетам специалистов, одна сотка за поливной сезон обойдется от трехсот пятидесяти до пятисот рублей». Одна сотка, ты понял?! Слава богу, у нас на даче скважина забита. Спасибо тебе, что тогда настоял...

— Уху-м...

— Вот, корреспондент спрашивает: «Будут ли льготы?» А этот, коммунальщик: «Полив огорода — не коммунальная услуга, а значит, никаких льгот для нее не предусмотрено. Это как заготовка сена — дело добровольное». — И жена вздохнула, складывая газету: — Всеми силами из людей бездельников делают. Бездельников и нищих.

— Н-да-а... — Может, под настроение, но Юрий Андреевич не разделил негодования жены, не испытал сочувствия к оставшимся без воды владельцам дач и огородов. Сам он вот когда-то взял и забил на своем участке колодец — полтора месяца, по сантиметру, кувалдой вгонял трубу в глубь земли — и теперь у них на даче насос. Закачал воду, вклучил мотор «Каму» и поливай... Точнее, «Камы» сейчас нет, сгорела вместе с домиком. Впрочем, можно купить новую, а вода, она куда не денется...

Вообще он сделал за свою жизнь несколько больших дел, которыми не явно, но твердо гордился. Между ними, как сейчас казалось, лежала какая-то бесцветная пустота, дела же до сих пор светились яркими пятнами, вспоминать о них было приятно. И даже мысль такая появлялась: «Не совсем зря жил».

Как без проблем и осложнений защитил диссертацию и из недавнего аспиранта превратился в кандидата наук; как купил вот эту громадную стенку в зал (сервант, маленький и убогий, стоит теперь в комнате дочери), тогда дефицитнейшую и дорогую вещь. Еще через несколько лет из откладываемых с получек десятков и четвертных, подрабатывая репетиторством, корректорством в областном издательстве, скопил на подержанный «Москвич 412», который верой и правдой служил семье полтора десятилетия и только в прошлом году серьезно сломался — заклинило у него мотор... Для машины понадобился гараж, и Юрий Андреевич в одиночку стал строить капитальный, заливной, с подвалом; по мешку покупал цемент, по доске поднимал вверх опалубку... И с особенной гордостью, а теперь, после пожара, с горечью вспоминается эпопея с дачей. Как клочок бесплодной степи его в основном усилиями превратился в благодатное место с деревцами, с тепличкой, пусть неказистой, но почти тургеневской беседкой. И, конечно, вспоминаются домик, который он строил четыре года, печка, которую трижды перекладывал, чтоб не дымила и давала тепло.

Может, для кого-то все это и покажется ерундой, мелочью просто, но Юрий Андреевич гордился. Он никогда не питал интереса к технике и вначале даже педаль сцепления не мог у «Москвича» отпустить как следует, терял присутствие духа, если машина начинала барахлить, и с дрожью открывал капот... Он впервые взял в руки лопату (если не считать стройотрядовского опыта) в тридцать шесть, когда на дачу привезли самосвал купленного чернозема; дом строил один, без всякого умения и навыков, и построил, лишь в крайних ситуациях приглашая на помощь соседей; печку вот клал, как говорится, методом проб и ошибок...

Жена еще покурила газету, нашла что-то — лицо стало насмешливо-возмущенным.

— А вот вообще, Юр, нонсенс самый настоящий! Послушай-ка. — Взглянула на него, убедилась, что слушает. — «Повысить безопасность жилья за счет демонтажа старых газовых колонок и замены газовых плит на электрические намерены в текущем году городские власти. Как сообщили нам в администрации...» Так, так... Вот! «Наряду с колонками во многих домах демонтажу подвергнутся и газовые плиты. Но главным условием для этого будет наличие... — Дальнейшее она, выделяя, прочитала почти по складам: — Свободной электрической мощности для установки электрических плит». У, Юр, каково?! Целыми днями без света сидим, так еще у кого газ — тоже страдать должны...

Как всегда в таких случаях, Юрий Андреевич почувствовал потребность сказать что-нибудь, что-нибудь едкое про Чубайса, про разруху, вообще про нынешнюю жизнь. Но слов подходящих на ум не пришло, и он отмолчался.

— Ой, извини! — вдруг спохватилась жена. — Занимайся... Телевизор выключить, может?

— Нет, ничего, не надо. — Губин отвернулся, недовольно уставился в книгу.

Читать не получалось. Рассуждения дьякона Федора о познании антихристовой прелести не достигали сознания; читалось теперь хоть и легко, без пробуксовок, зато слова были лишь мелодичным журчанием ручейка. Мелодичным и бессмысленным.

«Так можно тарашиться до бесконечности, — в конце концов отвалился на спинку стула Юрий Андреевич. — Лекция через неделю. Успею еще подготовить. Или на будущий год».

* * *

Ирина открыла дверь, скинула туфли, начала стягивать плащ. Давнее, детское ощущение стыда кололо ее всю дорогу от кинотеатра до дома. Будто отпросилась погулять на два часа, а вернулась через четыре...

— Что так долго? — появилась из комнаты мать. — Ты же стирать собиралась.

— Сейчас буду стирать. — Стыд мгновенно сменился на раздражение.

— Ты тоже, что ли?..

— Что — тоже?

— Тоже выпила?

Ирина дернула плечами.

— С чего ты взяла?

— Да глаза какие-то странные.

— Устала, дел много было.

Татьяна Сергеевна, не поверив, поджала губы, скрылась на кухне. Вместо нее в прихожую вбежал Павлик.

— Пивет, мам! — Обнял ее ноги. — Ты школянку купила?

— Нет, любимый, забыла про шоколадку. Зато яблочек тебе принесла, груши сладкие...

— Не хочу-у! — И расстроенный сын умчался обратно; дверь их комнаты с силой ударила о косяк.

Татьяна Сергеевна молча накрывала на стол. Ирина, переложив фрукты из пакета в холодильник, прошла в зал, оттуда, бросив папе «привет» и получив взамен то же самое, в комнату.

Павлик строил из кубиков гараж для самосвала.

— Сынок, выйди, я переоденусь.

Тот сделал вид, что не слышит, стал примерять самосвал к воротам. Малы. Разрушил их, принялся складывать кубики по новой.

— Выйди быстро, сейчас же! — затрясло Ирину. — Дай переодеться!

— Не хочу.

Спорить не было ни сил, ни желания. И, главное, она почувствовала, что запросто — только перестань сдерживаться — может схватить сына, вышвырнуть за дверь... Взяла халат, направилась в ванную. Переделалась, вернулась, развесила юбку, кофту, сунула в шифоньер колготки. Снова вышла в зал.

Папа на диване. Внимательно смотрит телевизор. Ирина присела рядом. Тоже уставилась в экран.

Бар, десяток мужчин. Галдят, звякают кружками... Вдруг замолкли и разом обернулись на вошедшего. Он явно не в себе, поступь его тяжела, дыхание надсадное; посетители опасливо расступаются... Мужчина подходит к стойке, бармен незамедлительно подает ему бокал с янтарного цвета жидкостью. На стенке бокала надпись — «Золотая бочка». Мужчина жадно пьет, слышны размашистые глотки. И закадровый голос объясняет: «Бывают моменты, когда понимаешь, ради чего стоит жить».

Ирина перевела взгляд на папу. Он глядит в экран все так же внимательно, будто наблюдает за чем-то очень важным и сложным. А там новый рекламный ролик.

Двое парней в футболках стоят перед писсуарами. Один смотрит вниз, другой — на кафельную стену. Пуская струйку, первый облегченно выдыхает: «Хорошо-о!» Второй соглашается: «Да, хорошо приклеена». На беззвучное изумление первого добавляет: «Плитка». И закадровый голос ставит все на свои места: «Плитка «Юнис» — надежная смесь цены и качества».

— Ирина, ужин на столе! — зовет мать из кухни.

По напряженному виду, по резким, быстрым движениям Ирина догадалась, что мать готовится к разговору... Да, причины есть, он давно назрел, но... но, может, в другой бы день...

— Ты Павла сегодня видела? — дождавшись, когда Ирина начнет хлебать борщ, почти утвердительно произнесла Татьяна Сергеевна.

Она кивнула. Есть сразу расхотелось.

— И как он?

— Так, ничего...

— Ты его не спросила, как он... как насчет денег думает? И прописки?

— Ну что эта прописка? — Ирина поморщилась. — Какая, в сущности, разница, прописан, нет?..

— Как это?! — Мать всплеснула руками. — В месяц по триста рублей за него выкладывать. Я понимаю, ты с этими квитанциями в сберкассу не ходишь, я тебя избавила... Вон, за лифт опять повысили. Видела хоть?.. Конечно, можно и не интересоваться. Как перwokлассница всё!..

— Мама! — Ирина отложила, почти отбросила ложку. — Я знаю, сколько мы платим за квартиру, знаю, что с деньгами у нас очень плохо. Зачем меня постоянно носом тыкать? Я знаю...

— Я не тыкаю, я решила просто посоветоваться, — смягчилась, кажется, испугавшись такого тона, Татьяна Сергеевна, — поговорить, как мать с дочерью. Давай нормально обсудим. Решим, что нам делать. — Но ее не надолго хватило, и она снова повысила голос: — Почему я одна вечно должна?..

— Давай обсудим.

Мать села на табуретку напротив Ирины, передвинула с места на место плетенку с хлебом.

— Прости, если я резко... Ты ешь, пожалуйста... Просто ведь столько, Ира,

проблем у нас, что и думать не хочется. Страшно. А как не думать? Если не делать ничего — вообще обрушится... — Она замолчала, следя, как Ирина медленно, через силу носит ложку от тарелки ко рту и обратно, потом шепотом сообщила: — Только мы с тобой можем... Отец, что он?.. Он всегда в своих делах, так его трудно ведь заставить что-то делать, а этот пожар его убил совсем, кажется... Так что, кроме нас... Понимаешь, Ира?

Ирина кивнула, еще закинула в рот две ложки борща. Больше не лезло — в горле вырос горький, колючий ком. Даже дышалось кое-как...

— Да я понимаю, все понимаю я... Только мне... — Ирина сжимала челюсти, пытаясь больше не говорить, не ворошить свои мысли, но не смогла, и слова, отрываясь от горького кома, посыпались одно за другим. — Только, мам, мне-то... мне-то вот жить не хочется! Просыпаться не хочется. Ложиться в эту постель... Зачем? Издевательство какое-то... Объясни... Ты мне про Павла, а я его убить готова, гада... Кому я нужна теперь?

Она смотрела в тарелку с беловой от сметаны жижей, смотрела пристально и невидяще и всё пыталась стиснуть зубы — замолчать. Не получалось.

— Подожди... Не надо... Ирочка, — сочился меж ее слов тихий, умоляющий голос мамы. — Успокойся, пожалуйста... Не надо загадывать.

— А что тут загадывать? Что загадывать?! Двадцать восемь почти... с ребенком... Была бы еще симпатичная, а так... Сегодня на работе азербайджанец один стал заигрывать, в шутку так, а я чувствую — вот-вот буду согласна...

Ирина подняла глаза, столкнулась с испуганным взглядом матери и снова, как во что-то спасительное, уставилась в борщ.

— Я ведь живая все-таки.. А уже как мумия... Хожу, вид делаю, что работаю, а внутри сухое все... Даже и слез вот нет никаких... Потому и к Павлу зашла, тоже хотела поговорить, решить, может, все окончательно... А он сидит там в подвале без света и рад. — Она уже не старалась молчать, и ей стало чуть легче. — У него компьютер на батарейках. Сидит, играет... в какого-то автомобильного вора. Прохожих давит, с полицейскими воюет... И, видно, не просто играет, не из интереса, а чтоб не замечать. Остальное забыть...

Про азербайджанца она упомянула специально, умышленно, чтоб поразить мать, свести разговор на жалость к себе, увернуться от упреков и претензий. Но теперь говорила уже без всякой корысти, без раздражения и досады, то есть — с досадой, но досадой на нечто слишком огромное, непобедимое; может, на саму жизнь.

— Думаешь, мам, я так... не думаю? Думаешь, я насчет развода не ходила? И в суде была. Зашла, а там толпа вокруг этого стенда, где перечень документов, которые на развод. И одни женщины там... Стоят списывают, как эти... как студентки расписание. Спорят еще, нужен ли муж, когда заседание будет... Я послушала и убежала. Ведь стыдно... И это вот... — Ирина мотнула головой на вазочку с фруктами. — Думаешь, не стыдно брать? А что делать... Хоть что-то... И так иждивенка какая-то...

Первая, давно ожидаемая ею слезинка, обжигая кожу, побежала вниз по щеке; Ирина инстинктивно шмыгнула носом, и сразу все лицо стало влажным, очертания предметов размылись, будто она видела их сквозь воду.

— Ирочка, что ты! — На ее голову опустилась ладонь. — Ну-у, успокойся. Не надо... Не все так страшно, еще все будет...

— Конечно... будет... то же самое. — И она зарыдала, громко, задыхаясь, давась спазмами и слезами и понимая, что рыдания ее неискренни, что она сама хотела, заставила себя зарыдать.

Действительно ведь (да, да!), ничего страшного. Все ведь живы-здоровы, есть работа, еда, квартира, впереди лето. А у других... стоит новости посмотреть...

Зачем-то замелькали, замельтешили лица... Светящаяся счастьем подруга в тот момент, когда Ирина дарит ей на день рождения крохотный флакончик дорогих, любимых подругой духов «Визави»; в любую погоду, каждое утро одинаково радостно, бодро здоровающийся с ней рыночный сторож Серега Шуруп; Дарья Валерьевна, сладострастно смакующая, черпающая силы из проблем соседок, знакомых соседок и своих собственных; детская увлеченность Павла, гонящего на компьютерной спортивной машине по компьютерным улицам Нью-Йорка, вышибающего доллары и мозги из компьютерных прохожих... И Ирина увидела саму себя — как она старенькой бабушкой сидит на скамейке у подъезда и блаженно улыбается солнышку, трепещущим от легкого ветерка листочкам на тополе, чириканию воробьев, радуясь пакету фруктового кефира в холодильнике и тому, что ее миновали на жизненном

пути серьезные болезни, взрывы, наводнения, землетрясения. Да, что еще надо для счастья...

И от этой картинки ее горло продрал по-настоящему мучительный, хриплый стон; она сама испугалась, зарыдала громче.

Мать суетилась рядом, сыпя бессвязным успокаивающим шепотом, звеня чем-то стеклянным; потом в носу зашипало от терпкого запаха валерьянки.

— Выпей скорее! Выпей, доча...

Потом затормошил Павлик:

— Мама, не плачь! Ма-м-м! — Он просил не испуганно, а, казалось, досадливо...

Потом встревоженный, но точно бы сонный голос папы:

— Что у вас?.. Что случилось? А?..

Ирина глотнула из рюмочки, и валерьянка теплой волной потекла вниз, гася волны рыданий, раздвоя набухший колючий ком...

Закрываясь ладонями, добралась до своей комнаты, легла на кровать. Больно уколола живот какая-то сыновья игрушка; Ирина вытащила ее, бросила на пол. Отвернулась к стене, привалилась подушкой. Слушала, тайно радуясь, ошалело-недоуменные оправдания матери, обращенные то ли к ней, то ли к папе:

— Да ничего ведь я не сказала такого... Разве думала... Господи! Да разве бы я начала... Все же хорошо... хорошо, если подумать... Все хорошо...

— Пойдемте, ладно, — тихо перебил ее папа, — там побудем.

Щелкнул выключатель, вжалось в косяк ребро двери. И через минуту к шуму телевизора примешался опасливый бубнеж родителей. Ирина приподняла голову, задержала дыхание.

Нет, слов не разобрать. И даже невозможно представить, о чем они могут сейчас разговаривать... С детства она не помнит ни одного выяснения отношений между ними, тем более ни одной ссоры. Обычно по мелочам мать всегда соглашается с папой, а если что-то серьезное — то наоборот, папа подчиняется матери. Но все это происходит мягко, почти без споров.

И с Ириной раньше не случалось такого. Выражение «женская истерика» она воспринимала как что-то киношно-книжное, надуманное, а вот вдруг сама на ровном месте устроила... Ну, не на ровном, но все равно... Не сравнить с тем моментом, когда муж окончательно бросил их с сыном, — тогда она, кажется, и виду не подавала. Играла с Павлушкой, гуляла, стирала пеленки-распашонки, кажется, так была жизнерадостна. Да, тогда она, откровенно сказать, не поняла еще, не почувствовала, что случилось. Поняла только сегодня. Без новых вроде бы поводов, когда сидела перед матерью там, на кухне, точно озарило какой-то ослепительно-черной, кромешной вспышкой. Все увиделось в одну секунду — и прошлое, и будущее до конца... Эти две несчастные комнаты, которые с каждым днем взросления сына будут становиться теснее, теснее; зарплата, которая и сейчас смехотворна и которая наверняка никогда не повысится; она сама, недавно еще — так недавно еще! — милая девочка, а сегодня — почти тетка, никому не интересная тетка. И ничего впереди... Вот уж действительно радоваться остается хорошей погоде, терпимому самочувствию, молиться, чтобы не было хуже.

Она полулежала на постели, приподняв голову, напрягая слух. Лицо неприятно стянуто от высохших слез... Ей хотелось услышать о себе плохое, обидное, злое. О том, как мать взяла на себя большую долю заботы о внуке, а Ирина где-то все шляется, давно уже не гуляет с ним, забросила дела по дому; постирать собирается две недели и никак не приступит; что вообще она эгоистка, не желает семейных трудностей замечать, не желает работу найти поприличней, поденжной, хотя наверняка можно найти... И тогда, Ирина была в этом уверена, она бы выбежала в зал и стала просить прощения. Как в детстве, провинившись серьезно и осознав вину. Но слов не разобрать — один сливающийся в опасливое шипение нечленораздельный бубнеж.

4

Если не давать волю мыслям, то вот сейчас ощущение поистине счастливых минут. И в душе уверенность, что ради этого человек и создан, подарена ему способность мыслить, трудиться, оставлять на земле что-то светлое после себя.

И четверо родных людей сейчас стали единым целым, с одним общим делом, одним для всех порядком. Даже Павлик кажется совсем не таким, как всегда. Точно забыв о своей мальчишеской природе, о всегдашней тяге к озорству, он не лезет в

пожарище, а с увлечением и серьезностью выдирает стволы прошлогодней полыни, свежую, мелкую еще поросль, складывает в одну кучу. Кажется, забыл он навсегда о «Хубба-Буббе» и чупа-чупсах...

Посветлевшее, азартное лицо Ирины ничем не напоминает ту гримасу страдания и обиды, что последние дни, как страшная фотокарточка, стояла у Татьяны Сергеевны перед глазами, заслоняя все остальное. Так сейчас дочь ловко всаживает в землю штык лопаты, переворачивает и разбивает влажные комья — ни намек на обычную ее томную вялость, квартирную лень.

Удачно сегодня получилось: все свободны (Татьяна Сергеевна упростила парницу подменить ее в счет будущего дежурства) и целый день можно провести на даче. Юры, правда, нет пока — договорился со Стахеевым на его машине перевезти из гаража мешка три семенной картошки. Приедут — и можно совсем успокоиться...

Их дачный поселок для постороннего человека наверняка покажется живописным. Стоит посреди глинистой, голой степи, вдалеке от реки, от леса; сами постройки большей частью корявые, сколоченные неумелыми руками бог весть из каких отходов. Заборы из горбыля высокие и глухие, почерневшие от дождей и жары. Но для каждого владельца участка, наверное, то, что внутри забора, эти вот шесть соточек, — кровное и бесценное.

Действительно, без преувеличения, бесценное. Столько сил и денег вложено, чтоб облагородить клочок поросшей тощей полынью глины, превратить в то место, куда врешь хоть и не отдохнуть в шезлонге, так поработать для души. А это ведь тоже отдых...

Водя граблями туда-сюда по вскопанной дочерью грядке, Татьяна Сергеевна вспоминала, как заказывали машины с перегноем и черноземом, платили за них сначала в конторе кооператива, а потом еще, по неписаному закону, и немного шоферу; как растаскивали ведрами и носилками эти огромные кучи, сваленные у ворот, делали грядки, парники, удобряли картофельную деляну, но вскоре глина брала свое — перегной и чернозем терялись, будто и не было, в этой красно-бурой, вязкой после дождя и каменно твердой в засуху массе.

Многие сдавались, бросали заниматься «дурацким делом», и их можно понять. Это с самого начала было как издевательство — вокруг города полным-полно подходящих мест для дач, а участки распределили, да и другим дают сейчас, в самых гиблых, на которых даже овцы пастись не хотят. Наверно, как раздла того и дают, чтоб горожане сдуру их окультурили, превратили в сады и огороды, а более-менее плодородное, живописное осталось у бывших совхозов или у администрации города.

Татьяна Сергеевна разровняла полоску земли, сменила грабли на вилы и прочертила зубьями глубокие борозды поперек грядки. Принесла из беседки две баночки из-под кофе. В первой темно-рыжие шарики — семена редиски, в другой зеленовато-коричневые щетинистые рожочки — морковка.

Присев на корточки, чередуя бороздки, принялась сеять. В одну редиску, в соседнюю — морковку; редиска поспеет уже дней через двадцать, и ее вырвут, съедят, а морковка в это время будет еще слабенькой, ботва только-только махриться начнет...

Опыт научил экономить землю, ведь на этом крохотном вообще-то участке нужно посадить так много. А чего стоит только картошка... Большинство даже имеющих дачи берут в аренду деляны на полях, но много теперь пошло случаев, когда, приезжая в сентябре за урожаем, люди находят лишь брошенные мелкие клубни — вору опередили.

Губины сажают картошку на даче. Получается урожая, правда, немного, мешков двенадцать, впрочем, этого им вполне хватает на суп, на пюре, на жареху. Хранят ее в подвале, что под гаражом, — место хорошее, сухое, и температура и зимой и летом почти одинаковая; за все годы лишь однажды, когда стоял мороз за сорок больше недели, слегка подмерзла... Там же, в подвале, держат морковку, свеклу, редьку, на полках вдоль стен — банки с соленьями и вареньем, под лестницей трехведерный бак с капустой... Каждый раз, отправляя мужа в гараж, Татьяна Сергеевна просит подсчитать, сколько и каких осталось запасов.

Но чтоб были они будущей зимой, сегодня нужно напичкать землю семенами, рассадой. По дороге сюда, на автобусной остановке, Татьяна Сергеевна с Ирой купили у старушки три десятка корешков капусты за сорок рублей и уже рассадили их в низинке у забора, где земля, кажется, держит влагу дольше, чем на остальном участке. Для капусты подходящее место... Еще бы полить сейчас как следует не мешало. Вот Юра приедет, закачает воду...

Татьяна Сергеевна сидит на корточках перед грядкой, дышит ароматным, до головокружения сытным запахом ожившей, отдохнувшей земли, бросает в нее семена. Сидит спиной к пепелищу, которое еще осенью было уютным домиком в две комнаты, с крошечной верандой (на ней они любили по вечерам, не торопясь, подолгу пить чай с печеньем, любоваться сделанным за день). А теперь вот куча углей, какие-то оплавленные железки, а из них, как в кинохронике о войне, поднимается уцелевшая печная труба...

Нет, не надо жалеть, вспоминать. Достаточно погоревала, поплакала. Что ж, это жизнь, в жизни бывает куда страшнее.

В одну бороздку редиска, в другую морковка. Засев бороздок десять, Татьяна Сергеевна осторожно сглаживает их бортики, засыпая семена тонким слоем земли, вдобавок слегка прихлопывает ладонью.

Ноги то и дело затекают, приходится подниматься, стоять с минуту, морщась от щиплющей боли в суставах. Но грядка тянет к себе, и Татьяна Сергеевна снова садится, берет шепотью семена то из одной баночки, то из другой.

В детстве она один только раз побывала в деревне — родители взяли на похороны бабушки, отцовой матери. Утром туда на автобусе, за семьдесят километров, а к ночи вернулись... Ее родители, оказавшись в городе четырнадцатилетними, после окончания семилетки, получив сначала фабрично-заводское, а потом, после войны, и высшее образование, устроившись здесь, получив квартиру, на родине особенно бывать не стремились. Выросли и отец и мать в соседних деревнях, знали друг друга чуть ли не с детства, но Татьяна Сергеевна не помнит случая, чтоб они разговаривали о прошлом, о том прошлом, что было до их приезда в город.

Как многие бывшие деревенские, они, кажется, вытравили из себя это прошлое, перечеркнули, забыли о нем крепко-накрепко; даже во время застолья пели только городские песни; отец обожал галстуки и шляпы, мать — зонтики, завивки, туфельки на высоком и тоненьком каблуке.

И в детстве Татьяна Сергеевна не тяготилась отсутствием рядом бабушки, да и не могла тяготиться, потому что просто не знала, что она должна быть; их город был молодой, ставший настоящим городом в тридцатые годы при построенных тогда же заводах и фабриках, и пожилые люди в конце пятидесятых встречались нечасто. Не могло ее тянуть и к земле — родители всячески ограждали ее от знакомства с такого рода работой; даже когда распределяли девочек для трудовой практики в школе, настоятельно советовали записаться в группу швей, а не озеленительниц...

Та однодневная поездка в деревню помнилась Татьяне Сергеевне смутно, ей было лет восемь. Но ощущение осталось чего-то темного, тревожного, пугающего. Чего-то старого и нечистого. Да и похороны к иному ребенка вряд ли располагают.

Еще не так уж давно от передач вроде «Сельского часа» и «Нашего сада» появились у Татьяны Сергеевны зевота и скука, а вести с полей в программе «Время» она воспринимала как неизбежность советской идеологии. Досаду, а то и негодование вызывали гнилые овощи в магазинах и дорогие на базаре; Татьяна Сергеевна не стеснялась бормотнуть, увидев ценник на огурцах «3 рубля кг»: «У-у, спекулянты!» Но настала пора, прижало, и вот она сама, даже получая удовольствие, стала возиться с навозом, с марта ухаживать за помидорной рассадой на подоконниках; в зимние вечера сортировала семена редиски, отбраковывая мелкие и сморщенные; поняла, каким трудом достаются эти овощи, сколько пота надо пролить, чтоб картошка не зачухла, задавленная сорняками...

— Готова первая грядка! — улыбаясь и одновременно морщась от рези в ногах, объявила Татьяна Сергеевна. — Передохнем?

— Давайте. — Ира воткнула лопату, потянулась, выгнула спину. — Ой, все тело ломит!.. Приятно так.

— Да-а, разленились мы за зиму...

Медленно, никуда сейчас не спеша, направились к беседке в углу участка. Там сложены сумки, пакеты. Во времянке располагаться пока невозможно — беспорядок в ней многолетний; с тех пор как построили домик, складывали туда, как в сарай, всякий хлам. Неделю надо потратить, чтобы хоть относительно жилой вид придать... Да и обуглилась она сильно, аж стекла в оконцах полопались. Каким-то чудом не вспыхнула.

А беседку и окружающие ее метров десять пожар пощадил. Как свежие сугробы, белеют осыпанные цветами вишни, за беседкой — черемуха, первая посадка на участке, из хиленького прутика ставшая настоящим деревом; вокруг беседки — полукругом гряда с викторией. тоже зацветшей.

— Дай бог, чтоб у отца там все нормально получилось, — вздохнула Татьяна Сергеевна, открывая пластиковую бутылку с облепиховым морсом. — Привезли бы уж картошку... посадили бы... Все на душе спокойней.

Дочь не отозвалась, глядела, как Павлик старается выдернуть из земли лопату. А Татьяна Сергеевна безотчетно продолжала вслух делиться заботами:

— С насосом еще как тоже... Там ведь в нем резиновые, эти... как их?.. Клапаны. Они ведь тоже, наверно, сгорели. А без воды нам никак. — Сделала глоток еще не потерявшего холодильничную прохладу морса. — Вот и ягоды скоро начнутся. До жимолости меньше двух месяцев, потом клубника... А с машиной, отец говорит, серьезно... — Но вспомнила о недавних рыданиях Ирины, испугалась, с показной бодростью, повысив голос, добавила: — Ну, ничего-о! Прорвемся... На, Ириш, освежись.

Та приняла бутылку, отпила, позвала сына.

Когда он прибежал, протянула руку к его голове, желая, наверно, погладить, похвалить за помощь, и тут же отдернула:

— Ой! Волосы-то раскаленные, прямо трещат! Надо шапочку...

— В пакете вон том, — торопливо подсказала Татьяна Сергеевна, — на котором «Золотая Ява» написано.

— Не хочу шапку! — заявил Павлик.

— Да как не хочешь, солнце голову напечет, болеть будет...

— Ну и что? Не хочу!

— Павел, ну-ка не спорь, пожалуйста! — Голос Ирины стал терять мягкость. — Схлопочешь солнечный удар, и это на всю жизнь может...

— Ну и что? А я — не хочу.

Ира нашла в пакете бейсболку.

— Смотри, это же твоя любимая. С зайчатами! Давай наденем.

— Не хочу с зайчатами... Я так хочу! — Он побежал к лопате.

— Вернись сейчас же! — тонко крикнула, почти взвизгнула Ирина, и лицо в момент стало темным, морщинистым. — Получишь удар, возись с тобой!.. Павел, я кому говорю!

Не обращая внимания, он снова возился с лопатой. Волосы блестели под лучами солнца.

— Идиот несчастный! — Ирина швырнула бейсболку в траву. — Свинья...

Татьяна Сергеевна поежилась, но вмешиваться не решилась. Стала перебирать бумажные кульки с семенами, вслух тихонько читая самой же утром сделанные пометки:

— Свекла... петрушка... редька... кинза...

* * *

Он редко о чем-либо просил и потому все эти два с лишним часа чувствовал неловкость, то и дело на себя раздражался. Взял вот в выходной день отвлёк человека своей просьбой, заставил колесить по городу, теперь торчать здесь, в гараже.

Неловкость и раздражение усиливали мелкие неприятности — то замок на воротах гаража заел, то лампочка в подвале перегорела (пришлось воспользоваться аварийным фонариком, который достал из своего бардачка Стахеев), то веревку, чтобы привязать к ведру, подходящую долго найти не мог... Юрий Андреевич нервничал, суетился, мысленно то и дело корил себя: «Надо заранее все подготовить было... заранее!»

Неловкость была острее и оттого, что просить о помощи пришлось Стахеева. После разговора в «Короне» это выглядело как намек на аван за будущее согласие стать лицом казино. А соглашаться совсем не хотелось... Но так совпало — кроме Стахеева, людей не нашлось. Один знакомый уехал на выходные из города, у другого с зажиганием неполадки, третий гриппует. А без машины картошку на дачу доставить — никак. Нанимать же постороннего обойдется (Юрий Андреевич узнавал) в две сотни рублей.

Стахеев согласился без лишних слов, даже вроде как с энтузиазмом. И сейчас помогал вовсю. Юрий Андреевич в подвале нагребал картошку в ведро, а Дмитрий Павлович вытягивал на веревке, каждый раз с наигранным вроде, комсомольским задором приговаривал:

— Оп-па!

Наполнив мешки, два положили в багажник, а третий — на заднее сиденье стахеевских «Жигулей». Юрий Андреевич закрыл обвисшие, трущие щебенку перед входом в гараж ворота, замкнул. Поехали.

— А чего, ты говорил, у тебя с машиной-то? — раскуривая сигарету, спросил Дмитрий Павлович.

— Да с мотором... В октябре заклинило прямо посреди улицы, — стал Губин с неохотой рассказывать-вспоминать, — пришлось сюда на буксире тащить. Закатили и вот... пока не до нее.

— Тяжелый случай, — со своей всегдашней иронией покачал головой Стахеев. — У меня, кстати, моторист есть знакомый. Могу договориться. Он спец в этом деле. Для него в движке покопаться — жизнь просто.

— Спасибо... Буду иметь в виду... если что.

От гаража до дачи километров двадцать.

Дорога сперва идет по восточной окраине города, самой малопромышленной и живописной. Сразу за новостройками (им, правда, лет пятнадцать уже) — белыми блочными девятиэтажками — парк и река Самусь, а дальше, в сосновом бору, старые дачи, еще тех времен, когда участки давали именно для отдохновения.

Но чем круче дорога заворачивает на юг, тем скуднее и безрадостнее пейзаж. Справа, за замусоренным пустырем, виднеются серые громады цехов завода железобетонных изделий, необитаемым небоскребом возвышается элеватор, что-то инопланетное напоминают огромные бочки с лесенками на нефтебазе... А слева сосновый бор постепенно переходит в березняк и осинник, а потом, после моста через Самусь, начинается тоскливая полынно-ковыльная пустошь. Солнце здесь уже колючее, беспощадное, по-настоящему азиатское; правду, наверное, говорят, что это самый северный район, куда добралась желтоцветная монгольская степь...

— Двадцать девятого решили открывать «Ватерлоо», — таким тоном, словно ответил на вопрос, произнес Стахеев. — Завтра рулеточные столы должны завезти. Пять штук, из Германии. А сейчас игровые автоматы устанавливают, дизели монтируют, чтоб с электричеством проблем не было.

И хотя Юрий Андреевич никак не отозвался, даже головой не качнул, как часто делал из вежливости, Стахеев с увлечением продолжал:

— Я посмотрел вчера, как отделали. Эрмитаж настоящий! Позолота, лепка по стенам такая, на полу паркет шашечками... Первый этаж решили для автоматов отвести, для бильярда, а второй — для серьезного. Рулетка, покер, ресторан... Я сейчас, представляешь... — Дмитрий Павлович как-то смущенно хехекнул. — Книжку одну читаю. «Как выиграть в покер». Учусь. Может, миллионером стану.

Губин решил пошутить:

— Миллионерами нынче по телевизору становятся. В передаче этой самой... Парень ведет, в очках...

— А-а, «Кто хочет стать миллионером»? Да показуха, именно — телевизор. Надо, старик, по-серьезному... Достало, тебе скажу, в творческого интеллигента-бессребреничка играть.

Юрий Андреевич покосился на Стахеева, увидел серьезное, даже чуть озлобленное лицо; от той шутовщины, что только что слышалась в голосе, от всегдашней слегка высокомерной добродушности и следа не осталось... Стахеев смотрел вперед, недобро шурясь, двигая побелевшими скулами.

Наверно, уловив взгляд, он начал необычно для себя медленно, раздумчиво объяснять — будто в первый раз читал трудную лекцию:

— Не принимаю я, понимаешь, сказочки этой... Вот Чехова любим, а он так нас показал... интеллигенцию то есть. Мы ведь, старик, если копнуть, лентяи просто, ничего не умеющие делать путного. Но мы умеем лень и неумение образом таким прикрывать... Лбы морщим, глобальными проблемами мучимся, спорим о судьбах цивилизации. Тоскуем очень красиво. А о чем лбы-то морщим? Гадаем, какая погода в Африке. Или мучимся... Хм! Один, что женщину сразу не закадрил, потому что ролью своей страдальческой слишком увлекся, другой — что полюбил сдуру одну из сотни своих закадренных, а любовь, это ведь проблема не глобальная, личная — от любви и свихнуться можно... И в итоге с радостью в палату номер шесть идут... идем. Хм, страдальцы!

Юрий Андреевич тоже усмехнулся, но усмехнулся озадаченно. Это только подстегнуло Стахеева говорить дальше и возбужденней:

— Да, старик, лень и бессилие! И маска исусиков. Как у этого, из фильма «Депутат

Балтики». Помнишь? Все на стремяночке книги читал. И вот мы такие же... только в отличие от него делать ничего не хотим и не умеем...

— Ну, Дмитрий Палыч, — не сдержался Губин, — ты уж слишком.

— Не слишком, не слишком. Я про это все последние... лет десять думаю. Смотрю, сравниваю людей. И пришел я, старик, к выводу, что все мне и тебе подобные — ты уж извини — просто-напросто паразиты. — Стахеев резко крутнул руль, объезжая колдобину, но поздновато, и машину трянуло; он болезненно сморщился. — Прикрываемся маской ученых, хранителей великого языка, культуры, а на самом деле...

«С чего взбесился вдруг? — думал Юрий Андреевич, с надеждой глядя в лобовое стекло. — Скорей бы доехать...»

— Вот скажи мне, старик, кому нужны наши лекции? По большому счету, а? Честно только, Юр, без булды? — И Стахеев замолчал так выразительно, что отмолчаться Губину показалось невозможно.

Он сказал, в душе сознавая, что говорит не совсем честно:

— Нескольким с курса нужны. Необходимы.

— Зачем?

— Ну, как... — Стахеев задал явно глупый вопрос, и Юрия Андреевича это почему-то обрадовало. — Этак можно и вообще во всем засомневаться и все отрицать. И в итоге школы позакрывать, книги сжечь, встать на карачки. — Он сделал паузу и добавил где-то услышанное: — На карачках удобнее.

— Хм, да я не насчет карачек... отрицания. — Стахеев, кажется, слегка смутился. — Я о том, что мы за пустое зарплатки свои получаем. Это, старик, не работа — рассказывать о Зошенко или о «Полку Игоревом» или учить двадцатилетних олухов правописанию.

— Почему ж не работа?! Мы направляем молодежь, ориентиры даем, так сказать, стимулируем. Создаем базу знаний.

— Интеллигентный человек сам в двадцать лет должен разбираться, а остальные... Они хоть десять раз «Войну и мир» прочитают, ничего не поймут, — вставил Дмитрий Павлович, но Губин уже не слушал, а говорил свое:

— Конечно, можно лекции по вечерам читать, после какой-нибудь настоящей работы. После смены на заводе, к примеру. Правда, в таком случае мы развиваться не будем, будем повторять их, как попугаи. А студенты спать в это время, тоже на заводе упахтавшись... Да это, кстати, было уже. Помнишь, любительские театры везде насаждали? Профессиональные собирались закрывать...

— А сейчас, извини, ты развиваешься? Ты лекции не штампуешь?

Юрий Андреевич поражался, как быстро и из ничего возник их спор и как он сам вдруг разгорячился. Хотелось сказать: «Ладно, Дмитрий Палыч, чего это мы, как с цепи сорвались...» Но вместо этого он с напускным достоинством пожал плечами.

— Стараюсь не штамповать. Вот перечитываю сочинения соратников Аввакума, собираюсь расширить тему...

— И как? Удачно?

— Гм-м... — Ответить сразу и твердо не получилось; в первый момент хотел признаться, что идея пока только оформляется (хоть оформляется она уже несколько лет), но потом решил ответить более оптимистично: — Да. Думаю, в этом году успею опробовать.

— Молоде-ец. Послушать-топустишь?.. А у меня чегой-то период такой... Все по-прежнему. — Голос Дмитрия Павловича стал на этот раз не злобный и не ироничный, а явно и просто грустный. — Вроде столько нынче открытий в литературе, особенно двадцатых—тридцатых годов... Вот вышли записные книжки Платонова... года три назад... Уникальная вещь, старик! Отдельной лекции заслуживают, а то и спецкурса бы, а я о них только упоминаю, почитать все советую. И ведь уверен — никто не почитает. Им вдалбливать надо...

«Жигули» пробежали по коротенькому мосту через Самусь и словно пересекли границу между лесным севером и степным югом. И разговор заглох.

Стахеев закурил новую сигарету, обиженно смотрел вперед. Юрий Андреевич, вжавшись в сиденье, желал лишь одного — скорее доехать до дачи. Его ошарашили откровения коллеги-приятеля — уж от кого-кого, но от Стахеева он подобного не ожидал. Казалось, все у него легко и гладко и в жизни и в профессии, знает на любой вопрос ответ, а на самом-то деле... И неприятней всего Юрию Андреевичу было то, что Стахеев озвучил его собственные размышления, выразил его горечь, а он с ним спорил, не соглашался, пытался подшучивать. Честно ли, что не поддержал? Не

сказал, как он боится встреч со своими бывшими студентами, теперь кондукторами, торгашами, милиционерами; что давно чувствует себя каким-то фрезеровщиком, вытачивающим ради зарплаты никому не нужные шестеренки... Но признаться, сказать — это крах, крах!..

«А Илюшин! Илюшин! — вспомнил и рассердился на себя за малодушие Юрий Андреевич. — Пускай фанатик своего Серебряного века, сумасшедший в прошорканном пиджаке, но ведь он — настоящий. На таких и держится!..» — «Да не для студентов же он читает, — тут же самому себе и ответил. — Аудитория для него, как декорация, допинг. А на экзаменах пеньком сидит, ему все равно... И ставит одни четверки без разбора. Он, может, хуже нас... в этом плане».

Машина поднялась на широкий гребень, напоминающий заросшую землей древнюю стену, и Губин увидел впереди и внизу огороженные темно-серыми заборами прямоугольнички участков, коробки домишек, белые пятна цветущих вишен и слив, зеленые клочки травы. Дачный поселок «Учитель»...

— Базу давать... ориениры... — заворчал, точно проснулся Дмитрий Павлович. — Филологи... Одни вон жизнь положить готовы, чтоб «парашют» через «у» стал писаться, другие не знают, что еще из Толстого с Достоевским высосать... Прочитал на днях кандидатскую... «"Кушинство" и "иранство" в русской прозе десятых—тридцатых годов». Чуть голова — веришь? — не лопнула... Или одному тут нашему выпускнику статью заказал про историю азартных игр. Ну, в виде рекламы казино... Написал. Про кости, про карты, рулетку, этих «одноруких бандитов». Читаю. Нормально вроде. И тут... Я, старик, наизусть сразу запомнил. Слушай: «Главные стилизованные персонажи карт называются «королями» — по имени основателя первой средневековой европейской империи, франкского монарха Карла Великого». И в скобках: «Тысяча семьсот шестьдесят девятый—тысяча восемьсот четырнадцатый гэгэ правления». Уловил? Нет?

— Да нет пока...

— Да он этого несчастного Карла на тысячу лет вперед передвинул! Франкский монарх... Какие франки в девятнадцатом веке?!

— Ну, может, в газете или где там напутали, — предположил Юрий Андреевич, — при наборе.

— Не смейся. Я это по рукописи читал, в его присутствии. В читальном зале встретились... Чуть со стула не рухнул. Показываю ему на эти годы правления, а он только плечами жмет, не понимает... Вот он — историк наш, педагог с дипломом... Он бы и в школе детям эти даты втемашивал. И девяносто процентов, старик, из тех, кого мы выпускаем, такие.

Асфальт кончался сразу при въезде в поселок. Дальше посыпанная щебнем грунтовка.

«Жигули» побежали медленнее, по днищу застучали камешки, а за машиной густым, непроглядным столбом поднималась пыль и постепенно оседала за заборами ближайших дач.

— Так я с дочерью воевал, когда она с нынешним своим, с Денисом жить стала... — в очередной раз изменился на усталый и горький голос Стахеева. — Даже приказывал уйти от него... Хм, в патриархальных традициях... Он тогда, лет десять назад, кассетами на улице торговал. Никаких вроде как перспектив, и сам он конченным дебилом казался. Даже внешне... А теперь... Все кассеты через него идут, к тому же — один из владельцев хлебозавода и пивзавода, в думе городской свои люди. Как их там? Лоббисты... В казино вложил уйму денег, но это так, больше, сам говорит, для души... Я возле него в ранге консультанта, а на самом деле — дядя на побегушках. Оказалось, все он знает, все может, кучу всего перечитал, по-английски и по-немецки шпарит, политех закончил... Просто, понимаешь, другой склад ума у него совсем, речь другая, рожа бульдожья. И в сегодняшней жизни он, как ни тяжело сознаться, старик, во всем прав стопроцентно...

Татьяна Сергеевна встретила обыкновенным для большинства женщин ее возраста:

— А мы заждались уже! Как, нормально?

— Не нормально — отлично! — широко улыбаясь, выскочил из кабины Стахеев. — Доставил в целостности и полной сохранности!

— Ой, спасибо вам, спасибо, Дмитрий Павлович. Не знаю, как и благодарить...

— Да перестаньте! Свои же люди.

Он открыл багажник, ухватил верхний мешок. Понес. Юрий Андреевич поскорее достал второй.

— Куда? Сразу на поле, наверное, надо, — деловито говорил Стахеев, будто не он минуту назад жаловался, расписывался в своем банкротстве. — А с водой-то как? Сразу после посадки полейте, через неделю полезет. А дождей, я читал, не обещают... О, пацан вымахал как!.. Здорово, орёлик! Помнишь дядь Димку, а? Который самосвал тебе подарил? Не разломал еще? Нет?..

Потом возились с насосом. Стахеев сам с помощью ключа и плоскогубцев открутил заржавелую гайку, достал штырь с остатками оплавленных резиновых прокладок.

— Н-да-с, новые надобно, — определил. — Камера ненужная есть?

— Где-то была. — Юрий Андреевич пошел во времянку, долго и без особой надежды копался там, перекладывая с места на место пыльный хлам... Если и есть здесь камера, то обнаружить ее можно только по великой случайности. — Как назло, не могу найти пока... — Понимая, что задерживать приятеля дольше совсем уже неприлично, Губин вернулся к насосу и протянул для прощания руку. — Ладно, Дмитрий Палыч, спасибо за помощь! Мы тут сами теперь помаленьку. И так полдня на нас ухлопал... Спасибо!

И не столько неловко было Губину его задерживать, а просто хотелось, чтоб он после откровений в машине быстрее исчез. Хотелось подумать над его словами, найти оправдание для себя, для своей жизни, профессии... Или нет, наоборот — хотелось хотя бы на время отвлечься, забыть; переключаться вот так, в один миг, с одного настроения на другое, как Стахеев, Юрий Андреевич не умел.

— Что ж, — пожал тот плечами, — дело хозяйское. Бывайте! Если что, я у себя на участке — тоже покопаюсь маленько...

И, уже садясь в машину, вспомнил, даже шлепнул себя по лбу ладонью.

— Да у меня ведь в багажнике!.. На днях буквально пацанам во дворе отрезал на рогатки... — Ликуя, вытащил кусок камеры, протянул Губину. — Держи, старичок! Вырежи чуть больше отверстия, чтоб не подсасывало...

— Я в курсе, в курсе... — Юрий Андреевич еле сдерживался, продолжая казаться благодарным. — Спасибо тебе огромное. — На самом деле в душе кипела почти ненависть, и так хотелось сделать что-нибудь глупое и безобразное...

Не откладывая, он вырезал два кругляша-поршня, насадил на штырь вместо оплавленных, разделил кругляши между собой широкой шайбой. Затем прикрутил штырь и рычаг на место.

Воды для закачки было пять литров — привезли из дому в пластиковой бутылки с ручкой. Ирина стала лить воду в отверстие колодца тоненькой струйкой, а Юрий Андреевич энергично двигал рычаг то вверх, то вниз. Жена и внук стояли рядом, с серьезными, напряженными лицами наблюдали.

Сначала — кажется, очень долго — пронзительно-тонкий, колющий уши скрип, сухое сипение трущихся о железо резинок, похожее на дыхание какого-то огромного придуряченного животного. Рычаг двигается легко, безвольно, вода просто просачивается мимо поршня и пропадает в глубине многометровой трубы.

«Неужели не получится?! — готов был отчаяться Юрий Андреевич, видя, как быстро и зазря пустеет бутылка. — Придется к Стахееву за водой идти... Стахеев, — поморщился в новом приступе раздражения, — спаситель и благодетель».

Но вот неожиданно, резко, точно кто-то схватился за штырь и потянул вниз, движения рычага стали неподатливы, упруги, требовались усилия, чтоб поднимать и опускать его.

— Подожди, Ир, не лей, — тихо, прислушиваясь, сказал Юрий Андреевич.

Да, звуки изменились — в трубе заурчало, заклокотало уробно; урчание ползло выше, выше, и в очередной раз, когда рычаг поднялся, а поршень, наоборот, ушел в трубу до последней своей возможности, уже явно, с какой-то рвотной надсадой, громко булькнуло.

— Ох, господи... — рыдающе зашептала Татьяна Сергеевна, — слава богу, слава богу...

Губин опустил рычаг, и поднявшийся поршень выбросил из носика колодца первый столбик желтоватой, ржавой воды. И тут же запрыгал Павлик, закричал что-то напоминающее «ура!», радуясь, кажется, больше, чем самой большой шоколадке.

Наполнили бутылку, железный бак литров на сорок, полили капустную делянку, умылись и сели в окруженной цветущими вишнями беседке обедать.

Давно небывалое, умиротворенно-благодное настроение владело всеми, в движениях и на лицах — довольство и уверенность. И Юрий Андреевич сейчас, впервые

за много-много месяцев, чувствовал себя главой семьи. Главой крепкой, дружной, живущей общими делами и проблемами, общими победами семьи.

* * *

Еще прошлой осенью Ирина заметила, что после поездки на дачу у нее начинается насморк и чешется кожа. Особенно сильно на руках и лице. Поэтому думала: скорее всего, мошки какие-нибудь накусали...

Но сегодня прибавилась и температура. Горло першит.

«Продуло, что ли? — лениво гадала Ирина, кутаясь в надетую поверх халата кофточку. — Напрасно сразу так, в одном сарафане... Еще не хватало Павлика заразить».

Но состояние было все-таки непохоже на простуду, и кожа чесалась совсем не так, как от укусов. Что-то другое, новое и странное и оттого сильнее пугающее.

Ирина была одна в комнате, да и одной в ней, крохотной, забитой мебелью, заваленной игрушками, теснее некуда. На девяти метрах две кровати (ее и сына), стол, пара стульев, шифоньер, сервант, трюмо с тумбочкой. Свободной остается лишь узкая полоска по центру, как раз такая, чтоб пройти, не наталкиваясь на предметы, от двери до окна.

«Вот окончательно растолстею, — ухмыльнулась, уставившись в голубой цветок на обоях, Ирина, — и станет вообще тогда... Ничего, сервант выкину».

От ухмылки першение усилилось, пришлось кашлянуть. И она почувствовала во рту вкус полыни. Горьковато едкий, острый, будто она этой полыни наелась... «А вдруг аллергия!» Ирина села на кровати, уставилась в полированную гладь шифоньера... «Только еще этого не хватало!..»

Она часто слышала от приятельниц об аллергии и обычно относилась к их рассказам почти как к анекдотам.

У одной аллергия на жареный лук, а остальные в семье, наоборот, его обожают. У другой — на цветущую сирень, которую, как сговорившись, ей каждый раз пытаются подарить ухажеры... У третьей аллергия на кошек, у четвертой — на тополиный пух, у пятой — на пот собственного мужа...

«Нет, лучше простуда», — жалобно, словно кого-то прося, думала Ирина; лицо и руки зачесались сильнее, из носа текло, глаза слезились, во рту вяжущий полынный привкус. И настроение испортилось окончательно.

Павлик и родители в зале смотрели телевизор. Кажется, боевик какой-то. Слышались крики перепуганных людей, хохот злодеев, длинные автоматные очереди, решительные команды героев.

День на даче представлялся сейчас далеким, почти нереальным, а тем более — то ощущение радости, светлого забытья, когда копала землю, сооружала аккуратненькие грядки, любовалась вишневыми цветками, когда поливала тоже начавшую цвести викторию... Вот вернулась сюда, и тяжесть, непонятная, необъяснимая, навалилась снова. И даже пойти принять душ нет сил...

Вдобавок в почтовом ящике на ее имя оказалось письмо. Обычный конверт, торопливым почерком написаны адрес, имя, фамилия; а там, где место для обратного адреса, лишь роспись — замысловатая закорючка.

Стараясь не показывать волнения, Ирина неторопливо переделась, поужинала вместе со всеми, а потом ушла в комнату, распечатала конверт, удобно прилегла на кровати... Лист плотной белой бумаги, испещренный красиво напечатанными на компьютере словами. Но шрифт такой, будто писали от руки.

«Уважаемая Ирина Юрьевна!

Ваша фамилия значится в регистрационном журнале доктора Сергея Алексеевича Голованова, научного консультанта «Клиники Витаминных Препаратов», с которым я только что говорил о Вас около часа».

«Что за чушь?! — Ирина изумленно покрутила листок. — Какой Сергей Алексеевич...»

«Ваша фамилия фигурирует в его журнале среди фамилий тех россиянок, которые испробовали несколько препаратов для похудения, но так и не смогли избавиться от лишнего веса».

Отшвырнула письмо, отвалилась к стене. И захотелось кому-то крикнуть, в самую рожу крикнуть, что она никогда никуда не обращалась, не пробовала никаких препаратов, кроме, может, травяного чая... Но кто, откуда узнал, что она чувствует

себя полноватой?.. Она вроде бы даже с подругами об этом не заговаривала... Ирина вздрогнула и оглянулась на окно — показалось, что за ней, злорадно скалясь, следят.

Вскочила, задернула шторы. Железные кольца со звоном проехали по карнизу... Возвращаясь к кровати, подняла листок. Хотела смять, изорвать, а вместо этого снова со смесью негодования и любопытства стала читать:

«Я уверен, Ирина Юрьевна, что капсулы под названием «Гарцилин» именно то, что Вам поможет!

После успеха «Гарцилина» во Франции мы планируем выпустить этот препарат на российский рынок. Мне бы хотелось получить несколько отзывов о «Гарцилине» от жительниц России, испробовавших большое количество препаратов и диет, но так и не сумевших похудеть. Поэтому я спрашиваю Вас: согласны ли Вы испробовать капсулы «Гарцилин»? Хотите ли Вы узнать, сколько килограммов Вы сбросите и за какое время, а затем мне об этом написать?»

«Может, тебе еще написать, когда я в туалет обычно хожу?» — Ирина нервно перевернула лист, на глаза тут же попало:

«Уже с самых первых дней Вы уберете «галифе» с бедер и будете наблюдать за исчезновением жировых отложений в области живота и везде, где они накопились».

Она потянула бумагу в разные стороны, уже надорвала и тут же передумала. Вспомнились часто слышанные в последнее время по телевизору фразы: «Подать в суд... причинение морального ущерба... вторжение в личную жизнь...»

Спрятала письмо в ящик тумбочки. Сунула ноги в шлепанцы. Вышла из комнаты.

В телевизоре пышноволося Шарон Стоун сидит на полу и смотрит перед собой. Отчаяние и ужас, отпечатавшиеся на лице, только подчеркивают ее миловидность.

«Свинья безмозглая!» — выпуская злость, беззвучно бросила ей Ирина; повернулась в сторону ванной, и тут же, в спину, вопрос матери:

— От кого письмо-то, Ир?

— Да так, фигня рекламная.

— Насчет чего реклама?

— Я говорю — фигня!..

— Мгм, — как-то по-старушечьи, обиженно мыкнула мать.

«А ей всего сорок восемь... И что? Я от нее, что ли, слишком уж отличаюсь? — продолжала распалать, накручивать себя Ирина. — Сдаться, забыть все, кроме семьи и ее пропитания, — и будет не отличить...»

Она вернулась в зал.

— Павел, давай спать готовься. Завтра в садик пойдешь наконец...

— Не-ет, не хочу-у!

Чтоб не сказать сыну что-нибудь резкое, Ирина почти побежала в ванную.

Пустив воду, раздевшись, долго рассматривала себя в зеркале. Отражалась почти вся, стоя у самой двери, лишь икры и ступни оставались за овальной рамой.

«"Галифе" на бедрах, жировые отложения на животе и везде, где они накопились», — вспомнились слова из письма, и в горле скреблись, толкались на волю рыдания; тянуло швырнуть в отражение чем-нибудь потяжелей. И снова ей показалось, что кто-то — на сей раз мужчина с умным, добрым лицом — наблюдает за ней, желает помочь.

Ирина перешагнула через бортик, легла в горячую воду. Сжалась, чуть не закричала от боли; перетерпела, и кожа быстро привыкла — стало приятно.

«Может, взять и ответить, спросить о цене? — мелькнула мысль. — Вдруг действительно... не обман?»

Папа читал книгу на кухне, что-то помечая карандашом. Мама уговаривала Павлушку спать, а тот упорно смотрел телевизор.

— Всё! — Ирина подхватила его на руки. — Пошли быстренько. Уже двенадцатый час.

— Н-ну-у, — он по обыкновению заныл, но сейчас неискренне, для порядка.

Ирина занесла его в комнату, плотно закрыла дверь.

— Давай раздевайся. — Вытащила из-под кровати горшок. — Писать хочешь?

— Нет. Давай играть!

— Какие игры! Ночь уже.

— Ну, мам, капельку.

— Во что?

Лицо Павлика оживилось.

— Вот так. — Он сжал правую руку в кулачок и стал им трясти, одновременно

речитативом приговаривая: — Камень, ножницы, бумага. Каранда и во вода. Су! И! Фа! — Выбросил из кулачка два пальца. — Я — ножницы! Я прячусь, а ты меня ищешь.

Он дернулся было бежать из комнаты. Наметил, наверно, куда лучше спрятаться. Ирина схватила его, потянула к себе.

— Нет, сынок, я в такое сейчас не могу играть. Я устала безумно, и ночь уже... Бабушка с дедушкой тоже спать сейчас будут. — И, чтоб переключить его внимание, поинтересовалась: — Это вы в садике в такую игру играете?

— Угу, — кивнул он недовольно.

— Садись рядышком. Давай поговорим. Да? Садись вот сюда.

Ирина помогла ему взобраться на свою кровать.

— А что это «гари дава волода» значит?

— Да не так! А так: «Камень, ножницы, бумага. Каранда и во вода. Су! И! Фа!»

— Ну, ну... И что это обозначает? Эта «каранда»? — Ирине вдруг и в самом деле стало интересно.

— Это игра такая... Кто ножницы, тот прячется.

— Ясно. А с кем ты в такую игру играешь?

Павлик задумчиво уставился на дверцу шифоньера, даже ротик приоткрыл.

— С Андрюшей, наверное? — подсказала Ирина.

— Да, с Андрюшей.

— А еще с кем?

— С Максимом еще...

— А с девочками играете?

— Нет! — Он мотнул головой.

— Почему же?

— Не хотим.

— Надо говорить: не хотим.

— Да, не хотим.

— А почему?

— А-а... — Павлик сморщился.

Конечно, она помнила, знала, как мальчишки в возрасте ее сына да и намного старше относятся к девочкам. Самое яркое проявление внимания — это знаменитое дерганье за косу или на контрольной по математике ткнуть в спину ручкой и прошипеть: «Дай списать!» Но неожиданно Павликово «а-а!» ее покорило и обидело, и она, не сдержавшись, пообещала с какой-то самой себе неприятной злорадностью:

— Ничего, подрастешь, еще сам за девочками бегать будешь. Просить, чтоб дружили.

— Не буду! Они дуры.

— Ну-ка не смей так говорить! Кто это тебя научил?

Сын не ответил. Повесил голову и старался двумя пальцами оторвать пуговку на рубашке... Досадуя, что затеяла этот разговор, Ирина стала его раздевать.

— А где мой папа? — не поднимая головы, пробурчал Павлик.

— А?..

— Почему папа к нам не приходит?

«Вот!.. Началось!» Но содрогнулась какая-то одна часть Ирины, другая же была готова, кажется, давно ждала такого вопроса.

И замелькали, мгновенно сменяясь, одинаково темные и безликие матери-одиночки, страшные в своем безнадежном, глухом одиночестве, и дети, теребящие их, ноюще задающие один и тот же вопрос: «А где папа? Где папа?»

«Да, началось, — стучал кровяной молоточек в мозг, мешал произнести хоть что-то в ответ, — началось... как у всех...» Сколько она выслушала жалоб безмужних подруг: «Так ужасно — подошел и так прямо в глаза: «А папа где?» — и смотрит, будто я одна виновата, что его нет. А он, подонок, сидит сейчас где-нибудь, с блядьми водку жрет». Ирина тогда кивала сочувствующе, но и с надеждой, что ее минуют такие сцены. Нет вот — случилось.

— Папа? — выдавила наконец. — Он далеко живет. В другом городе.

— Он придет? — Голос Павлика показался ей совсем взрослым, по-взрослому угрюмым; она глубоко вздохнула, чтоб продавить спазмы в горле.

— Да, конечно. Скоро у тебя день рождения. И он придет... с подарками. Много подарков подарит...

Последний раз Павлушка и Павел встретились месяца два назад. Случайно совсем. Ирина водила его в поликлинику, и по дороге столкнулись... Спросили друг друга дежурно: «Ну, как?» и в ответ услышали: «Да ничего, более-менее». Павел как-

то между прочим потрепал сына по голове, поозирался по сторонам и прервал паузу: «Извините, но очень опаздываю. Увидимся как-нибудь». Ирина промолчала, Павлушка, казалось, не понял даже, что это и есть его папа. А теперь вот — всплыло...

— Сынок, давай спать будем ложиться. Хочешь, ложишься со мной...

— Нет.

Он дал раздеть себя, залез на свою кроватку, лег, отвернулся. Ирина накрыла его одеялом, поцеловала в щеку.

— Спокойной ночи!

Он промолчал... Ирина выключила свет и тоже легла.

«Ур-род, подонок, — послала мужу с холодной, почти спокойной ненавистью, — показать бы это тебе...»

И снова ей представилось, увиделось будущее. Тысячи и тысячи дней-близнецов, намертво сцепленных между собой, как кольца тяжелой цепи... Тысячи колец, создающих одно огромное, почти непредставимое, но тоже кольцо. И внутри него: домашние заботы, тягостная работа, волнения за сына, которые наверняка будут сильнее и сильнее; и еще там — пустые, выматывающие разговоры с подругами, со знакомыми вроде Дарьи Валерьевны, стареющие родители, тесная квартира, эта комната, эта кровать, шифоньер, трюмо. Безжалостные вопросы Павлика, а после них — вот такие мысли. Долго-долго, отупляюще одинаково... Говорят, к этому привыкают. Смирятся. Перестают замечать. Хоть бы скорей.

5

Конурка киоска «Табак» давно стала для Татьяны Сергеевны вторым домом. Да и как не стать? Три, а то и четыре дня в неделю с восьми утра до девяти вечера она здесь, на мягком, просиженном стуле, в окружении сигаретных блоков. Перед ней узенькая полоска фанеры, на которую покупатель кладут деньги, а она подает взамен пачки «Союз—Аполлона», «Примы», «Бонда». Под фанеркой ящичек, куда собирается выручка. Если б грабители знали, сколько по вечерам у Татьяны Сергеевны денег, как пить дать давно бы обчистили. Такие капиталы на куреве делаются — никакой водке не угнаться...

Первым делом в зависимости от погоды Татьяна Сергеевна включает или еле живой, годов семидесятых выпуска, обогреватель «Луч» или вентилятор «Вихрь». Вентилятор тоже старый-престарый, крутится рывками, как пропеллер у подбитого самолета; вдобавок он без защитной сетки, и приходится все время быть начеку, чтобы не сунуть руку под лопасти... Какой-то из механизмов необходимо включать обязательно, иначе в два счета задохнешься, отравишься густым, маслянистым табачным ядом.

Запустив «Луч» или «Вихрь», оставив дверь приоткрытой, Татьяна Сергеевна снимает с окон жестяные щиты. Дело это нелегкое да и опасное — пару раз так доставалось по голове, думала — сотрясение мозга.

Пока она возится со щитами, открывая миру витрины с разноцветными пачками и гордыми, как почетные грамоты, сертификатами, у окошечка выстраивается очередь. Иногда случается, кто-нибудь из мужчин ей помогает, чтобы скорее началась торговля.

Утро, самый оживленный период смены. Люди плотными потоками стекают к автобусной и троллейбусной остановкам, а киоск Татьяны Сергеевны как раз у них на пути. Только успевай принимать деньги, хватать с полок нужные сигареты. В голове сплошные «Петр I», «Винстон», «Родопи» — кажется, другие слова навсегда стерлись из памяти. Покупатели спешат, нервничают, торопят, и Татьяна Сергеевна тоже нервничает, суетится, в отчаянии вопрошает неизвестно кого: «Да когда ж это кончится?!» Она готова бросить все, убежать из проклятого киоска и в то же время рада этой запарке: время летит стремительно и незаметно, и вот уже одиннадцатый час. Поток людей схлынул, теперь до пяти вечера тоскливый, бездеятельный отрезок. А это в сто раз хуже, чем суета.

К тому же и вентилятор заглох — значит, отключили электричество. Касса тоже становится мертвой железной глыбой; выручку Татьяна Сергеевна записывает в тетрадь, а в конце дня перебьет суммы на чеки. Конечно, нарушение, и если нагрянет проверка, всыпят как следует, но как иначе...

С собой у Татьяны Сергеевны завернутая в полотенце, чтоб не остыла быстро, литровая банка с едой, чай в термосе и что-нибудь почитать. Обычно берет она целый

литературный набор: серьезную книгу, вроде Бунина или Тургенева, женский роман или детектив и еще журнал «ТВ Парад». Смотря по настроению, читает то или другое. Серьезных книг у них дома два стеллажа, а детективы и журналы кто-то частенько выкладывает на скамейку возле подъезда; Татьяна Сергеевна подбирает их, а потом возвращает на место — может, понадобится кому-то еще...

Увлечись чтением особенно не получается. То и дело отвлекают покупатели, но и не читать невозможно. Просто сидеть и ждать вечера, иногда беря с фанерки сунутые деньги, подавать сигареты — невыносимо. Состояние напоминает бессонницу. Вроде, по всем законам природы, надо забыться, набираться сил для нового дня, а вместо этого лежишь, уставившись в темноту, перебираешь мысли и бог знает до чего в итоге додумываешься. Идешь пить валерьянку...

— «Союз—Аполлон» обычный, в твердой пачке, — раздалось с той стороны окошечка, а на фанерку легла горка монет.

Татьяна Сергеевна пересчитала. Все верно — восемь рублей тридцать копеек. Подала сигареты; рука подхватила их, темным облаком мелькнула фигура. Исчезла.

Муж утром предупредил — сегодня вернется поздно. Намекнул, что намечается подработка, но уточнять какая не стал, а Татьяна Сергеевна не настаивала. Хорошо бы, конечно... Зарплата у всех троих в семье приходится на первые числа месяца. Сегодня двадцать девятое мая, среда. С неделю осталось, а денег почти что нет, да и продукты в холодильнике на исходе. Что там... Татьяна Сергеевна наморщила лоб, вспоминая. Килограмм риса, две пачки макарон, штук семь яиц, кусок говяжьей мякоти и тщательно обрезанная кость для бульона... Да, еще пачка фарша в двести пятьдесят граммов — макароны по-флотски сделать можно... Ну и, конечно (и слава богу), картошка есть, остатки соленой капусты, банки три варенья.

Потом, почти в один день, Татьяна Сергеевна, Ира, Юрий принесут домой свои получки, образуется довольно толстая пачечка. Но тут же подспеет срок платить за квартиру, за садик, Павлику необходимые сандалики... А дальше — долгий месяц трястись над каждой копеечкой, оттаскивать внука от киосков со «Сникерсами» и мороженым и постоянно чувствовать тяжесть и стыд...

Да, тяжело, тяжело об этом думать, жить так который уж год. Только что делать... Остается успокаивать себя: многим куда тяжелей. И вовсе не алкашам каким-нибудь, не лентяям отпетым, а вроде достаточно интеллигентным людям. Такие-то в основном и не могут никак найти себе место сегодня, перестроиться (гм, сколько с этим словом-то связано!), на плаву удержаться.

У Татьяны Сергеевны часто возникает желание... Она пугается его, сердито отмахивается, старается не обращать внимания, но мало помогает. Тянет и тянет... Гуляя с внуком по парку, видя стоящие у скамеек пустые пивные бутылки, так тянет их подобрать, положить осторожно в пакет. Семьдесят копеек бутылка. Пять штук — уже батон. И принимают их на каждом перекрестке... Была бы одна, без Павлушки, наверняка соблазнилась бы...

— Пачку «Честерфильда» легкого!

Еще восемнадцать рублей кладутся в ящичек под фанеркой. Татьяна Сергеевна смотрит на аккуратно разложенные бордовые пятисотки, розовые сотни, небесно-голубые полтинники, сероватые десятки... Может, подсчитать, сколько набралось за неполные четыре часа работы?... Нет, лучше отложить это занятие на вторую половину дня, когда сидеть здесь станет совсем нелегко. А пока надо бы попробовать почитать.

Достала из пакета нетолстую, но увесистую книгу с золотистым автографом на обложке «Лев Толстой». Открыла. «Анна Каренина. Части пятая—восьмая».

Сегодня утром впопыхах, наугад выхватила ее из ряда полутора десятков подобных — собрание сочинений — на полке. Оказалось вот не совсем удачно — придется начинать читать с середины... Да, сейчас Татьяна Сергеевна искренне была уверена, что возьмет и осилит эти — сколько тут? — эти четверста с лишним страниц. Пусть не за один сегодняшней день, но уж за три дня, пока она здесь, наверняка.

Настраиваясь, полистала книгу. Взгляд отмечал знакомые еще с юности имена. Вронский, Облонский, Долли, Китти, Левин, Каренин... Каждое из имен без усилий воскрешало создавшийся когда-то в воображении Татьяны Сергеевны образ, то ощущение, какое возникло у нее во время чтения...

Первый и единственный раз она прочитала этот роман лет в семнадцать, после окончания школы и перед поступлением в институт. В тот период, годичную паузу, она успела познакомиться с уймой важных, но оставшихся за рамками школьной программы книг. И, странно, тогда она только и делала, что читала, и, казалось бы, в голове должны были перемешаться, перепутаться «Обрыв» с «Дворянским гнездом», «Тихий

Дон» с «Хождениями по мукам», но этого не произошло. Наоборот, стоило вот полистать томик «Анны Карениной», и сразу вспомнились герои и сюжет, подробности некоторых сцен, свои тогдашние мысли, споры с подругами.

Татьяна Сергеевна грустновато усмехнулась: да, спорили о книгах часами, безжалостно, почти до ссор. «Анна Каренина» вызвала споры особенно ожесточенные, и во многом благодаря ей, Татьяне Сергеевне... Вторая линия романа, где центральным персонажем был Левин, ей понравилась больше, показалась глубже и важнее, чем линия Анны и Вронского; и она, как могла, защищала свое мнение, а подруги в один голос утверждали: Левин — зануда и самокопатель, и если бы убрать страниц триста, с ним связанных, книга получилась бы намного интересней... Татьяна Сергеевна, тогдашняя Таня Котельникова, громко возмущалась, пыталась даже зачитывать поразившие ее места, размышления Левина, которые словно что-то открыли перед ней бесконечное, яркое, подруги же дружно фыркали и отмахивались.

Вот бы, хм, собраться сейчас и предложить: «А давайте, девочки, о романе «Анна Каренина» поговорим. Потрясающая все-таки вещь!..» И посмотреть, какое выражение лиц делается у них. Изумятся ужасно, наверное...

Да, жизнь с ее делами, каждодневными, одинаковыми заботами задвинула подобные книги далеко-далеко, оставила их в свободной юности, и даже вспоминать о них почти не дает повода. Лишь однажды Татьяне Сергеевне искренне вспомнился Константин Левин, лет десять назад. Смотрела по телевизору документальный фильм о русском дворянстве, почти истребленном после революции, и вдруг всплыл, заслонил экран розовощекий крепыш Левин, бодро шагающий по вспаханному полю, и его просветленное лицо, когда понял, ради чего стоит жить, хозяйствовать, иметь большую семью, крепкий дом. Он постиг смысл, заглянул на тысячи поколений назад и на тысячи поколений вперед, и он был счастлив. Ему казалось, что отныне он будет счастлив до конца, а точнее — до космической бесконечности, что он передаст счастье просветления своей жене, детям, всем существам вокруг и жизнь станет теперь правильной, упорядоченной, ненеправильной, построенной на прочнейших законах добра и справедливости.

А через сорок лет, стареньким, немощным, перепуганным, мудрец Левин побежит куда-нибудь в Константинополь или Берлин, а сыновья будут воевать со своими бывшими кучерами и дворниками. И придут ли тогда Левину новые озарения? И какие?.. Или, может, он заставит сохранить в себе те, прежние, станет молиться и за тех и за других во имя добра и справедливости? Но не будет ли это большим злом, чем ненависть?.. Татьяна Сергеевна попыталась представить, что чувствовало в те годы дворянство, у которого отнимались не только поместья и привилегии, но и религия, традиции, культура (мало кто, наверное, в девятнадцатом году мог поверить, что православие большевики все-таки под корень не вытравят, искусство и литературу прошлого в основном пощадят). А что бы говорил Толстой, будь он жив в девятнадцатом? Поехал бы куда-нибудь прочь из России или сидел бы тихо в Ясной Поляне? Как бы отнеслись к нему большевики, начни он их проклинать?

Вообще в последнее время Татьяна Сергеевна много размышляла, представляла, какими бы были сейчас Шукшин или Высоцкий или Сахаров; что было бы со страной, не умри так быстро Андропов; куда повернула бы история, поступи коммунисты в августе девяносто первого так же, как поступил через два года Ельцин... Да и более близкие ей лично приходили вопросы: как сложилась бы жизнь, попадись ей муж из энергичных, из таких, вроде Стахеева; а если бы она после школы поехала учиться в Москву или Ленинград; если бы в свое время заметил ее какой-нибудь известный ныне модельер, архитектор, пригласил работать к себе...

Н-да, много возможных путей у жизни, а судьба одна. И заранее не знаешь, куда надо повернуть, сделать нужный шаг. Идешь наугад, по инерции, чаще всего — под откос. Так легче... И, в конце концов, главной задачей остается: не упасть, не споткнуться, не сломать себе шею...

Татьяна Сергеевна без особой горечи, как о давно передуманном, переболевшем, усмехнулась, посмотрела на не заслоненное покупателем окошечко. Устроилась удобнее, открыла книгу на первой странице.

«Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и делается для него другими».

Точно бы теплый тяжелый камень вошел в голову и плавно лег, придавив собой мозг. Татьяна Сергеевна оторвалась от страницы, изборожденной множеством стро-

чек, потеряла глаза... «Лучше б Бунина захватила, — подумалось. — Его читаешь, как фильм смотришь, а здесь...» Вместе с фильмом сразу вспомнился ненавистный и необходимый телевизор, реклама, одновременная стрельба по пяти каналам из семи. И уже словно кому-то назло, Татьяна Сергеевна продолжила ползти взглядом по строчкам:

«Он даже не имел планов и целей для будущей жизни; он представлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно».

Но бороздки строчек не давались, она увязала в них, как в болоте, тонула...

«Нет, для Толстого нужен настрой, — успокаивала себя, уже поняв, что вот-вот придется отложить книгу. — В самом деле, не в ларьке же такое читать».

Посмотрела на часы. Половина первого... Господи, как последние полтора часа тянутся... Налила из термоса еще дымящего паром чая.

— «Петр Первый», легкий! — нагловатый, но неуверенный голос.

В окошечке паренек лет двенадцати. Деньги не положил на фанерку, а протягивает в руке.

— Извините, лицам младше восемнадцати не продаем, — подчеркнуто сухо ответила Татьяна Сергеевна.

— Ну пожалуйста! А?.. Я два года уже курю, и родители знают...

Случалось, она продавала сигареты тем, кому явно было меньше восемнадцати, но ведь не до такой же степени. Этот — может, из-за курения — выглядел вообще ребенком.

— Продам, а потом штраф платить, три минимальных оклада...

— Бля-а! — простонал паренек, убрал руку с деньгами, исчез.

«Ишь ты! — в душе возмутилась Татьяна Сергеевна. — Хамло малолетнее...» И тут же успокоилась — за годы этой работы она ко всему привыкла, всего наслушалась. Если любое слово принимать близко к сердцу, инфаркт можно в пару смен заработать...

Отпила невкусного, отдающего термосной затхлостью чая. Положила перед собой тонкую книжицу в мягкой мятой обложке под названием «Голос любви».

— Обычный «Пэлл Мэлл», будьте добры! — тут как тут очередной покупатель.

Татьяна Сергеевна приподнялась, взяла с полки пачку заказанных сигарет.

— Да! — Покупатель спохватился. — И «Петр Первый» еще. Легкий.

— Мальчишка попросил?

— Ну... Нет, для себя. А вам-то какая разница?!

«Делайте что хотите, — отмахнулась мысленно Татьяна Сергеевна. — Здесь не купит, так в другом месте. Свинья грязи найдет».

Положив в коробку вырученные за две пачки сигарет двадцать восемь рублей, вернулась к книжке.

«Глава первая

Шалис Фокс сидела в небольшом уютном кафе вполоборота к входной двери, одной рукой облокотившись на столик.

Невидящим взглядом она смотрела на длинные носы своих ультрамодных черных туфель. Майлз опаздывал».

Сколько она перечитала таких завязок, где героиня или герой сидят в кафе, вполоборота к входной двери, а их кавалер или дама опаздывают... И захотелось спрятать книжку обратно в пакет, бросить вечером на ту скамейку, где нашла ее. Но чем, кроме чтения, убить тоскливые часы работы? Может быть, все же этот «Голос любви» увлечет, затянет, и конец смены наступит быстро и неожиданно, как утро после глубокого, здорового сна...

А в киоске страшная духота; голова чугунет от маслянистого табачного яда. Даже приоткрытая дверь не спасает — на улице тоже душно и по-июльски жарко.

Татьяна Сергеевна помахала книжицей на лицо, подождала неизвестно чего. Затем перелистнула несколько страниц.

« — Как скажешь, детка. По этому поводу ты принимаешь решение сама.

— Не называй меня «детка».

Майлз засмеялся, и Шалис слегка улыбнулась в ответ. Она любила свою работу, но больше всего она любила чувствовать себя самостоятельной и свободной в принятии решений».

Тоже неизменная деталь подобных романов. Деловая, независимая женщина. Интересная работа, разумная порция эмансипации. Единственная серьезная проблема в жизни — недостает любви, любви именно к настоящему мужчине. Женщина

мечтает о нем, но не унижает себя его поиском. И лишь по ночам, наедине с собой, открыто страдает...

Татьяна Сергеевна еще полистала книжку, заметила, что появился какой-то Ричард. Кажется, очень богатый, красивый и равнодушный к Шалис... Хотя в конце концов он не смог устоять.

«Шалис закрыла дверь, а Ричард ждал ее около лифта. Она повернулась и направилась к нему. Какой же он все-таки высокий! Ричард смотрел на нее, и в его глазах светилось нечто такое, от чего Шалис готова была бежать за ним на край света».

— Хм! — Еще с юности у Татьяны Сергеевны осталась эта привычка — громко усмехаться, когда она слышала явную нелепость или вранье или откровенную пошлость. Она будто защищалась этой усмешкой, отбрасывала прочь то, что не хотела слышать и видеть... Но вместе с тем сейчас она непроизвольно, неожиданно задала себе вопрос: а была ли она готова когда-нибудь побегать за своим мужем на край света? И вообще была ли, есть ли в ней настоящая любовь к Юрию? Та любовь, какую изображают чуть ли не в каждой книге, какую показывают в девяти фильмах из десяти?

Она положила раскрытую книгу на фанерку корешком вверх. Допила оставшийся в чашке чай. Вынула из пакета литровую банку с едой. Но, наверное, из-за духоты вид гречневой каши с кусочками тушеной говядины вызвал тошноту, и пришлось спрятать банку обратно...

Да, Юрий сразу поразил ее своей внешностью, лейб-гвардейской, как пошутил кто-то из его приятелей; он понравился ей спокойной учтивостью, добродушием, некоторой, свойственной многим интеллигентам чудаковатостью. Месяца через три их знакомства, прогулок по аллеям, нескольких коротких уединений на квартире Юриного друга он сделал ей предложение. Она не отказалась, и родителям Юрий понравился — настоящий горожанин... Но была ли та любовь, настоящая, страсть, желание бежать за ним на край света? И вообще бывает ли подобное в жизни?..

«Он постепенно притягивал ее к себе, — стала скорее читать Татьяна Сергеевна дальше, чтоб задавить чужим свои размышления, — не переставая гладить ее руки, плечи, спускаясь все ниже.

— Ричард, — прошептала она.

— Господи, Шалис, — почти закричал он, словно испытывал сильную боль.

Их губы слились в страстном поцелуе. Ее руки обвили его шею, а хрупкое тело так крепко прижималось к его могучему торсу, будто Шалис хотела навсегда раствориться в нем. Они наслаждались этой близостью, каждым прикосновением, словно желая захлебнуться своей страстью».

«Вот, вот — страсть...» И Татьяне Сергеевне опять захотелось защититься громкой усмешкой и припечатать: «Ложь!» Но нет, почему же ложь? Потому, что описано так же, как в сотнях подобных книжонок? Или потому, что ей надо, чтоб это считалось ложью?..

— Пачку легкого «Голуза», — требование из окошечка.

Она не сразу переключилась, спросила удивленно, непонимающе:

— Что?

— «Голуз» в красной пачке!

Татьяна Сергеевна кивнула, посчитала выложенные на фанерку деньги, подала сигареты, записала в тетрадку: «21 руб.». Спрятала деньги в коробку с вырубкой; отерла платком мокрое от пота лицо...

Сколько там?.. К четырем. Значит, еще больше часа до электричества, когда затрещит рывками, как пропеллер подбитого самолета, «Вихрь», и часов пять до конца смены... Хочется пить, но Татьяна Сергеевна терпит — ближайший доступный ей туалет в гастрономе через дорогу, и пускают туда, ясно, без особой радости. Каждый раз просить приходится, как о великом одолжении...

Покрутила в руках «Голос любви», чувствуя к книжке одновременно и отвращение и интерес. Станный такой интерес, будто к чему-то давно известному, изученному, но могущему открыть пусть совсем мизерный и все же новый штришок. Очень важный штришок... И эта надежда переселила, Татьяна Сергеевна побежала взглядом по строчкам.

«У Шалис от обиды выступили слезы, но она старалась изо всех сил не плакать.

— Мне стыдно! — продолжал Ричард.

— За себя! Что ты хочешь такую, как я! — закричала она. — Красавица и чудовище? Чудовище, по-твоему, это я! Ты стыдишься меня! Я твоя тайная слабость! Поэтому ты ни сестре, ни Келу не сказал о нашей близости!»

Все как всегда. За десяток страниц до финала обязательно должно произойти

бурное выяснение отношений, чтобы в итоге влюбленные бросились друг другу в объятия и очищенными пошли под венеч... И действительно, последние строки Татьяну Сергеевну в этом смысле не разочаровали:

«Из Шалис получилась обворожительная невеста.

— Ты счастлив? — спросила она Ричарда.

Он посмотрел на нее. Глаза его блестели.

— Я счастлив, если счастлива ты.

— Тогда мы оба счастливы, — уверенно сказала она. — И это все, чего я хочу».

Татьяна Сергеевна разочарованно, что нового, очень важного штришка не оказалось, и где-то глубоко в душе радуясь этому, захлопнула книжку. Как нечто отработанное, без сожаления сунула в пакет.

Минуту, другую сидела спокойно и неподвижно, чувствуя себя приятно пустой. Так бы до конца смены, механически принимая деньги, выдавая взамен сигареты... Но вот не спеша, не спеша и уверенно, мозг снова стал наполняться мыслями. И все об одном и том же...

Эти книжки заканчиваются именно так — обретением счастья. А дальше? А дальше уже детективы, один из главных сюжетов которых — убийство мужа женой или наоборот. Из-за денег, из-за ревности, из-за любви к третьему человеку; реже — из-за того, что больше не могут жить вместе, или сходят с ума, или муж превращается в маньяка-садиста... Хм, или вот так бывает, как в «Анне Карениной»: женщина полюбила красавца, ушла от старого занудливого супруга, бросила сына, а потом убедила себя, что красавец ее разлюбил, и кинулась под поезд...

Татьяна Сергеевна никогда не ругалась с мужем, не тяготилась каждодневной жизнью с ним, даже мимолетно не заглядывалась на других мужчин... Меньше чем через год после свадьбы родилась Ира, и время потекло как-то плавно и незаметно быстро, как вода в Оби. Смотришь, и вроде течения почти нет, а бросишь щепку — через десяток секунд унесет ее на несколько метров. И поневоле залюбуешься этой спокойно мчащейся толщей воды... И жизнь так же спокойно, незаметно, но мчится. Не остановить, не задержать даже на мгновение.

Но, наверное, многие пытаются задержать, создать плотинки — влюбляются на стороне, обманывают муж жену, жена мужа; сходятся, расходятся. Чтоб жизнь пресной не казалась.

«Тьфу ты, боже мой!» Татьяна Сергеевна, запутавшись в мыслях, мотнула головой, как в очередное спасение, вцепилась взглядом в часы.

Нет, ладно, хоть и не на очень-то приятные размышления спровоцировал этот «Голос любви», но дело свое сделал — убил самые томительные часы. Вот-вот повалят с работы люди. Будут выскакивать из автобусов и троллейбусов, многие — подходить к ее киоску за сигаретами и к соседнему, где торгуют пивом и чипсами... Три, а то и четыре раза в неделю она видит, точнее, участвует в этом процессе. Он напоминает необходимый, священнейший ритуал, без которого отды после рабочего дня будет испорчен. И наверняка у большинства вечер проходит так: переодеваются в домашнее, включают телевизор, разваливаются перед ним на диване или в кресле, обкладываются пивом, чипсами, сигаретами. И — отдыхают...

До напряженного отрезка ее смены остался нераскрытым журнал «ТВ Парад». И торопясь, будто тоже исполняя ритуал, Татьяна Сергеевна стала перелистывать гладкие, глянцевого цвета страницы, просматривать пестрые фотографии, хватать глазами подписи к ним, заголовки статей.

«Синди Кроуфорд согласна лететь в космос! Но не дольше, чем на неделю».

«Семейные размолвки Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Он хочет покоя, а она — безумств».

Две страницы посвящены фоторепортажу «Москва—Весна—Тусовка»: «Алина Кабаева выводит в свет маму»; «Михалковы в сборе»; «Филипп Киркоров. А где жена?»; «Елена Сафонова с дочкой»; «Кристине Орбакайте и Антону Табакову всегда весело»; «Ксения Собчак — новая звезда тусовок»...

Со смесью любопытства, зависти и раздражения Татьяна Сергеевна разглядывала фотографии знакомых, примелькавшихся, неизменно улыбающихся пожилых, молодых, молодящихся. И они смотрели на нее, смотрели весело и насмешливо, будто хвалясь своей ежедневно праздничной жизнью... Татьяна Сергеевна резко перевернула страницу.

Ее целиком, сверху донизу, занимала реклама.

На фоне карты Южной Азии крупными желтыми буквами:

«Золотое путешествие в Страну Табака!»

У Вас есть уникальная возможность побывать там, где выращиваются отборные сорта табака для «Явы Золотой» — на загадочном острове Ява в далекой Индонезии! Для этого Вам нужно только найти свой счастливый вкладыш в пачке любой из трех версий сигарет «Ява Золотая» с красной отрывной ленточкой.

И одно из 15 Золотых Путешествий станет Вашим!

А еще Вас ждут:

1000 видеоманитофонов!

20 000 электрических часов с будильником!

50 000 блоков сигарет «Ява Золотая»!»

— Н-да-х! — усмехнулась Татьяна Сергеевна. — Травись, значит, побольше и можешь получить если не путешествие, так хоть видик. Лишний стимул... Пятьдесят тысяч блоков...

И ей почему-то представилось, что все эти пятьдесят тысяч получает один человек: к его дому подъезжает «КамАЗ», и крепкие парни в золотистой униформе вносят блоки в квартиру...

Огляделась, пытаясь определить, сколько примерно блоков может уместиться на полках ее киоска.

— «Пэлл Мэлл!» — испугал неожиданный хрипловатый голос. — Который по шестнадцать рублей.

«Трави-ись», — мысленно отозвалась Татьяна Сергеевна, подавая в окошечко пачку.

И потом, уже до самого вечера, обслуживая покупателей, пробивая на кассу суммы из тетради, приговаривала беззвучно и насмешливо: «Травитесь, травитесь. Может, в Индонезию попадете». И в то же время какая-то клеточка в мозгу настойчиво предлагала взять и распечатать «Яву Золотую» с красной отрывной ленточкой. Вдруг... Поездка — не поездка, а видик бы не помешал.

* * *

Обычно Юрий Андреевич просыпается первым. С давних пор организм привык, что будильник трещит в половине седьмого, и пробуждение наступает за минуту-другую до этой противной механической трескотни.

Помахивая руками, расправляя кости, Губин одевается, идет в туалет, потом умывается. Потом пьет кофе на кухне. Заодно просматривает вчерашний номер «Ведомостей».

Тем временем, потревоженная шумом воды, звяком посуды, встает и жена. В исшерканной махровой пижаме появляется на кухне. Они обмениваются «с добрым утром!», и Юрий Андреевич перебирается за свой письменный стол в закутке зала.

Только начинает заниматься серьезными делами (просматривать студенческие рефераты и курсовые, восстанавливать в памяти предстоящую лекцию), как в комнате дочери раздается бодрый крик петуха. Это срабатывает ее китайский будильник. А вслед за тем — спешка, нытье Павлика, причитания опаздывающей на работу жены, непременные поиски вдруг затерявшейся необходимой мелочи... Губин в это время собирает портфель.

Сегодняшний день намечался не из обычных. Юрий Андреевич заставлял, уговаривал себя не вспоминать о вечере, и именно о нем — назло — думалось постоянно, заслоняя все остальное.

Уже больше недели во всех областных газетах появлялась реклама казино «Ватерлоо» с его фотографией в мундире французского маршала, но никто, даже домашние, и взглядом не дали понять, что он признан, да и сам он, глядя на гладковыбритого немолодого красавца в мундире и плоской широкой шляпе с пером, не чувствовал, что это в самом деле может быть он. А те несколько часов, проведенных в костюмерной драмтеатра, где его долго наряжали, гримировали, подшивали мундир, а потом на черном «БМВ» с тонированными стеклами привезли в «Ватерлоо» и снимали на фоне рулеточных столов, блещущих лампочками игровых автоматов, позолоченных стен, казались неприятным, чуть жутковатым и все же удивительным сном, где он, Юрий Андреевич Губин, был дорогой, всеми оберегаемой куклой.

Но сегодня дело предвещало более серьезное, долгое и тем более неприятное — сегодня на шесть часов вечера назначено открытие казино. Пригласили все руководство области и города, уважаемых людей, бизнесменов, журналистов. Если хоть треть явятся, то и тогда наберется изрядная толпа, да вдобавок зеваки... И каждый будет

глазеть на него, наряженного то ли Неем, то ли Мюратом, живой символ казино «Ватерлоо».

Впрочем, и первая половина дня не предвещала особых радостей. В половине первого должно было состояться заседание кафедры, а перед ним у Юрия Андреевича еще консультация первого курса по предстоящему в пятницу экзамену по древнерусской литературе.

Честно сказать, он давно не понимал, зачем нужны эти консультации. Вопросы билетов, которые он на консультациях оглашал, были известны студентам чуть ли не с начала семестра; на его предложения задавать вопросы присутствующие в аудитории лишь переглядывались между собой и молчали. Но консультацию проводить было положено по программе, и Юрий Андреевич проводил.

И сейчас, внятно, размеренно читая список вопросов, он исподлобья поглядывал на полупустые ряды амфитеатра, думал: «Ни один не записывает. Сидят, дремлют... Для чего пришли? А я для чего давился в троллейбусе, опоздать боялся?..» Как ответ — ему представился лист учета часов, что в конце месяца составляет старшая лаборантка Наталья Георгиевна. И там, на листе, обязательно будут отмечены и эти два академических часа консультации, двести с лишним рублей...

Зачитав все семьдесят два вопроса, содержащиеся в тридцати шести билетах, и дав студентам минут пять, чтобы нашли для себя сложные, Губин с искренней, как ему казалось, заинтересованностью произнес:

— Пожалуйста, вопросы! — И еще после минуты ожидания: — Может быть, что-то неясно, формулировка какого-либо вопроса или кто-нибудь просто не знает, что отвечать? Например... — Юрий Андреевич заглянул в список билетов. — Например, по теме «Духовная литература Новгородской республики»? Пожалуйста, я готов бегло обрисовать интересующую вас тему.

Он стоял в тесной трибунке, оглядывая студентов. Некоторые в ответ глядели на него чистыми, до прозрачности пустыми глазами, другие, прикрывшись, делая вид, что изучают билеты, кажется, просто дремали, а одна, светловолосая дюймовочка в голубых линзах, обычно на лекциях ставившая перед Губиным шелестящий диктофон, а сама в это время листавшая журналы или газеты, и сейчас шуршала местной молодежкой «Рост».

Этакое ее поведение всегда раздражало Губина, он, случалось, терял нить повествования во время лекции; раза два делал ей после занятий довольно резкие замечания, а дюймовочка смотрела на него голубыми линзами, как на зарвавшегося лакея.

Недавно Юрий Андреевич узнал, что она учится на концессиональной основе — то есть попросту платит за обучение, — и успокоился, даже подосадовал на себя, будто ненароком отчитал умственно отсталое существо...

Дюймовочка приподняла и встряхнула, выправляя, газету, и Губин увидел свою фотографию — ту, где он стоит на фоне игровых автоматов, облаченный в мундир маршала наполеоновской армии... Не замечая его взгляда, дюймовочка спокойно перевернула свой «Рост» и теперь разглядывала эту самую фотографию, занимавшую чуть ли не треть полосы... Юрий Андреевич испуганно отвел глаза.

— Так, значит, вопросов не появилось? — спросил он. — М-да... В таком случае, консультация закончена. Желаю всем хорошо подготовиться и успешно сдать экзамены. До свидания!

Подхватил с трибунки бумаги и быстро вышел в коридор.

Если на занятиях он был пусть и не слишком-то слушаемым, уважаемым, но все же преподавателем, то на заседаниях кафедры становился сам почти школьником, боящимся, что его сейчас поднимут с места и зададут какой-нибудь сложный вопрос, на который он не знает ответа, или устроят выволочку за плохое поведение, запишут в дневник замечание.

Стараясь быть незаметной, Юрий Андреевич пробрался за свой стол, молча кивая коллегам, уселся, скукожился, чтоб не торчать над остальными подсолнухом... Завкафедрой, специалистка по литературе второй половины девятнадцатого века, Людмила Семеновна, перебирала документацию, что-то недовольно шепча стоящей над ней старшей лаборантке... Справа от Губина, как всегда, самозабвенно читал Илюшин, слева, развалившись на стуле, томился бездеятельным ожиданием Дмитрий Павлович Стахеев.

Губин боялся, что приятель первым делом, завидев его, станет спрашивать о настроении, намекая на вечернее дело, и потому сейчас, получив от него лишь рукопожатие, слегка взбодрился...

— Ну-с, господа, — наконец оторвалась от документов завкафедрой, — все в сборе?

Наталья Георгиевна с видом дворецкого доложила:

— Малашенко отсутствует. На больничном.

— А остальные — вроде все, — добавил, улыбаясь, Стахеев. — Погнали!

Будто в противовес его улыбке широкое лицо Людмилы Семеновны сделалось серьезным, даже скорее скорбным, и она объявила, как хирург перед безнадежной операцией:

— Да, начнем...

Сообщив в зачине, что работа кафедры оценена на твердое «хорошо» и учебный год в целом прошел без катастроф, выразив надежду, что и сессия тоже не омрачится какими-либо неприятностями, Людмила Семеновна перешла, как она всегда выражалась, «на персоналии».

Больше всего досталось, естественно, молодым. За дисциплину на занятиях, за недоработки в учебных программах, за слишком мягкое отношение к студентам во время семинаров. Но попало и некоторым старожилам.

Губин тоже получил нагоняй.

— Юрий Андреевич, — нашел его взгляд завкафедрой, — кто у вас отмечает посещаемость?

Он, вздохнув, чистосердечно признался:

— Староста.

— М-так-с... — Людмила Семеновна не по-доброму повеселела. — А ведь мы же договаривались, и персонально с вами в том числе, чтобы преподаватель сам делал переключку. Сколько раз поднимался этот вопрос, и все равно... Из деканата опять прислали цифры. В частности, по вашим лекциям, Юрий Андреевич. Получается, что студент, например, Иванов отсутствовал на первой паре, потом побывал у вас, а потом отсутствовал на двух последних.

— Ну, посетил любимый предмет, — туг как туг с улыбкой вставил Стахеев. — В какой-то степени — даже похвально...

— Нет, не поэтому! — не приняла шутливого тона Людмила Семеновна. — Просто у Юрия Андреевича переключку делает староста, а у других — сам педагог. И староста по просьбе этого Иванова ставит в журнале плюсики.

— Но подождите... — Голос Стахеева тоже стал серьезным. — А зачем тогда спрашивается, вообще нужны старосты? Я, да, я отмечаю студентов сам и чувствую себя при этом не человеком, несущим знания, а городовым каким-то. Отмечать, был Иванов на лекции или не был, я убежден, дело старосты. А уж честно он исполняет свою обязанность или нет...

— Дмитрий Палыч, давайте не будем туг разводить... Деканат с меня требует, чтобы переключку делал преподаватель. Все. А я обязана деканату подчиняться! У нас все-таки пока государственный вуз.

Реплики Стахеева, конечно, отвлекли внимание завкафедрой от Юрия Андреевича, и тем не менее он чувствовал себя паршиво. И оставшееся до конца заседания время думал с обидой: «Вот Илюшину такое замечание сделать никому никогда и в голову не придет — что не сам проводит эту чертову переключку. Он себя так поставил, дескать, и про журнал никакой не помнит. Его дело — донести до аудитории свои бесценные соображения о поэтике Блока. А меня отчитывать — в порядке вещей». И еще вдобавок вспомнился преподаватель отечественной истории двадцатого века Стаценко, который издавна начинал занятия так: «Не желающие слушать могут покинуть помещение. То, что вы присутствовали, конечно, будет отмечено. Пожалуйста!» А по ходу лекции, наткнувшись, наверное, на равнодушные лица, Стаценко вслух сетовал: «Лучше б я говорил это сейчас стенам моего кабинета. Больше толку бы было». И ничего — никаких претензий, ведь он — уникальный ученый, каких в его области, может быть, на всю страну пять-шесть. Губин же, кто такой этот Губин? Рядовой кандидат филологических наук, таких в одном их городе, как собак...

— Не грусти, старичок, — приобняв, успокаивал его Дмитрий Павлович. — В любой работе издержек по горло.

Они не спеша шли по институтскому коридору. До открытия казино оставалось около четырех часов.

— Что, давай-ка в «Корону», что ли, заглянем? — предложил Стахеев.

Губин неожиданно для себя слишком легко согласился:

— Да, надо подкрепиться, конечно!

Заказали бизнес-ланч и четыреста граммов «Серебра Сибири». Подняв первую рюмку, Дмитрий Павлович пошутил:

— Вот он, русский деловой обед, — обязательно, хе-хе, с водочкой.

Выпили, плотно закусили салатом, и Стахеев вдруг шлепнул себя по лбу ладонью.

— Черт! Забыл ведь совсем... — Достал из внутреннего кармана пиджака чистый узкий конверт. — Вот, держи, твой гонорар. Целый день таскаю... Пять тысяч.

— Пягь?! — испугался Юрий Андреевич, заглянул внутрь конверта; там лежали пять голубовато-белых новеньких купюр. — Не слабо. — И уточнил: — Это за фотографии?

— Ну да. И за ролики. Видел? Хорошо получилось, по-европейски почти... За сегодняшнюю работу — дней через несколько. Думаю, выше будет... Сегодня и нагрузка повыше. — Стахеев снова наполнил рюмки. — Давай по второй, пока наш деловой ланч не простыл.

Появление этих пяти тысяч (и, может, плюс к тому водка) поправило настроение. Деньги, солидные деньги, казалось, упали почти ни за что. Ради пяти тысяч он давал лекций двадцать — в общей сложности больше суток шевелил языком, — да еще проверял курсовые и рефераты, на заседаниях кафедры терпел придирки Людмилы Семеновны; ради пяти тысяч жена просиживала два с лишним месяца в табачном киоске, а дочь без малого три месяца торчала на рынке. И вот за пару каких-то часов возни с переодеванием в форму французского маршала, за позирование перед камерой и фотоаппаратами он получил пять новеньких тысячных бумажек... И плевать — теперь плевать тем более, — если кто-то узнает или уже узнал его, захихикает вслед, уважать перестанет. Ничего. Зато как он отдаст деньги жене, заметив точно бы между делом: «Может, сапоги посмотришь себе на осень. Старые-то вроде уже не кондишен».

Но при воспоминании о жене возник и тяжелый вопрос: говорить или нет, как он заработал эти пять тысяч... Вообще-то у них с Татьяной (по крайней мере — с его стороны) никогда не бывало друг от друга секретов и недомолвок... А если он начнет по вечерам допоздна не появляться дома, то волей-неволей придется все объяснить... Да, жену надо сегодня же ввести в курс дела, а дочь пока, наверно, не стоит. Потом, когда сам привыкнет к своей новой работе...

В «Ватерлоо» ему предоставили отдельную комнатку, рядом с кабинетом менеджера. Стулья, журнальный столик, театральная ширма в углу, на стене — огромное зеркало. Под зеркалом тумбочка, рядом — высокое, как в парикмахерских, кресло.

— Зачем такое зеркало, вполстены? — удивленным полупшепотом спросил Юрий Андреевич Стахеева.

Тот пожал плечами, но появившаяся в комнатке парикмахерша из театра (она работала с ним и в тот день, когда были съемки для рекламы) отчасти прояснила этот вопрос.

— Садитесь, — с ходу велела, выкладывая на тумбочку разные кисточки, тюбики, коробочки.

Зять Стахеева, коренастый, коротко стриженный (внешность классического нового русского из анекдотов) парень лет тридцати пяти, заметил:

— Сначала, кажется, переодеться бы надо.

— А, да, извините! — Гримерша кивнула и так же быстро, как и вошла, исчезла.

И снова Юрий Андреевич почувствовал себя дорогой, опекаемой всеми куклой; даже в теле появилась какая-то ватность — ноги и руки не слушались, они словно были соединены с туловищем тонкими нитками, не имели костей. Голова стала пустой и в то же время тяжелой, она безвольно покачивалась на шее... «Н-да, кукла и кукла, — отрешенно подтвердил самому себе Губин, кривя губы в усмешке, — Винни-Пух».

Самым сложным и противным в процессе одевания было натягивание лосин. Тонкие, но поразительно прочные, они крепко обхватывали ноги, стягивали их, казалось, пережимали все вены и жилы. Чтоб согнуть и разогнуть колени, требовалось прилагать усилия, и походка становилась петушиная, Юрий Андреевич казался теперь себе не куклой, а каким-то Яичницей из гоголевской «Женитьбы»... Вдобавок от этой стянутости между ног образовался ничем не скрываемый, внушительных размеров бугор, как у балетных танцоров. «Нуриев тоже мне...» — мелькнуло у Губина очередное сравнение.

Переодевался один, за ширмой, и вышел к Стахееву и остальным уже при полном параде — в лосинах и сапогах, в коротком спереди, зато с длинными, ниже колен, фалдами мундире, звякая алюминиевыми звездами-орденами, колыхая золотыми эполетами. Не хватало лишь смелости застегнуть на верхние крючочки жесткий, как

железо, режущий шею воротник, да широченную, с красным высоким пером шляпу Юрий Андреевич держал пока что в руках.

Как ни трудно ему было о чем-либо думать сейчас, он заметил, как изменились лица тех, кто присутствовал в комнатке. Пятнадцать минут назад они провожали за ширму себе подобного, нет, ниже — простого наемного работника, почти такого же, как гримерша или уборщица, а теперь видели перед собой... Хотя, в общем-то, видели они клоуна, но все-таки в глазах появилось подсознательное, инстинктивное, наверное, уважение, даже нечто вроде подобострастия... Впрочем, лицо Стахеевского зятя очень быстро стало озабоченным, и он, повернувшись к тестю, тихо, на выдохе произнес:

— Побриться нужно ему...

Стахеев, нахмурившись, сделал шаг к Юрию Андреевичу, снизу взгляделся в его подбородок. Кивнул, выскочил, как мальчишка, за дверь.

— Да, побриться, подкраситься, — подал голос лысоватый, но еще молодой толстячок, главный владелец казино, — а так, в остальном — все ништяк!

— Ништяк-то ништяк, — отозвался другой совладелец, худой, бородатый, напоминающий геолога шестидесятых годов, — но поторапливаться бы надо. Времецко поджигает. Скоро начнут съезжаться.

Зять Стахеева почти испуганно дернул вверх левую руку с большой шайбой часов на запястье.

Юрий Андреевич, раскинув в стороны фалды, сел в кресло.

В шесть вечера побритый (Дмитрий Павлович купил где-то поблизости электробриту «Браун»), загримированный и проинструктированный Губин стоял на верхней ступени перед входом в игровой дом «Ватерлоо» и держал перед собой бархатную подушечку с массивными позолоченными ножницами. За его спиной была протянута красная ленточка, которую в завершение церемонии должен перерезать самый высокопоставленный гость — первый заместитель мэра. А пока что одна за другой лились или натужно выдавливались речи участников торжества.

Юрий Андреевич не слушал. Уставив мужественный взгляд поверх голов собравшихся на площади, расправив плечи и выпятив грудь, он замер в таком положении. Что-то подсказывало ему — не нужно ничего ни видеть, ни слышать, а нужно просто стоять истуканом, с бархатной подушечкой на ладонях. Даже ждать, когда все это кончится, тоже не надо. Когда ждешь, время тянется слишком медленно и болезненно... Просто стоять. И не думать... Так же точно он стоял когда-то давным-давно возле бюста Ленина в фойе родной школы во время государственных праздников; так же с мужественным лицом смотрел в пространство и ни о чем не думал. Только вместо мундира на нем была тогда пионерская форма...

Справа и слева переминались с ноги на ногу руководители города, известные и популярные люди, а внизу, под ступенями «Ватерлоо», на площади, собралась публика. И наверняка все они разглядывали сейчас именно его, его смешную шляпу, мундир и красивые издали звезды-награды. Может, кто-то уже узнал его и сейчас, посмеиваясь, сообщает соседу: «Да это же Губин! Который в институте работает. Ну, древнерусскую литературу ведет... Во дает-то, а!..» Нет, не думать, просто смотреть в пространство. Не думать.

Наконец чьи-то руки осторожно сняли с подушечки ножницы, и она сразу стала пугающе легкой; Юрий Андреевич очнулся, крепко сжал пальцами бархатные края. Повернулся лицом к двери. Первый заместитель мэра, статный человек обкомовского склада, отрезал полоску от красной ленточки, а зять Стахеева и бородатенький совладелец придерживали ее, чтоб не упала.

Дверь открылась, и тут же из-за здания казино вырвались, жужжа и шипя, горящие полосы, стали лопаться в светлом еще, совсем не вечернем небе бледными разноцветными искрами.

Толпа заликовала, отвыкнув за последнюю пару лет от праздников с фейерверками... И, точно бы прикрываясь этим фейерверком, отвлекая общее внимание, городская элита со ступеней втекла в «Ватерлоо».

Ресторан был готов для банкета. Но занятыми оказались лишь с четверть мест — остальные приглашенные не пришли. Расселись за центральным длинным столом тесной и дружной компанией.

Как ему и велели, Юрий Андреевич держался рядом с первым заместителем мэра, открывал для него и его окружения шампанское... Первую бутылку открыл кое-как, обломив проволочное колечко на держашей пробку сеточке, вспотел, мысленно успел проклясть все на свете, но вторая, третья бутылки откупорились хорошо, и Губин

теперь готов был заниматься этим сколько угодно, с удовольствием чувствуя, как скопившийся под толстым стеклом газ, точно живой, выдавливает из горлышка пробку...

Правда, шампанское почти не понадобилось. Первый заместитель мэра, лишь пригубив бокал, переключился на водку, а за ним, конечно, последовали все остальные. Быстро захмелели, расслабились. Начались душевные разговоры и шутки, какие обычные между давно знакомыми, симпатичными друг другу людьми.

И вот уже первый заместитель мэра потянул к стахеевскому зятю свое гладкое, румяное лицо, негромко, но внятно спросил:

— А где вы, Денисик, этого молодца-то нарыли? Актер, что ль, какой?

Зять взглянул на Юрия Андреевича, подмигнул ему, улыбнулся как смог приветливой первому заместителю мэра:

— Обижаете, Геннадий Степанович. Специально из Франции выписан. Из Версаля. Будет теперь символом нашего дома.

— У-у! — Тот или действительно не понял шутки или решил подыграть. — Вот видите, снова к цивилизации приближаемся. Помните, эти французы... — Первый заместитель мэра покосился на Губина, наверно, пытаясь определить, понимает он по-русски или нет. — Эти французы-то раньше как к нам в Россию рвались? В учителя фехтования, в гувернеры всякие. Да? Вот и опять... Хорош-шо!

— Хорошо-о! — смачно повторил зять Стахеева. — Совершенно точно, Геннадий Степанович!

— Налейте-ка водочки мне, Денисик. — Первый заместитель мэра румянился все сильнее. — Тост созрел!

Он поднялся и повторил то же самое про французских гувернеров, про возвращение к цивилизации. При этом то и дело, расплескивая на кушанья водку из хрустальной рюмки-сапожка, указывал на Губина. А Губин сидел в своей широченной шляпе с пером, мужественно глядел в пространство.

* * *

Дарья Валерьевна почесала щеку и еще раз вздохнула:

— Ох, мальчишки, мальчишки... И так из-за всяких глупостей сколько гибнет, так еще армия эта... Что ж там с ними делают, что лучше стреляться, чем живыми быть...

Ирина в ответ для поддержки тоже вздохнула, искоса глянула на свои часики... Половина третьего. Можно потихоньку и начинать собираться... Возьмет пораньше Павлушку из сада, пойдут в парк. У нее есть рублей семьдесят — даст сыну вволю порезвиться в его любимом «замке-батуте»...

Вздых собеседницы подстегнул Дарью Валерьевну говорить дальше:

— Мой если завалит экзамены, не знаю, что дальше и делать. Вот уж всю жизнь нарадоваться не могла, какой он здоровенький, крепкий растет, а теперь... Ведь таких в первую очередь... и в Чечню, в любое пекло шлют... О-хо-хо-х...

— Да-а... — Ирина, готовясь подняться, отодвинула пустую чашку к центру стола.

— Ты своего обследуй. Любое недомогание его пускай в карту заносят. Потом, Ириш, поверь, пригодится... Потом все пригодится, когда срок придет... А так — будешь бегать, как я сейчас, и поздно, видимо...

— Да, да, спасибо... конечно...

— До чего довели, ой-ё-ёй, до чего довели! — снова запрочитала администраторша. — Хуже тюрьмы ведь сделали...

Сочувствие и сострадание и тяжесть своих проблем бродили в Ирине горьким, едким настоем, нехорошо, ядовито хмельным, и так тянуло, рвалось из души смахнуть на пол чашку, упасть вслед за ней, зарыдать. И жаловаться, тоже жаловаться, выплескивая настой, очищая мозг, грудь, всю себя, изъеденную, изуродованную ежедневно не такой, как надо, как должно быть, жизнью.

Но вместо рыданий, жалоб, вместо очищения Ирина глядела на клеенку, кивала, повторяя монотонно и бессмысленно: «Да-да... да-а...»

— А с другой стороны... — В голосе Дарьи Валерьевны вдруг появилась новая, странная интонация, заставившая Ирину прислушаться. — Вся история наша — это ведь истребление мужчин. Да, Ир, я тут книжку читала... Нашла как-то вечером под прилавком. Наверно, старушонка какая ее под кульки принесла и оставила. Почти вся целая... «Главная потеря России» называется. Я подобрала, стала листать, а потом всю прочитала.

Администраторша замолкла так многозначительно, что Ирина не могла не спросить:

— И о чем?

— А угадай... О мужчинах, Ир, о мужчинах!.. Под корень их во все времена у нас выкашивали... Первых страниц в книге не было, а я начала с отца Петра Первого... Ох, сколько при нем, оказывается, бунтов разных, войн случилось. И всё топили, вешали, головы рубили, живьем закапывали. Не перескажешь... — Дарья Валерьевна говорила теперь торжественно; с той торжественностью, что бывает на траурных митингах и похоронах. — А староверов, которые двумя пальцами крестились, хуже собак считали. Встретил — убей. То-то они до сих пор вон в тайге сидят... А знаешь, что при Петре Первом мужское население на сорок процентов снизилось? Это и стариков считая, и детей грудных. Никакой Сталин не сравнится, наверно...

Ирина слушала администраторшу как совсем нового человека. Впервые та со своих проблем и проблем знакомых переклочилась на нечто глобальное.

— Да и Сталин их истреблял, мужчин, не дай бог... Там, в книге, и цифры приведены, но я не запомнила. Помню, что страшные цифры всех этих революций, репрессий. Миллионы и миллионы, миллионы и миллионы... Да что далеко ходить, у меня вот в семье хотя бы... Я одного своего родственника только пожилого помню — деда двоюродного. Да и тот без ноги был... Все женщины у нас вдовы были... И во все века ведь так. Не на войне гибнут, так по пьянке или в драках всяких или еще по какой глупости...

Дарья Валерьевна снова испустила протяжный, горестный вздох. Потрогала заварной чайничек, но наливать чай не стала, заговорила дальше:

— Там, в этой книге, про генофонд много было. Что вот первыми-то гибнут в основном смелые люди, самые крепкие. Лучшие, одним словом. В атаку бегут, с несправедливостью всякой борются, на смерть идут за свои убеждения. И хулиганы — это, если подумать, как мужчины, лучшие... м-м... экземпляры, просто проявить им свою мужественность негде... И вот они гибнут чаще всего молоденькими совсем, детей не оставляют, а живут дальше в основном всякие трусоватые, подловатые, больные, и у них дети-то есть. И их сыновья тоже с гнильцой получаются... Ну, генетически... И вот там автор считает, что из-за этого и народ у нас стал такой — еле шевелимся, — что всех лучших из поколения в поколение истребляли. Крестьян самых хозяйственных за Полярный круг на верную смерть, солдат, не жалея, под пулеметы, умных и честных расстреливали без жалости... Вот... А теперь ни работать не можем, ничего. Только вздыхаем.

— Н-да-а, — согласилась Ирина, понимая, что не отреагировать неудобно.

— А как ты, Ир, считаешь? Ты ведь биолог, эта генетика к вам близко стоит... Как по-твоему — прав автор, что судит так? Действительно поэтому обмелчали?

— Гм... — Ирина растерялась, когда понадобилось что-то ответить. — Н-ну, как вам сказать...

Пожала плечами, покривила раздумчиво губы, копаясь в мыслях, лоя, выскивая подходящую, но и зная, что мысль такую ей вряд ли удастся найти... Сколько раз за студенческие годы — совсем вроде недавно — она слышала подобные разговоры, наблюдала споры однокурсников, и ей казалось тогда, что у нее тоже есть свое мнение и, если надо, она тоже может достойно вступить в разговор; а сейчас вдруг оказалось, что сказать нечего.

И Ирина произнесла самое простое и скучное:

— Не знаю. Подобные гипотезы появляются постоянно, но доказать их, кажется, невозможно. Да я последнее время как-то и не слежу за этим...

— Так-так, — с пониманием, но без одобрения отозвалась Дарья Валерьевна; лицо ее осунулось и потускнело. Она занялась приготовлением чая, ворча, что кипяток совсем остыл...

Разговор притух. Ирина, сославшись на дела, вернулась в лабораторию. Выпила таблетку супрастина от аллергии. Начала собираться. И, как всегда, в этот момент была уверена, что посвятит вечер сыну. Да, заберет из садика Павлушку, сводит его в парк, устроит ему маленький праздник с мороженым и прыганьем в «замке»... Вообще чаще с ним надо общаться, а то вырастет, хм, генетически лучшим мужчиной — героем подворотни... Но ведь единственное по-настоящему дорогое, бесценное, что у нее есть, это Павлик.

И от такой мысли опять защипало в горле, на глаза навернулись слезы... Вспомнились, представились знакомые девушки, разошедшиеся с мужьями или вовсе безмужние, но с ребенком; одни были симпатичные, другие страшненькие, одни при

деньгах, а другие почти нищие, но на всех была одинаковая печать ущербности, брошенности; и все они с одинаково обреченной убежденностью, качая на руках орущего малыша или грустно любясь, как он резвится на детской площадке, повторяли: «Он — это единственное, что у меня есть. Миленький мой, любимый!.. Я все-все сделаю, чтоб у него все хорошо получилось!..»

Теперь и Ирина готова была, искренне готова была повторять те же слова, «сделать все-все». А это значит, что больше она уже ни на что не надеялась.

Убрала в сейф пробирки, измеритель нитратов. Присела на стул... Она вдруг страшно ослабела, обессилела и боялась, что не дойдет до автобусной остановки... На самом деле, сколько можно ходить туда-сюда, зачем втискиваться в переполненный некоммерческий автобус, экономя три рубля на проезде? Зачем вообще шевелиться, если совсем нет сил? Ради чего?.. Ах, да, да — ради сына... Хм, и радоваться ему, как богу, и целовать его, сказки Чуковского каждый вечер читать перед сном, а потом какой-нибудь «Остров сокровищ» и «Робинзон Крузо». И по парку гулять, по одним и тем же аллеям, иногда ругать, объяснять терпеливо, что такое хорошо и что такое плохо. А остальное все — по инерции, почти механически, потому что это необходимо для жизни. Необходимый для жизни набор из нескольких операций. Еда, сон, туалет, стирка, уборка, работа... Хорошо, что есть работа, пусть и не нужная никому, со смешной зарплатишкой, зато перед родителями не чувствуешь себя изживенкой. Тоже приносишь в дом пачечку разноцветных бумажек... И так еще долго-долго, много-много дней, месяцев, лет впереди... Единственное, чем пока отличается она, Ирина, от других подобных ей неудачниц, — тем, что не очень-то жалуется. В основном молчит. А когда станет как Дарья Валерьевна, значит, полный конец, значит, всё...

Нет, это еще вопрос, что лучше, что хуже. Может, она, Ирина, просто миновала период жалоб, бесконечнейших монологов или не способна на них; может, она скатилась намного глубже этих Дарь Валерьевн, скатилась в крошечное отупение, где нет уже слов.

Враскачку, как немощная старуха, поднялась на ноги. Натянула тонкий шуршащий плащ, взяла сумочку. По привычке оглядела маленькую комнатку-лабораторию, свое ненавистное и дорогое убежище. Вышла. Два раза провернула ключ в замке... Завтра вернется, чтоб отсидеть очередные пять-шесть часов, послушаться речей администраторши, а потом так же сбежать...

Торговля, как всегда ближе к вечеру, была в полном разгаре. С разных концов рыночка, сливаясь в какофонию, беспрестанно раздавались призывы то русских старушек, то азербайджанских молодцев: «Огурцы! Капусточка!.. Яблоки кому?! Виноград, виноград без косточек!.. Редиска свежайшая!.. Хур-рма!..»

Дворник Шуруп сладко дремал на лавочке возле своей каморки в ожидании вечера, когда надо будет пройтись метлой меж опустевших прилавков.

Все они сейчас казались Ирине такими довольными жизнью, увлеченными, почти счастливыми тем, чем были заняты, что рыдания досады и зависти снова забурили в горле и захотелось остановиться, взвыть: «Да очнитесь вы!.. Это же обман, обман! Это ничто! На что же вы тратитесь!» Но и продавцы и покупатели выглядели непроницаемо деловитыми и радостными, и она поняла: закричи, люди на мгновение изумятся, повернут к ней лица, а затем продолжат свои дела. Только, может, Дарья Валерьевна побегит к телефону — в психушку звонить...

Медленно, рывками, как против сильного ветра, Ирина двигалась к остановке... Куда идет? Разумом она отвечала, без доли сомнения отвечала, куда, к кому и зачем, а сердцем... Сердце пульсирует под левой, окаменелой без мужских ласк грудью однообразно и равнодушно: тук-тук, тук-тук, тук-тук... Сердце сперва жадно вбирает, а потом с силой выбрасывает в артерии кровь. И через десять лет, когда Ирине натикает тридцать семь, так же точно будет пульсировать, и через двадцать. И когда-нибудь, когда привыкнет к скамейке возле подъезда, радуясь солнышку, чириканию пташек, тому, что ее, Ирину Юрьевну Губину, миновали серьезные болезни, голод и наводнения, оно, хриплое, усталое, задавленное ожиревшей, бесплодной грудью, остановит свою пульсацию, замрет, перекроет путь крови. И грузная, бесформенная старуха, что когда-то была молодой, пусть не слишком красивой, зато очень хотящей жить женщиной по имени Ира, Ирина, а еще раньше миленькой, веселой, ничего не знающей девочкой Иришей, захрипит, как испорченный насос, закаты под набрякшие веки глаза и повалится со скамейки, всполошив сидящих рядом соседа, испугав резвящуюся поблизости детвору. Сын Павел, узнав о случившемся, скривится: блин, опять непредвиденные расходы, хлопоты, суетня...

— Маш... Машка, привет! — камнем ударило почти над ухом.

Ирина отклонила голову, даже отступила на шаг в сторону и тогда уже подняла глаза. Рядом с ней, растянув ярко-красные губы в улыбке, примерно ее возраста женщина. Лицо вроде знакомо, но знакомо так смутно, будто явилось из другой, не из этой жизни. И, защищаясь от лишних усилий вспоминать, от испуга и неожиданности Ирина торопливо, враждебно бросила:

— Я не Маша.

Женщина остолбенела, губы на секунду собрались в недоуменный кружочек, но тут же снова разъехались в стороны:

— Ой, Иришка, ты?! Ириш-шик, прости!

Две тонкие мягкие руки обхватили ее, обняли; щеку густым ароматом духов лизнул поцелуй.

С трудом вытягиваясь из тины вязких напластований прошлых лет, сотен отпечатанных в памяти лиц и голосов, появилось это же лицо, что сейчас улыбалось ей, но чуть другое, почти детское, с другой прической, в другой обстановке... И вслед за ним всплыли имя, фамилия, мелькнули картинки-случаи, разговоры...

Да, Марина... Маринка Журавлева. Вместе учились с первого по девятый. Потом она, кажется, пошла учиться на парикмахера. Такие почему-то обычно шли в продавцы или парикмахеры... В последний раз Ирина видела ее в больнице, лет в семнадцать. Маринка тогда попала в аварию, а они, несколько девушек и парней выпускного одиннадцатого «В», навестили ее, постояли вокруг кровати, кто-то, кажется, говорил что-то успокаивающее, ободряющее. Ирина, прятая за спинами, зачарованно разглядывала забинтованную, будто в шлеме, голову, висящую в стальном каркасе ногу, слабо улыбающееся, исцарапанное и ссохшееся личико бывшей одноклассницы...

— Как я рада видеть тебя, Иришик! Ты б только знала!..

— Я тоже...

Маринка Журавлева принадлежала к числу тех, кого открыто не любили учительницы, видя кого у себя на уроках, расцветали физруки, кого сторонились, словно заразных, большинство девушек, на кого опасливо, украдкой заглядывались их сверстники парни. Но учительницы не любили их не как учениц, а как равных себе; физруки при любой возможности тихо говорили им что-то такое, от чего те смущенно-кокетливо передергивали плечами и дули на челку; девушки, сторонясь их, почти явно им завидовали, от этого злясь на себя; парни, мечтая о близости, представляли рядом именно их...

Всплыв из тины прошлого, образ Маринки стремительно, неостановимо раскручивал в Ирининой памяти тот период ее жизни, когда жизнь только еще начиналась и ничего не было потеряно...

В их классе подобных Маринке Журавлевой учились четыре девушки, а вообще по школе — не больше пятнадцати. Когда еще обязательно носили форму, они вместо черных фартуков постоянно наряжались в белые, а платья укорачивали намного выше колен; они красились, обесцвечивали волосы, носили сережки и кольца, наклеивали длинные ногти.

Обычно лет до тринадцати такие девушки, наоборот, были гордостью учителей, получали чуть не одни пятерки по всем предметам, они были активны, опрятны, жизнерадостны, отзывчивы. Их первыми на общегородской торжественной линейке принимали в пионеры, давали разные классные награды, поручали брать на буксир отстающих. Но потом они менялись... Да, лет в тринадцать-четырнадцать... Учились, правда, еще хорошо, хотя становилось заметно, учеба их мало интересует; тогда-то они и начинали краситься, укорачивали подола, превращались в блондинок или вовсе в каких-то пеструшек; у них появлялись друзья («парни», как гордо они их называли), обычно года на два-три старше, из бывших учеников этой же школы, а теперь, после девятого класса, ставшие явными хулиганами, а то и вовсе бандитами. Такие девушки, не стесняясь, курили на школьном крыльце, частенько приходили на уроки с похмелья, и благопристойное большинство класса о них шепталось: «Она ходит с Баем, который бугор квартала!.. Она два аборта уже сделала!.. Она на игле!.. Она сразу с тремя парнями переспала!..»

И еще — в них были какая-то странная уверенность в себе, смелость, жажда новых и новых приключений, бесшабашность.

Девушки другого склада — Ирина знала это по их разговорам, — сами робкие, созданные для вялой семейной жизни, размеренной любви к одному-единственному мужчине — мужу, для заботы о родных своих детках, на которых природа определила им положить силы и жизнь, страшно завидовали бесшабашным, часами сплетничали

о них, бывало, собравшись в стайку, шли на дискотеку в ДК «Колос», где обычно проводили вечера молодые бандиты, но переступить ту грань, что разделяла бесшабашных и добропорядочных, не могли...

— Ириш, сколько же мы не виделись? Лет десять уж точно. Да?

— Где-то так, — кивала Ирина, тщетно пытаясь выбраться из воспоминаний в настоящее, включиться в общение с одноклассницей, но воспоминания пока были сильнее.

Они никогда не дружили, даже в начальных классах, а когда Маринка стала одной из тех немногих, отношения совсем прекратились.

После девятого, получив аттестат о неполном среднем, Маринка вдруг (она училась, несмотря на загулы, по-прежнему довольно прилично) ушла из школы. Говорили, что поступила на парикмахера, дружит с грозой района Феликсом, отсидевшим уже два года за воровство...

Ирина вспоминала о Маринке, лишь когда подруги в разговорах упоминали о ней; раза два она являлась на школьную дискотеку со своим верзилкой Феликсом и компанией. Парни томно разваливались на обрамляющих квадрат для танцев сиденьях, а девицы извивались перед ними, точно наложницы перед падишахами. Со стороны это выглядело и отвратительно и завораживающе.

По слухам, Феликс главенствовал в банде, которая вечерами раздевала прохожих. Милиция на них выйти не могла, банда работала без улик, а погиб Феликс глупо, совсем по-мальчишески. Увидел у какого-то паренька мотоцикл «Ява», решил, видимо, тряхнуть стариной, сел за руль, сзади посадил подругу Маринку и, на полную выкручивая газ, помчался по улице.

В газетной хронике происшествий потом написали, что был он «в состоянии алкогольного опьянения». Да, трезвый так не врежется — в лоб встречной машине. Микроавтобусу «РАФ». Скорость была чуть ли не за сто у Феликса... Его самого разрезало металлической стойкой, соединяющей у микроавтобуса крышу с корпусом, а Маринка перелетела через «рафик» и приземлилась на асфальт.

Кажется, месяца два пролежала в больнице с травмой черепа, да с такой, что делали ей трепанацию, и вдобавок кость левой ноги раздробило. Даже после выписки она долго ковыляла на костылях с аппаратом Елизарова... Но Ирина ее тогда уже не встречала, последний раз видела в больнице, недели через три после аварии... У ребят и девушек, заканчивающих одиннадцатый «В», была впереди большая жизнь, институты, интересная работа, свадьбы, семейные радости, а Маринка лежала с задранной ногой, в шлеме из бинтов и слабо улыбалась. Казалось, кончилось ее бурное времечко, теперь же будет какая-нибудь инвалидная коляска, вечные уколы, таблетки, приступы страшной боли...

И вот спустя десять лет перед Ириной стояла высокая, полная здоровья и энергии, жизнерадостная женщина с темными густыми волосами. В белой прозрачной блузке, под которой виднелся кружевной лифчик, в черной юбке до колен, на ногах остроносые туфельки на тоненьких каблучках. Лицо чуть-чуть, но умело подкрашено, волосы вроде небрежно подобраны шпильками, хотя каждый локон, каждый завиток на месте. И Ирина, как и тогда, в школе, снова испытывала к ней смешанное чувство брезгливости, зависти и страха, как к чему-то непонятному, до странности притягательному. И самой себе она казалась сейчас, рядом с Маринкой, особенно толстой, бесформенной, безобразной... Вот зачем этот плащ дурацкий надела?! На улице ведь лето совсем... Зачем на ногах эти плоскодонные лодочки?.. Да, они удобные, но ведь удобны и домашние шлепанцы... Чего она ждет от мужчин, если сама не старается, не умеет сделать себя хоть более-менее привлекательной... Да что тут поделаешь, если природа не дала.

Ирина с досадой, почти злобой подумала о папе. Такой ведь мужчина, и нашел себе в жены какую-то уточку. И она вот тоже уточкой получилась... Глядя сейчас на Маринку, краем глаза успевала заметить, как проходящие мимо поворачивают лица в их сторону. Но видят не ее, а только эту бесшабашную, бог знает с кем только не погулявшую, зато приятную, точно яркий, сочный плод, Маринку Журавлеву.

— Ну, рассказывай, как дела твои, как жизнь вообще, — повела она Ирину по тротуару.

Ирина оглянулась на остановку, где в ожидании автобуса толклись десятка три уставших под конец дня людей, и, не сопротивляясь, пошла рядом с бывшей одноклассницей.

— Да как... — пожалала плечами. — Работаю, сыну скоро четыре...

— У тебя сын? — обрадовалась и удивилась Маринка. — Молоде-ец! Как зовут?

— Павлик.

— Четыре года — самый прекрасный возраст. Дети лет до шести — подарок...

— Хм. А потом?

— Потом другое... Моей-то принцессе десять. Я ее и дочьрю уже не считаю. То ли сестра, то ли подружка...

Теперь удивилась Ирина:

— Дочь... Даже и не думала, что у тебя... — Она чуть было не сказала «могут быть дети», но в последний момент выразилась мягче: — Дочка есть.

— Как же, десять лет вот-вот. В июле исполнится... Только тогда оклемалась немного после аварии, и живот обозначился. Феликс оставил память... — В Маринкином курлыканые послышалась грусть. — Да-а, потрепыхалась я тогда. С матерью у меня ведь лет с пятнадцати отношений почти не было, у Феликса жили. А тут его родственнички еще до похорон все мои вещи выкинули. Прямо на свалку, говорят, вынесли... Мать ко мне один раз только приходила в больницу. «Что, дошлялась?» — и вышла сразу. Даже в тот момент не простила. Да я и сама, Ирш, виновата — доводила ее, дура, постоянно... Тетке по отцу спасибо. Сидела со мной, кормила. После отца я у нее одна из родни осталась. Отец ведь мой тоже в аварии погиб, я еще маленькой была совсем. Да-а, судьба вот...

По привычке, наверное, Маринка шла быстро, далеко вперед выбрасывая прямые от бедра ноги; каблочки резко и громко стучали по асфальту, точно торопили, задавали ритм. Ирина еле успевала за ней, путаясь в полах своего плаща, не думая, куда и зачем идет вместе с этой чужой, почти и незнакомой женщиной. Зачем слушает ее курлыканые.

— Тетка меня и после больницы к себе взяла. Хотя... У них с мужем избенка трехкоконная на болоте, он — алкаш конченный... А тут еще, представь, беременная. Ни работы, ни жилья, ни вещей никаких. Постоянно таблетки, на ноге этот аппарат Елизарова. Боли знаешь какие были!.. Мне еще в больнице посоветовали аборт сделать. Предупредили, что или сама загнусь, или ребенок будет неполноценный. Одно из двух, а скорей всего, и то и другое...

— Да уж, — отозвалась Ирина, чувствуя сострадание, обычное сострадание, какое испытывала всегда, когда слышала подобные истории. — И как, решилась?

— А что делать... Тем более я так тогда Феликса ведь любила... Главное не родить было, а выносить хотя бы до семи месяцев. Потом кесарево сечение там... Ну, понимаешь... Но нормально в итоге все получилось. Все-таки семнадцать лет — как на собаке зажило. Аппарат только сняли, и снова стала летать... Однажды иду, останавливаются «Жигули». Выскакивает Миха, феликсовский дружок. Он старше его, они вместе в кэпээз как-то сидели, потом иногда встречались... Ну, разговорились, он, оказывается, на феликсовских похоронах был, рассказал, как там было... Я ему о своем рассказала. Он меня, в общем, в кафе пригласил, посидели...

Как-то быстро и незаметно оказались в центре. Возле «Ватерлоо» редкое теперь для города оживление — милиционеры устанавливают ограждения перед ступенями, рядом кучкуется народ, разматывают кабели телевизионщики...

— А-а, сегодня же открытие! — воскликнула вдруг Маринка радостно, почти счастливо.

Ирина не поняла:

— Какое открытие?

— Да вот казино открывается наконец-то. В шесть. — Она вскинула руку, глянула на крохотные золотые, кажется, часики. — Через... почти через три часа. Может, посмотрим? Салют, я читала, будет, и вход свободный.

— Нет-нет, извини! — поспешно, испуганно ответила Ирина. — Сына из садика надо забрать. Мама сегодня допоздна работает... — Но в душе против воли уже боролась между тем, чтоб ехать домой и остаться.

— А у вас в садике дежурная группа есть?

— Дежурная?..

— Ну, ночная?

— М-м, вроде да. Но я не знаю, никогда не оставляли.

— Один-то раз можно, наверно...

Они также быстро шли дальше. Ирина молчала. Чего-то ждала. А бывшая одноклассница, будто забыв про «Ватерлоо», курлыкала дальше, мгновенно меняя интонацию с радостной на печальную:

— В общем, Ир, взял он меня к себе. Миха. Я согласилась, конечно. А что оставалось?.. Да и само собой так получилось. У него квартира была двухкомнатная, своя, и я как вдова друга поселилась. А потом и спать стали... В-вот... Миха уже тогда делами серьезными занимался... Это ведь в девяносто втором было, рынки только

начались, и сразу эти рэкетеры бесбашенные появились, а Миха торгашей охранял. Неофициально, конечно... У него бригада была, брали кое-какой налог с каждого контейнера, с палаток, а те зато жили спокойно. Ну, крыша, в общем... Три года почти мы с ним прожили. Как супруги. — Маринка невесело улыбнулась. — Все было отлично... Отлично... Он быстро раскручивался. Бензин продавал, сигареты. Пивзавод хотел приватизировать. Из-за него, наверно, и застрелили...

— Застрелили? — переспросила Ирина и почувствовала себя персонажем какой-то криминальной передачи; даже поозиралась — не следят ли, не снимают ли их на камеру...

— В девяносто пятом... перед самым Новым годом... — Маринка говорила с трудом и шаг сбавила. — Врагов-то у него хоть отбавляй было... конкурентов то есть... Был бы он жив сейчас, всех бы здесь шеренгами строил... Может, зайдём? — вдруг оживилась она, кивнула в сторону бара «Корона», — по коктейльчику выпьем? И позвоним заодно.

«Куда позвоним?» — хотела спросить Ирина, а вместо этого послушно и молча повернула вслед за Маринкой к «Короне».

Они обогнули стоящую у входа черную иномарку. Обернувшись, Ирина увидела Дмитрия Павловича Стахеева. Он вслед за кем-то забирался в машину... Мягко хлопнула дверца, и машина побежала по улице...

— На таком «БМВ» тоже бы сейчас рассекал, — как-то злобно кивнула вслед ей Маринка. — Да кого... Миха себе такую б пригнал — все бы попадали.

Ирина, усмехнувшись, кивнула.

Вошли в бар, сели за столик, освещенный толстой, под стеклянным колпаком, свечой. Маринка тут же поманила юношу в белой рубашке жестом хозяйки. Тот, подхватив со стойки папочку, подошел.

— Меню, пожалуйста.

— Две «Отвертки», — ответила Маринка, перекладывая папочку на край стола, — и телефон.

Юноша удалился. Маринка достала из сумочки сигареты «Кэмэл», зажигалку.

— Ты номер садика помнишь?

— Тридцать шестой.

— Да нет... — Маринка как-то снисходительно улыбнулась. — Телефонный номер.

— А... Где-то был... — И Ирина полезла в свою сумочку, где среди помады, тонального крема, ваток, ключей были свернутые листочки с нужными адресами и телефонами.

Копаясь, она в который раз подумала с раздражением: «Книжку пора завести... Невозможно же так!» Магазин, где есть отдел канцтоваров, напротив их дома, но постоянно то забываешь об этой книжке несчастной, то денег жалко, а чаще всего просто лень зайти...

Уже готовая вывалить на стол содержимое сумочки, она наткнулась на бумажку с номером детсадовского телефона. И как раз официант принес два бокала с желтой жидкостью и синими соломинками и громоздкую трубку.

— Спасибо, — совсем вроде небрежно, но в то же время и неуловимо ласково произнесла Маринка. — Давай, Ирушик, диктуй.

Она продиктовала. Через несколько секунд ожидания Маринка протянула ей телефон:

— Говори...

— Алло! — заполошно выкрикнула Ирина. — Здравствуйте!.. А можно воспитательницу из третьей группы. — И добавила на всякий случай: — Очень важно!

— Щас, — отозвался усталый женский голос; в трубке что-то хрустнуло и затихло.

Спустя пару минут, за которые Ирина успела выпить половину приятно отдающего апельсином коктейля, трубка ожила снова:

— Да, слушаю!

— Зоя... гм?.. — Отчество воспитательницы вылетело из головы, Ирина мучительно замолчала; спасибо, на том конце провода подсказали:

— Зоя Борисовна.

— Зоя Борисовна, здравствуйте! Это мама Павлика Губина. — И Ирина с непривычки понесла окопелсиу, запуталась, боясь сказать напрямую, что сегодня не сможет забрать сына.

— Значит, я так понимаю, — видимо, устав слушать, перебила воспитательница, — Павлик сегодня остается ночевать?

— Н-да, если можно...

— Конечно, можно, Ирина Юрьевна. Что вы! — Голос сделался радушным и успокаивающим. — Это же наша работа... Ничего страшного. Отдыхайте.

— И еще! — боясь, что воспитательница положит трубку, заторопилась Ирина. — У нас дома ведь телефона нет. Так, пожалуйста, если можно, скажите, чтобы Светлана или Аня Степанова зашли к моим... они в том же доме живут, и передали моим родителям...

— Все понятно. Хорошо, я скажу, — опять перебила воспитательница. — Или записку в двери оставят, если никого дома не будет. У нас это оповещение отработано.

— Ой, спасибо вам, Зоя Борисовна! Большое спасибо...

— Ну вот видишь, — как старшая, улыбнулась Маринка, — а ты боялась. Даже юбка не измялась.

Этой своей шуткой она снова напомнила Ирине курящих, гуляющих с парнями своих четырнадцатилетних одноклассниц, и тот заполосный, испуганный голос в ней закричал: «Уходи ты! Иди домой! Домой!» А другой, взрослый и умудренный, заглушил эти крики холодным вопросом: «Зачем?»

— Еще сейчас по коктейльчику... — Маринка плавным движением поднесла к глазам часики. — И можно двигать. Зря, конечно, они в будний день открытие сделали... А, какая разница... Хотя посмотрим, как там в казино бывает. Давай, Ириш, досасывай свою «Отверточку».

Как и та шутка с юбкой, Ирину корбило название коктейля — грубое, механическое, впрочем, кажется, очень точное. Он именно отвернул что-то в душе, какой-то болтик, и влил внутрь теплое, горьковато-сладкое, так приятно щекочущее... За несколько минут настроение изменилось совершенно... Ирина втягивала в себя через соломинку новую порцию теплого, горьковато-сладкого и, как занятную передачу по радио, слушала дальше историю бывшей одноклассницы...

— После Миши опять на полных бабах осталась. Мы же с ним не зарегистрированы были, а у него жена формальная и ребенок. Он с ней не жил уже несколько лет, а она жила с одним из главных Мишиных партнеров. Ну и... Запутанная, короче, история. Но я ничего делать не стала, чемодан собрала, и все... Хорошо, денежки кой-какие скопились, сняла однокомнатку. Стала работу искать.

Зажегся мягкий, не слепящий электрический свет. «Пять часов», — автоматически отметила Ирина; в душе вяло и сонно трепыхнулось беспокойство и тут же пропало.

— И как ты? — спросила Маринку.

— Да как... — Та, переменив позу, закинула ногу на ногу, и Ирина заметила на загорелой коже (где в конце мая загореть-то успела?) несколько круглых розовых шрамов. Наверное, от того аппарата Елизарова... И еще один шрам был длинный, неаккуратный, со следами небрежных, торопливых стежков. Но, как ни странно, он не пугал, а наоборот — делал Маринку живей, соблазнительней, похожей на испанскую танцовщицу из какой-нибудь портовой таверны; Ирине вдруг захотелось погладить ее теплую упругую ногу. — Как... Вспомнила свое парикмахерство, в салон устроилась. Конечно, не сразу, не все так просто. Это, оказывается, такая работа бластная! Легче масоном каким-нибудь стать... Зато теперь седьмой год уже — тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, — свожу концы более-менее. Старший мастер, свои клиенты... Мать умерла в прошлом году, я ее похоронила нормально. В родной угол перебралась.

— М-да-а... — Ирина соснула «Отвертку», спросила полупшепотом: — Одна живешь?

— С Викушей.

— А... кто это?.. Если не секрет, конечно...

— Да нет! — хохотнула Маринка. — Это дочку я так зову. Викторию.

— У, ясно... — Ирина замылась, а потом уточнила все так же полупшепотом: — Я не в этом смысле...

— Я одна, — спокойно, без всякого сожаления сказала Маринка. — Так, бывают романчики... чтоб форму не потерять. Но, знаешь, Ириш, после Феликса с Михой, честно тебе скажу, трудно с кем-то серьезно сойтись. Или боровы стопроцентные попадают, или мальчишки. А возраст такой, что с боровом еще не хочется, а мальчишки, они только с виду сладкие... Через неделю тошнит от них... Феликс и Миха настоящие парни были, герои, но герои вот, оказывается, мало живут...

Где-то совсем недавно, прямо сегодня Ирина уже слышала о героях... И как подсказка — вместо Маринки Журавлевой заколыхалось перед глазами мясистое скорбное лицо Дарьи Валерьевны, засвербел в голове ее пересказ книжки о главной потере России... Ирина дернулась, будто на нее пахнуло морозом...

— Что, скоро в это «Ватерлоо» идти? — отвязываясь от страшного совпадения,

спросила она и добавила, усмехнувшись: — Нелепое какое-то название сделали! Ведь Ватерлоо — поражение, бессмысленный поступок, кажется. Ну, такое значение...

Маринка пожала плечами.

— Для кого как, наверное. — Взглянула на часики. — Времени уйма, на самом деле. Давай-ка, может, еще по бокальчику, и расскажешь, как у тебя. Я же о тебе вообще ничего не слышала. Да и никого года три как совсем не встречала. Представляешь?.. Ну, как ты-то живешь?

— Н-ну... — собираясь с мыслями, протянула Ирина. — Закончила универ, биохим, теперь сижу на рынке в лаборатории. Товар на нитраты проверяю.

— Неплохо, неплохо, — уважительно покривила губы Маринка, в то же время делая официанту новый заказ.

— Да ну — зарплата смешная, и работать не хочется. Три дня в неделю торчу там с утра до обеда... видимость создаю.

— А муж кто у тебя? Как зовут?

Эти простые вопросы снова сбили Ирину, взбаламутив в голове массу ненужных сейчас, тягостных мыслей. Захотелось, так потянуло обо всем честно, во всех мелочах рассказать, пожаловаться, спросить совета. Маринка может сказать что-нибудь дельное... Она знает... «А мужа как такового нет. Только штамп в паспорте», — оформились уже первые фразы. Но какая-то новая, неизвестная сила заставила Ирину сделать тон бодрым, почти высокомерным:

— Муж, Павел, — художник. На полтора года старше меня. Портреты всяким шишкам рисует. Мастерская у него отдельная, с такими вот зеркалами. Очередь. Работает медленно, правда, зато не как нынешние — лишь бы намазать. Поэтому и гонорары нормальные.

Маринка, поверив, опять уважительно покривила губы:

— Молоде-ец! Я всегда, кстати, творческих уважала. У таких в жизни хоть смысл настоящий есть. А когда еще платят за это...

— Ой, Мариш, сколько бы ни платили, а денег все равно нет... Ему надо материалы высококачественные, краски самые лучшие, холст... Дача зимой вот сгорела, теперь восстанавливаем. Сын растет... Родители немолодые уже...

Наверное, благодаря все той же «Отвертке» или, скорее, вранью про мужа, обычным женским жалобам — таким обычным и таким женским — Ирина почувствовала себя свободнее; она оказалась на равных с той, что всегда пугала ее, была ей непонятна, недостижима; с той, которой она против воли и здравого смысла завидовала.

— Так бы можно было, конечно, пошире жить, поразнообразней, — говорила и говорила, не могла уже остановиться Ирина, — но, понимаешь, для меня семья, муж, родители, дом вообще — это... Только не смейся, пожалуйста!.. Это, Мариш, святое... Сегодня вот ты предложила, а я испугалась и, конечно, отказаться первым делом хотела. Куда я без мужа? Как сына в саду на ночь оставлю? Родители с работы придут, а ужина нет... Извини, я так не могу... — Она сделала паузу, точно размышляя, взвешивая свои слова, на самом же деле наблюдая за реакцией Маринки.

Та заметно понурилась — задумалась, наверно, о своей не очень-то правильно прожитой молодости.

— Но... спасибо огромное, что пригласила. — Ирина с чувством, крепко пожала лежащие на столешнице пальцы Маринки. — Ты права — надо иногда развеемся. Хм, выпрячься... Ничего страшного... На рулетке вот сыграть!..

— А ты умеешь? — Маринка спросила каким-то тревожным голосом.

— А чего там уметь?! Поставила фишку на определенный номер и сиди следи, куда шарик закатится. Если в ту ячейку, где твой номер, — фишки тебе, а если нет, то, значит, фишка, прощай... Мы когда с Павлом ездили прошлой весной в Петербург, заглянули там в одно казино. Сыграли маленько. Так, для смеха...

Когда пришло время уходить, она долго, чуть не до ссоры спорила с Маринкой, кому платить за коктейли. Она была уверена, что денег у нее полный кошелек, и уверяла в этом свою бывшую одноклассницу... Сошлись на том, что заплатят поровну. Получилось — по шестьдесят рублей.

На улице, приобняв Маринку за талию, с удовольствием вдыхая ароматный весенний воздух, Ирина тихо, но уверенно предложила:

— А давай, слушай, юношей с собой зацепим. Каких-нибудь посимпатичней. Чего мы одни, как монашки? — И повысила голос: — Отмечать так уж отмечать! А, Мариш, давай?

Мягко, снисходительно улыбаясь, Маринка поддерживала покачивающуюся, раздухарившуюся уточку.

Александр Мызников

Есть у сердца музыка немодная...

* * *

Осуществленья краткий миг
той краткостью и драгоценен.
Спокоен греческий стратиг —
план битвы прост и совершенен.

И за ночь развернется лист
зеленым клейким огонечком,
как маленький парашютист,
навстречу завтрашним листочкам,

Как первый прилетевший грач
свою вытягивает шею,
как вставший полковой трубач
спокойно смотрит на траншею, —

так пристально и тяжело —
судьбы жестокое мельканье...
И если все предрешено,
и замысел, и окончанье,

и матерей военный плач,
и крест на шею генерала,
пусть даже упадет трубач
в дыму, не доиграв сигнала, —

дымятся жгучие снега
и движется в потемках влага,
и держит рыба берега,
и корни держат край оврага.

Вино крепчает в погребах,
гниет и стелется валежник,
и сквозь глазницы в черепах
стремится к воздуху подснежник.

Поэт восточный тайный знак
на берегу песчаном пишет.
Зеленый океанский мрак
вбирает все и грозно дышит.

* * *

Приснится запах материнских рук,
аллея золотая встрепенется.
Надкрылья звонко поднимает жук
и улетает до весны на солнце.

И льются синева и тишина,
как молоко из старого кувшина.
Вино мое, а может быть, вина
из той воды растет неудержимо.

И превращенью ты сегодня рад,
преодолев сомненье и молчанье.
И на тарелке яблоки лежат,
не ветка снится им — ее качанье.

* * *

Говорила мне о снегирах,
о садах, о ветреной погоде.
Замерзали капли на цепях,
век и осень были на исходе.

Собирали наш понтонный мост
в ржавую нелепую гармошку.

Опустевших и лохматых гнезд
тишина касалась понемножку.

...Можно прошвырнуться до реки —
катерок уходит на Алексин, —
но волна качает поплавки,
мир земной и страшен, и чудесен.

Ты у самой музыки постои,
 что звучала то нежней, то резче,
 оставляя контур неземной
 той любви как нереальной вещи.

Только чудеса и решето
 все в последнем, уходящем свете.
 И стихи, которые никто
 не читает в областной газете.

* * *

Марине

Полетело легкое, высокое
 крылышко мерцающего дня.
 Луковое горе одинокое,
 ни о чем не спрашивай меня.

Скрипочка неловкая пиликает
 в музыкальной школе вечером.
 Голову закинешь — и курлыкают,
 улетают тонким уголком

журавли — и чистая, холодная
 неизвестность гонит облака.
 Есть у сердца музыка немодная,
 как-то пережившая века.

Есть у сердца траурная музыка,
 так неотвратима и бела,
 что звучит спокойно и неузнанно
 и уходит ночью в зеркала.

Те, в которых ты еще не старишься,
 или время в них уходит вспять.
 В детстве перед ними ищешь варезки.
 И никак не можешь отыскать.

* * *

Что с того, что этот мир не ласков?
 Помнит Бог о глупом чуде,
 снова хочется катиться на салазках
 за веревочкою в папиной руке.

И смотреть на синие витрины,
 чистый снег калошкой грести,
 башенки, деревья, магазины —
 это все, что хочется спасти.

Может быть, вся красота земная
 у парнишки в белом рюкзаке,
 все тепло тропического края
 у замерзшей нищей в кулачке.

Бесполезны звуки песнопений,
 на смычок попробуй, обопрись,
 про тебя в мешке для угешений
 угешений может не найтись.

Но играет легкая и нежит,
 и гуляет ветер ледяной,
 но каким-то чудом снова держит
 и приподнимает над собой.

* * *

Мы живем в спокойные времена,
пригорает в мисочке молоко.
Если даже где-то идет война,
то от нас достаточно далеко.

Только глухо на стенке стучат часы,
только месяц улыбочивый над окном.
Если время и бросит нас на весы,
то случится это потом, потом.

Что же, девочка, ты собралась в Иркутск?
Никакого Иркутска на свете нет,
да и рифмы нет — бездорожье, schmutz,
но сквозь веки розовый льется свет.

И зачем воскресенье растет взамен,
где травы могильной так дивно цвет,
шелестел напев? — как сказал бы Бенн,
ну а после кто-нибудь перевел.

Московское

На Ленинградском вымерли трамваи,
очень скоро вырубят бульвар,
где майской ночью мне гулялось с вами,
где таял фиолетовый пожар,

и пахло молоком и карамелью —
элизиум, открывшийся на миг,
прощанье с переливчатым апрелем,
метро «Динамо», «Сокол», «Большевик».

...Дворец Петровский тень шагами мерит,
огонь в камине тягостно поет.
Москва слезам по-прежнему не верит,
и император понапрасну ждет.

Теперь пора разору и пожару —
и с четырех сторон идет пожар!
И лишь Григорьев, прихватив гитару,
его не видит, погоняя в «Яр».

Лает собака

Если лает собака, значит, что-то кипит на огне,
Значит, вечер синее в осеннем квадратном окне,
И поет половица, молчит одинокая дверь.
Если лает собака, значит, нет и не будет потерь

На текущей войне или просто в домашнем быту,
Значит, кто-то кастрюлю опять водрузит на плиту
И разделит краюху, скользнув по тарелке ножом.
И никто нам не нужен. Да и, впрочем, никто не пришел.

Если лает собака, то ночь очень скоро пройдет,
Как пройдет стороной тонконогий ночной пешеход,

Как проедет по лужам фортуны твоей колесо,
Так пройдет этот дождь. Так, наверно, пройдет это все.

Если лает собака, то осень опять на дворе,
Так иди поклонись темноокой унылой поре.
На крыльце, прислонившись, ночным привиденьем постой.
Всходит в кадке луна. И твой пес переходит на вой.

* * *

Июнь в дождинках-изумрудах
И в птичьих перьях. По утрам
Дрожат дома, звенит посуда,
Идет рассылка телеграмм

По адресам давно любимых,
На имя старых и больных.
И очереди в магазинах,
И гам в прокуренных пивных —

Все в этом мире как обычно,
И даже эти облака,

Как незакрытые кавычки,
Как незабытые века.

Кричат свое магнитофоны,
На пристани разносят чай,
Перекликаются паромы,
Но к нам не едут — не встречай.

И только рыбу удят злые
Отцы задумчивых ребят.
Где из запруды водяные
На них внимательно глядят.

* * *

Где ласточки летят со стрех.
Где заржавевший рукомойник,
Где укороченный морпех
Похож на школьный треугольник,

Твоя подруга как секрет
Расскажет мне, что ты в порядке.
...Вот ты зашла за турникет,
а сын твой едет на лошадке,

и карусель летит, летит,
все начинается с начала,
и проплывает рыба-кит,
и горбунок, а толку мало.

И ты качаешь головой,
И сыну погрозила пальцем,
Но если можно покататься
Нам против стрелки часовой,

То сочинителю меня
И нас с тобой скажу: не надо.
Пусть пересотворит прохладу
Того сентябрьского дня,

И даст другим преступный шанс.
Не требуй нового восторга.
И без того нам слишком много.
Поныне ослепляет нас.

Галимьян Зинатуллин

Смерть, которой никто не заметил

Рассказ

Это был его последний и единственный шанс выжить. По крайней мере так он думал и, в общем-то, был прав. После того как строительный кооператив, в котором он работал каменщиком, из-за отсутствия заказов и денег развалился, а потом и самоликвидировался, рабочие оказались на улице. Три месяца они не получали зарплату, и стало очевидно, что их всех жестоко обманули. Был среди них и Амир Даутов. Его сожительница Катя, узнав обо всем, закатила истерику и указала ему на дверь, угрожая милицией. Амир не собирался возражать или уговаривать подругу: упрекать ее в неблагодарности или цинизме было бы несправедливо. Катя трудилась на текстильной фабрике ткачихой и на свою зарплату должна была кормить-одевать дочку-школьницу, содержать себя, платить за квартиру, а тут в последние месяцы, пусть и невольно, на ее шее оказался и сожитель. Не захочешь — заголосишь. Амир это понимал и потому довольно спокойно воспринял еще один удар судьбы. Их добровольный, официально не зарегистрированный союз не был ни серьезным, ни перспективным, как это чаще всего и случается в нынешней жизни, при первом же настоящем испытании он готов был рассыпаться, как картонный домик, что и произошло. Так что двухлетняя совместная жизнь под одной крышей пришла к закономерному и логичному финалу. Никакой семейной драмы и даже неожиданности для них в подобном исходе не было.

Но чтобы проникнуться отчаянным, безысходно-тупиковым положением Амира, надо сказать, что в Барнаул он прибыл из Махачкалы, столицы Дагестана, и рассчитывать на чью-либо помощь не мог. А на Алтай тем временем пришла настоящая зима: на улицах лежали снежные сугробы, ударили первые морозы. И вот в эти-то горестные минуты, собирая нехитрые пожитки в дорожную сумку, привезенную два года назад с юга, вконец расстроенный и придавленный неприятными сюрпризами переменчивой судьбы Амир вспомнил про Назарбека. И сразу решил рвануть к нему. Другого выхода не было.

С виноватым видом он попросил у Кати десять рублей на дорогу, которые она дала с откровенным облегчением. Они сдержанно-равнодушно простились у порога, не сказав друг другу ничего особенного и запоминающегося, и расстались навсегда.

Амир двинулся прямо на железнодорожный вокзал и в тот же день вечерним поездом выехал в Кулундинский район. Сидя у замерзшего окна в переполненном неуютном общем вагоне, он вглядывался в ночную декабрьскую мглу, где по бескрайним голым степям носился пронизывающе-ледяной ветер, швыряя в застывшие стекла вагонов колючий, жесткий снег, а в мелькавших за окном полустанках и селах текла чья-то чужая невидимая жизнь. Впрочем, погруженный в свои тоскливые, безрадостные мысли, Амир обращал мало внимания на окружающее.

Впервые за тридцать один год жизни он попал в такой жестокий переплет. Два года назад он приехал на Алтай с бригадой земляков-дагестанцев в надежде подзаработать. Круглый сирота, Амир надумал жениться. Невеста из бедной многодетной семьи была согласна на самую скромную, негромкую свадьбу, но все же выложить тысяч десять жених был просто обязан. Потому-то, обговорив ситуацию со своей избранницей, Амир и подался на весенне-летний сезон в Алтайский край. Как и его земляки, он был уверен, что поездка оправдает себя и они вернуться домой со звонкой монетой. Кое-кто из них прежде уже бывал в этих местах. По их заверениям, при благоприятном

раскладе и везении шабашка на алтайских просторах приносила хороший доход, и каждый из них верил в успех задуманного предприятия.

Но с первых же дней пребывания на алтайской земле стали возникать неожиданные препятствия. Вначале никак не могли подобрать подходящий объект: попадались то слишком маленькие для десяти человек, то, напротив, чересчур большие — за один сезон не управиться. А когда вроде бы наконец подфартило, отыскали недостроенную ферму и председатель совхоза даже пообещал заплатить, как если бы ее возводили с нуля — лишь бы к осени загнать скотину под крышу, — началось невообразимое. Мало того, что был потерян месяц после открытия строительного сезона и, чтобы наверстать упущенное, им следовало каждый день ценить на вес золота, так бригаду залихорадило! Вначале один по пьянке сломал ногу и, после того как ему в местной больнице наложили гипс, вместе с братом укатил домой. Чуть позже на них «наехала» упившаяся брагой сельская доморощенная шпана, о шумной и кровавой драке узнала районная милиция. Бригаду взяли на заметку, всех — по двое, по трое — вызывали на допросы, интересовались прошлым; желтый милицейский «Жигуленок» чуть не каждый вечер подъезжал к школе, в которой поселили кавказцев, — искали наркотики. Словом, рабочей атмосферы, на которую они рассчитывали, ни вокруг, ни внутри строительной артели не получилось. Но последний гвоздь в крышку гроба забил их руководитель, самый старший по возрасту и самый опытный, плотник Али Булатович: получив из дома телеграмму о смерти отца, он тут же уехал. Обещал через пару недель вернуться, но так и не вернулся. Без вожака совсем упала трудовая дисциплина, а получив аванс, парни вовсе загуляли и за неделю разбежались кто куда.

Амир с приятелем отправился на электричке в областной центр Барнаул. Здесь буквально на второй день по приезде он случайно познакомился с Катериной. Случилось это в огромном многолюдном помещении главпочтамта, куда Амир зашел написать и отправить короткое письмоце невесте в далекий аул. Однако знакомство с молодой русской женщиной круто изменило судьбу Даутова. Поняв, что шабашка прогорела, Амир с легким сердцем покинул оставшихся четверых земляков и спустя неделю перебрался к Катерине — решил попытать счастья в городе. Ему удалось устроиться в один из многочисленных строительных кооперативов. Невесте написал длинное путаное письмо, из которого было ясно только, что бригада распалась и он перебрался в город, что возвращаться домой без денег не может, что свадьба откладывается на неопределенный срок и, если за это время к Фатиме — так звали его девушку — кто-то посватается, она вольна сделать выбор, Амир на нее в обиде не будет. Естественно, он утаил, что живет теперь с русской женщиной.

Поначалу дела в кооперативе шли хорошо, и Даутов, отдавая часть денег Кате, даже смог открыть счет в ближайшей сберкассе. Однако вскоре стало ясно, что и при наилучшем раскладе его заработка не хватит, чтобы за год-другой накопить сумму, необходимую для свадьбы. Это было просто нереально. А спустя полгода Фатима известила его, что выходит замуж, и попросила прощения. Хоть Даутов и был внутренне готов к такому повороту событий — сам же благословил невесту на подобный шаг, — сердце у него сильно заньло, и он загулял, словно кому-то в отместку. В течение месяца все его сбережения ушли на подарки сожительнице и ее дочке, на рестораны, на поездку с Катей в Алма-Ату, где они неделю прожили в одном из самых дорогих отелей.

А когда деньги кончились, залихорадило кооператив, в котором он трудился. Сначала зарплату худо-бедно выдавали, хотя и не в том размере, что прежде, потом маленькое предприятие с гордым названием «Альянс» обанкротилось и рабочие оказались на улице с пустыми карманами.

...Теперь все это осталось в прошлом — в отрывочных, далеко не радужных воспоминаниях. В них-то и был погружен Амир, сидя у морозного окна переполненного вагона. Он не ведал, что ожидает его у Назарбека, тоже дагестанца, с которым познакомился летом в барнаульском ресторане. Назарбек настойчиво звал его тогда к себе, в Кулундинский район, где его бригада занималась строительством овечьих кошар и хорошо зарабатывала. По его словам, они собирались остаться на зиму в сибирском селе, чтобы вкалывать без перерыва и за два года привезти домой неплохой куш. Тогда же он написал Амиру подробный адрес. Разговор состоялся в июле, а теперь на дворе стоял лютый декабрь.

Поезд прибыл на нужную станцию в шесть утра. Опустошенный, не выспавшийся и голодный, Амир вышел из теплого вагона на безлюдную привокзальную площадь и, расспросив о местонахождении автовокзала, двинулся по пустынной улице мимо деревянных изб с темными окнами — городок еще спал. Под ногами Амира, словно

подчеркивая его одиночество и сосущую тоску, монотонно хрустел снег. Морозное небо с дрожащими звездами, расстилающийся над мгlistой степью холодный покров еще не предвещал рассвета. Ночь нависала над его головой, в ночь была погружена и душа Амира. В помещении автовокзала было так же голо, неудобно и холодно; десятка два пассажиров сидели на лавках. Амир купил билет и, примостившись на жесткой скамье, равнодушно уставился в одну точку. Торопиться было некуда. Ему припомнилась старинная русская песня с грустными, щемящими словами:

Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить.
Мне некого больше любить.
Ямщик, не гони лошадей.

Впервые он подумал, что эта песня — о нем. И ему стало до слез жалко себя, свою неустроенную судьбу, своих покойных родителей, не виноватых в том, что оставили его на свете одного.

Через час объявили посадку на его рейс, и Амир забрался в старенький автобус, набитый громкоголосыми грубыми сельчанами. Дорога оказалась долгой и утомительной. В указанное на бумаге село, которое было конечным пунктом маршрута, прибыли во втором часу пополудни. Выйдя на занесенный снегом пустырь, Амир стал озираться, не зная, куда идти, и, увидев неподалеку столовую, вспомнил, что с утра не ел. Тщательно, с каким-то безотчетным страхом выгреб из кармана пальто оставшуюся мелочь. Шестьдесят семь копеек — все, что осталось от Катинной десятки. Секунду-другую он угрюмо взирал на свою мозолистую ладонь, в которой лежало несколько желтых и белых монет. «Умирать, так хоть на сытый желудок», — почему-то подумалось ему, и эта нелепая мысль не показалась ни страшной, ни смешной.

Поев и даже согревшись от дешевого обеда, он вышел на улицу. Подкинув на ладони оставшийся пятак, Амир широко, по-мальчишески размахнулся и запустил монетой в тусклый диск солнца, низко висевший над далеким степным горизонтом. Все! Теперь он полностью свободен от величайшего зла, ради которого люди совершают подвиги и преступления, идут на жертвы и авантюры, воюют и убивают, обманывают и подкупают, которому поклоняются и от которого зависит все на этой земле. Дагестанец Амир Даутов отныне не имел к этому никакого отношения.

Навстречу попался мужик в овчинном тулупе, с сигаркой в зубах. Амир обратился к нему:

— Можно, я спрошу у вас?

— Попробуй, — весело отозвался прохожий и с готовностью остановился, внимательно разглядывая Амира.

— Здесь, в вашем селе, должны работать кавказцы, — сказал Амир. — Летом они ставили тут овечьи кошары. Где они живут, не подскажите?

— А-а, — понимающе протянул мужик, вынимая сигарку изо рта. — Да, работали вроде какие-то ребята на ферме, только что-то их сейчас не видно. А жили вон в той стороне... — Сельчанин повернулся спиной к Амиру и показал рукой вдоль улицы, которой не было видно конца. — Пойдешь по этой дороге до поворота, это где-то с километр, потом свернешь налево и топай прямо к фермам. Там, на окраине села, увидишь большой дом, на отшибе стоит, вот там они вроде и жили. — Мужик выжидающе посмотрел на Амира и добавил: — Только, кажется, твои земляки уже уехали, брат. Что-то их в последнее время не видать.

— Спасибо, — кивнул Амир и двинулся по широкой деревенской улице, закинув за спину дорожную сумку. Навстречу изредка ленивой рысцой трусили лошади, запряженные в сани, в санях сидели возницы с раскрасневшимися от мороза лицами. Проехал грузовик, дымя и смердя солжаркой. Весело щебеча о чем-то своем, с беззаботным громким смехом пробежала группа школьников. Две пожилые женщины с раздутыми хозяйственными сумками прошли медленно, оценивающе глядя на него и сразу угадав пришлого. Здесь тоже шла своя жизнь, подчиненная собственному укладу и ритму, и здесь тоже никому не было дела до молодого кавказца, шагающего по широкой зимней улице, до его нештучных проблем.

Через сорок минут Амир миновал последние дворы, обошел ферму и оказался за околицей. Метрах в двухстах, возле рощицы молодых тополей, стояло деревянное здание с пристройками. Видимо, это и был тот самый дом, о котором говорил встречный мужик. Амир вздохнул и направился туда. Тут, на открытой местности, мела поземка, такая ледяная и колючая, что у Даутова перехватило дыхание. Он низко

опустил голову, но снег все равно засыпал лицо, слепил глаза. Идти было тяжело, он поворачивался то боком, то спиной к ветру. Короткий путь показался невероятно долгим. Еще подходя к дому, Амир понял, что в нем никто не живет. На обеих дверях висели большие черные замки, высокое крыльцо было завалено сугробом, несколько окон — забиты фанерой, на всем лежала печать заброшенности и безлюдья. Даже если летом тут действительно обитали веселые и работающие земляки Даутова, теперь о них ничто не напоминало: никаких забытых вещей, никаких следов человеческого присутствия. Низкая покосившаяся ограда, поваленные стропила полуразобранной крыши дополняли печальную картину мертвенной пустоты.

Ветер дул с прежней яростью, швыряя в лицо пригоршни жесткого снега. Амира начал пробирать холод. Он зашел за дом, где было потише, опустил сумку на снег, сел, закурил.

...Раздувшийся до неузнаваемости и почерневший труп кавказца был обнаружен только в мае, сельскими мальчишками. Кавказец повесился на тонкой, но прочной бечеве, которая, видимо, была у него с собой. В кармане пиджака лежали документы на имя Даутова Амира Хасановича, уроженца дагестанского аула. Местные власти, посоветовавшись с органами милиции и главным врачом села, решили тело предать земле, а документы выслать почтой по месту прописки, сопроводив их официальным заключением о самоубийстве.

Никакого ответа из Дагестана не последовало.

Борис Хазанов

Третье время

Повесть

Tes cheveux, tes mains, ton sourire rappèlent de loin
quelqu'un que j'adore. Qui donc? Toi-même.

M. Yourcenar. Feux¹

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жилье, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе и бумага ждет других слов. Но нет, это все те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, которое стоит на столе — и требует особого описания, пока о нем окончательно не забыли, — представляло собой с инженерной точки зрения регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим предком, а именно, сэкономило дефицитный керосин. Уничжительное название «коптылка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

Проще говоря, это была все та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторенного в темном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей — к ним следует отнести прошедшие годы, — это тот же персонаж, который по сей день предается тому же занятию, описывает комнату, архаический осветительный прибор и склоненного над тетрадкой недоросля. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, словно зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в этот момент его застает наше повествование.

Желтый огонек в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые черные останки, труп таракана в чашечке горелки. Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остается перечитать, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину. Остается сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из употребления, письма сворачивали треугольником. Он, однако, сам склеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов насекомого, тем сильнее поет и зудит восторг небывалого приключения. Чувство, которое испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встает. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.

Грезы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далекого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное. Все изменилось, разве только лес и река под темным пологом туч остались как прежде; и мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; пытаюсь подселить новые впечатления к тому, что живет в памяти, мы совершили бы насилие над собой, надругательство над памятью, которая попросту не верит в обветшалую действительность и не желает ее признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

¹ Твои волосы, твои руки, твоя улыбка напоминают мне издали кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. *Маргерит Юрсенар. Огни (фр.)*.

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке, взъерошенный вид; перед тем, как дунуть на огонек, он видит в окошке свое лицо, освещенное снизу, как у преступника. Он выходит из дому, вернее, сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день еще будет стоять перед глазами. С него, похоже, все началось. Она шагала в полушубке, в платке, из-под которого выбились ее пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких черных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая в такт шагам, от бедра в сторону. Все эти мелочи... прежде он не обратил бы на них внимания. Когда он догнал ее при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чем говорили, забылось, остался звук ее голоса, морозный румянец, ослепительный день; и то, как она шла — легко и уверенно ставя ноги в валенках по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, какие в то время носили все женщины; шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводу, снова шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

В этот день что-то случилось; но когда же началась эта история? Всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, — и всегда другая, оттого что «факты» разбухают подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фата-моргана, стоит над всеми событиями. Ибо, как уже сказано, ничего в памяти не меняется, ни лес, ни дорога, по которой она шагала, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Все как прежде, и если бы через много лет по неслышанному стечению обстоятельств мы увидели ее снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха — это и есть она, возмущенная память отшвырнула бы ее прочь.

В который раз воображая все сызнова — для чего не требуется усилий, достаточно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонек на столе, перо, называемое «селедочкой», с загнутым кончиком, и тотчас придет в движение весь механизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. Все просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение. Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повествование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не является. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-никак он сам, был «я». Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому входить не положено. Говоря «я», невозможно отделить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего.

Литература приходит на помощь, находит выход, пусть конформистский, рабский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости глагольных форм, условности местоимений, а значит, и к зыбкости точек зрения; литература говорит: не доверяй «ему», на самом деле это я, скрывшийся под личиной повествователя; но не полагайся и на «меня», ибо это не я, а некто бывший мною; не верь вымыслу, единственный вымысел этой повести — то, что она притворяется выдумкой; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле «я», как и «он», — не более чем соглядатай.

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — окончательно утвердилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем фантастичней были его представления об этой профессии, тем прочней была эта уверенность. Предвкусение этой судьбы давно давало себя знать — в ту баснословную старину, обозначаемую словами «до войны» и от которой подростка отделяло расстояние такое же, как от юноши до дремучего старца. Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное и даже еще лучше — когда она появилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснитель-

ные титры, как было принято в настоящем кино. *Это случилось в Париже в один из теплых летних вечеров 193... года.* Его литературные амбиции распространялись на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, ученые трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Все стало литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды переломилась от пола до потолка, и чье-то лицо, освещенное снизу, подглядывает в окне. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под темным небом в оловянной ночи он брел краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parlant sans parler*, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит в полубреду, во время карнавала, *sans responsabilité, ou comme nous parlons en rêve!*. Разумеется, подросток никогда не слышал об этой книге. Но в конце концов все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала в коридоре инфекционного отделения, называемого заразным баракком, на топчане рядом со столиком для дежурной сестры, накрыв ноги казенным одеялом, ни о чем не подозревая.

Но когда все-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из первых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больницы обслуживания, две-три женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что было больно смотреть. И кто-то уже сходил босиком, придерживая подол, к узкой песчаной полоске, а вдали, на темно сверкающем просторе, вдоль кромки противоположного берега длинная черная баржа тянулась следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название в полукруге над пароходным колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение ничего не значащему, мимолетному эпизоду, что посмотрим на него из будущего? Зная о том, что было позже, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, — а ведь, может статься, на самом деле ничего такого и не было.

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперед, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белая круглыми плечами, в воде до начала груди стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как ее звали, с еще не отросшими волосами. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях? Конечно, ту, которой стала позже.

Или, может быть, не тогда, на реке, когда она стояла, шурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, еще слабая, круглоголовая, сама похожая на болезненного крупного мальчишка, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавать, — а еще раньше зародилась эта история, в день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатуллина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке ее наголо остриженная голова? Разве (думал он) вспомнилась бы ему занавеска, бледное лицо с закрытыми глазами, не будь всего, что случилось позже? Слишком часто оказывается, что память — не летописец, а беллетрист; память вкладывает в события профетический смысл и придает им литературную завершенность, превращает незначущие впечатления в события, возвышает случай в ранг судьбы.

В эти дни, после разгрома под Харьковом, армия панически отступала. Повторился кошмар молниеносной войны. Враг неся по степным просторам к Дону, после чего, согласно безумному замыслу фюрера, войска, наступавшие в южном направлении, прорвались к Кавказу. Горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили в каменную расщелину красное знамя с белым диском и свастикой. Другое полчище

¹ Говоря, не говорить... ни за что не отвечать, как мы говорим во сне (*фр.*; Т.Манн. Волшебная гора).

устремилось к излучине Волги. Когда завоеватели увидели бесконечную, залитую солнцем водную гладь, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. Город на реке был окружен с трех сторон. В Виннице, в новой штаб-квартире, фюрер изнывал от украинской жары. Город на Волге нужно было взять во что бы то ни стало. Вождь в Москве, никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: ни шагу назад. Город удержать во что бы то ни стало. Эвакуация гражданского населения была запрещена. Армия Чуйкова схватилась с завоевателем. Две трети развалин с их обитателями были уже в руках врага. В подвале универмага на площади Героев революции, перед телефонными аппаратами и картой города, с дубовыми листьями на воротнике и Рышарским крестом на шее, сидел главнокомандующий. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Река, вся в пламени, стояла перед глазами и оказалась недостижимой. Город удалось отстоять, но его уже не существовало. Это была война, в которой победа была в конечном счете такой же катастрофой, как и поражение, когда героизм, страх, самоотверженность и звериная жестокость обесценили все остальные чувства и перечеркнули культуру. Война разрушила все и всех, разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал; выпотрошила души людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

Мальчик слушал военные сводки, из которых можно было узнать, что одна победа следовала за другой; и когда армия оставила Украину, была оттеснена к Кавказу и отступила к Волге, то, хотя об этом и можно было догадываться, даже привыкнуть, как раненый привыкает к тому, что лишился обеих ног, но и теперь, отступая, оставляя кровавый след, получалось, что армия только и делала, что одерживала одну решительную победу за другой; так, непрерывно побеждая, она оказалась прижатой, как к стене, к берегу Волги; но тут кое-что в самом деле переменялось.

В ста пятьдесят километров от города части, незаметно подтянутые с фланга, применили тактику, заимствованную у врага. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке. В прорыв устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. Над половецкой степью пошел снег. В темноте танки подошли к станции Калач и включили фары перед мостом через Дон. Окружение завершилось на пятый день. Фюрер запретил попытки прорвать с боями кольцо, что означало бы отступление; оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Красная Армия потеряла два миллиона солдат. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось 90 тысяч, после войны из плена вернулось шесть тысяч. Лизель из Аахена послала слезное письмо девятнадцатилетнему гренадеру Рольфу Бергеру, зачем он сделал ее такой несчастной, она не вынесет позора: все смотрят на ее раздувшийся живот. Мать написала сыну, что она знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», письмо (успешнее вернуться, как и письмо Лизель, со штампом «Пал за Великогерманию») было написано при свечах в подвале разбомбленного дома. Сотни мешков с письмами были сброшены с самолетов в распоряжение окруженных войск и валялись в снегу. И снова...

Снова эта дорога, мглистое пространство сна, армада туч, темных на темном. По правую руку берег, невидимый, не отличимый от запорошенной снегом реки, по левую руку холмы, замороженные леса и где-то там между деревьями лыжный след на крутизне, сейчас не различишь. Пристыженный рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, щурясь от солнца, между елями, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. Мальчик спешит по ночной дороге, стало жарко от быстрой ходьбы, он стащил с головы шапку, вытер шапкой потный лоб, расстегнул пальто, он шагает, марширует налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мерзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отступают, уходят во тьму леса и овраги, все ближе редкие огоньки, подросток бредет по безлюдной улице, еще шагов полтора, еще каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель самодельный конверт, он медлит, мгновение, и он скользнет, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик представил себе, как утром по пути в школу он еще успеет перехватить почтальонку, как ее здесь называли, представил, как она роется в сумке, я передумал,

скажет он и сунет письмо в карман. На другой день, подходя к школе, он думает о том, как она бредет в теплом платке, в кашавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхленной крутизны в просвете елей — след его падения, уже запорошенный снежком. И вот уже видны дымки из труб, больничный поселок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, взбегая на второй этаж деревянного здания школы, сейчас она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на свое место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, — сейчас она шагает мимо конюшни.

Направо за воротами желтая от навоза и конской мочи площадка, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, бревна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала. Вестник в юбке и кашавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за перегородкой, с занавеской вместо двери проживала и Нюра в те далекие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом поселилась Маруся Гизатуллина, она-то всегда ждала писем, и мать подростка ждала писем, но почтальонка прошла мимо и остановилась перед следующей секцией. Кто-то выглянул, поговорили о чем-то; тетя Настя рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, воротилась на кухню и, держась рукой за поясницу, наклонилась подсунуть письмо под дверь соседки, все это он представил себе, как будто стоял рядом, но что если письмо затерялось? Старая тетя Настя плелась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных корпусов, мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, избушки из толстых бревен, с единственным слепым оконцем. И тотчас, ни с того ни с сего, эпизод, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, воскрес в его памяти.

Не считая главврача, завхоза да еще полусумасшедшего конюха Марсули, каким-то образом прибывшего к больнице, он был единственным представителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полужамужних сестер и санитарок, разумеется, тоже не в счет. Главный врач, человек с негнушейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где заведовал чем-то, и здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трех призывников с сомнительными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; за ними, следующим по рангу, шагал в баню завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в теплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а далее женщины, их было много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоем с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время казалось нескончаемым, как товарный поезд, — один месяц этогогозного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватало бы на целую книгу, — и, однако, мчалось вперед, словно экспресс, просто он этого не замечал, как пассажир, дремлющий в купе, не замечает расстояний. Из ребенка, каким его привезли в начале войны, он словно за одну ночь превратился в подростка. И уже неудобно было брать его в баню вместе с собой. И оттого, что время так несло, этот эпизод отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение — какого он, без сомнения, был лишен — могла только поздняя память, наделенная, как уже было сказано, свойством беллетризовать хаос жизни, манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое, в свою очередь, стало прошлым. Этот случай погрузился в легендарные времена. В те времена, когда Нюра еще жила через стенку от них и никакого волнения это обстоятельство не вызывало, женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы удостоить вниманием их, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое, линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осажденных городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы отгеснили все другие увлечения; словом, все это было еще до того, как Нюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, до того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и стриженная, босиком, в чем-то белом, вероятно, в ночной рубашке, смежив глаза под весенним солнышком, до того, как ее плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, и

до того, как в комнатке за стеной поселилась Маруся Гизатуллина с матерью, а Нюра перебралась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далеким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что с этого эпизода все и началось, что островок был не чем иным, как вершиной опустившегося на дно континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером мальчик все еще сидел в холодных сенях с заиндевелым окошком, дожидаясь своей последней очереди, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окруженное космами мокрых волос лицо Нюры, пахло влажным, гниловатым теплом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и еще чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, захлопнула за собой дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на крюках висели пальто, платки, стояли валенки, на лавках валялось белье. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебавшись, снял все остальное, толкнулся в забухшую дверь, толкнулся еще раз изо всей силы и ввалился в жаркий, желтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Гулкий голос окликнул его. Мальчик все еще не понимал, зачем его позвали, стеснялся своей наготы, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бедра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся, татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоем с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Темную ночь», и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звездочка упала», и что там еще, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двигалась с места.

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас ее придется вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе все тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, черносморидными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строга, словно на работе, вся розовая, полногрудая, в шлеме темно-русых, кое-как свернутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там... — И когда он толкнулся в тяжелую дверь, крикнула вслед: — Смотри, никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и все остальное, немедленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не оставалось тайной. Разве что не узнали, что он был там и помогал. Услыхав краем уха о том, что случилось, мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему самому; можно предположить, почему обо всем этом хотелось забыть: аборт (слово, точного значения которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было и чем-то аномальным, и вместе с тем целостно неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; все, что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нем отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последовало, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унесшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестящем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно;

оказалось — в тот момент, когда, сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно-единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивиться этому воспоминанию. Пробуждало ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чье совершенство, может быть, нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта в низу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, полногрудой и круглобедрой девушки-богини не мог связаться с Нюрой их совместного пути по скрипящему снегу морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с сережками в ушах, шурясь от пляшущих бликов, и ее круглые плечи и начало груди белели над водой, день этот, в свою очередь, ушел в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженствующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от нее отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворечник, он увидел человека в заброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на бревнах, сваленных Бог знает когда, еще до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил человек. «Рано еще», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Садись, чего стоять».

Солдат добавил:

«Вон какая лунища».

Потом спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось еще до призыва? Вытянув ногу, извлек из штанов-галифе серебряный портсигар, из кармана гимнастерки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара — все левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела на перевязи. «Куришь?» — сказал он, защелкивая портсигар. — «Давай, приучайся». Подросток свернул и стал слюнить сигарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднес зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, черным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живешь, среди баб? Небось какая-нибудь уже... а?.. А самому хочется?» — спрашивал он. — «Х... стоит? Ты извини, — пробормотал он, — это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит. — Он отобрал у него сигарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, съсypал остаток махорки в портсигар. — Женщины — это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на черно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по этой дороге брела старая почтальонка тетя Настя с тайным посланием. Конечно, письмо и все, что за ним последовало, было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счете все происходит одновременно. «Ну, я пошел», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, еще рано. Посиди со мной... Ты ее знаешь?» Солдат имел в виду, очевидно, Марусю Гизатуллину. Очевидно, не знал, что подросток проживает с мамой в этой же секции за перегородкой.

Он сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждет, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно вранье, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

«Адресок дал, велел привет передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Следовательно, это был не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще было непонятно, который из них муж.

Подростку казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но на самом деле только сейчас, слушая нового мужа Маруси, он уловил чудовищную связь событий, он понял, что кровотечение было расплатой за то, что происходило за перегородкой.

В середине ноября рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, это способствовало успешному продвижению: спустя две недели передовые части вступили в пригороды; двадцать, самое большее двадцать пять километров оставалось до центра столицы. Командир артиллерийского дивизиона, справившись по карте, увидел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз расшвирился, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно, в прецизионных прицелах ручных и станковых пулеметов замерзло масло. Пехота закопалась в снег. Ночные патрули расталкивали замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли на разбитых дорогах, теперь это была уже не грязь, а снежная каша. К концу первой недели декабря пришло утешительное известие: на Тихом океане японцы бомбардировали Пёрл-Харбор. Значит, Америка будет отвлечена и не сможет помогать англичанам в Европе. Рейх объявил войну Америке. Фюрер в Берлине отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий чуть было не покинул столицу в роковые дни октября, но теперь воскрес духом. Несмотря на потерю трех с половиной миллионов, сдавшихся в плен врагу, армия, пополняемая новыми резервами, численно превосходила рать завоевателей. После неслыханной, нигде и никогда не бывалой артподготовки армия двинулась вперед. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами. Умиравших было некому подбирать. И среди тех, кого некому было подбирать, лежал где-то у Наро-Фоминска, все еще живой, с раздробленными ногами, летний муж Маруси Гизатуллиной, тот, который дал адресок; и было это после того, как он гостил у Маруси, сколько-то недель спустя, и, может быть, в тот самый день, когда подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу, — продолжал солдат, — можно и на колесиках ездить. Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю бревнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд.

«Завтра уезжаю, — сказал он, — ночь переночую, и...»

Поближе всмотреться, описать ее, вспомнить, какой была она в ту минуту, четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутемную келью. Представить себе ночное бдение Фауста (только что прочитанного), свечу и пульт с толстой книгой, а в ней таинственный знак Макрокосма. Или нет — фильм, мятущийся огонек на экране, идут титры, музыка из «Бориса Годунова»: 1603 год, келья Чудова монастыря. Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, в полутьме зрачки сидящего, которые он переводит навстречу еле слышному звуку. Кто там, спросил подросток. Прежде чем войти, она поскреблась в дверь. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлое было репрессировано; время, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с ее мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему полумифическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого существа женского пола, время это прошло. Словно не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и остриженная, как мальчик, а позже переселилась в соседнюю секцию. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего; все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький поселок спал, экономя керосин, и только в двух лечебных корпусах, общем и родильном, и в заразном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дежурила в общем отделении, где помещались терапия и хирургия. Скрипнула тяжелая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и все стихло, словно кто-то не вошел, а вышел; должно быть, гостя медлила несколько мгновений и, совсем было решив, что все это ни к чему, приблизилась к его двери.

Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впав в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в накинутом на плечи коротком, до бедер, собранном в талии пальто на вате и белом платье с прямым вырезом, которое, скорее всего, было ночной рубашкой. Значит, она уже легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, — и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Но, похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябшая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что все это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещен коптилкой. Она вошла в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы еще не спите?» — пролепетала она, как бы в извинение за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломленные глаза уставились на нее. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок из дешевого меха. Не найдется ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, ее всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал: Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил мальчик. «Чего ж в нем красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас называть. Аня», — сказал он.

«А вы все не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Все учитеесь, так поздно».

Она хотела сказать: делаете уроки. А может быть, подразумевала другое: тетрадь, лежавшую перед ним, ведь это из нее был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало их и вместе с тем разделило; о котором ни слова, как если бы оно пропало, как если бы оставалось неизвестным, получила ли она письмо.

«Да нет, — пробормотал он, — какие уроки».

Еще не легли, все сидите, что-то в этом роде произнесла она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, было очевидно, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она пришла неспроста. Мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал мне... а знаешь ли, что я твое письмо действительно получила? Вот — как видишь, я пришла. Капли инея блестели на ее волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь — на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко, — подпернула пальто, ее глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Какие уроки», — пробормотал мальчик.

«Что же вы пишете?»

«Дневник».

Она обрадовалась этой возможности говорить о чем-нибудь, в конце концов можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и все, что он думает о людях.

Она снова поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела прядь волос, разговор, сперва напоминавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более или менее естественный характер, и письмо заняло свое место в распорядке вещей, показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нем. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к mine, зарытой в землю: «А мне?..» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, конечно, это был произвольный жест. Ее грудь слегка выдавилась из выреза рубашки. «А мне — можно почитать?» И много лет спустя — если представить это как фильм, как замедленную съемку, где мгновение бесконечно, — она все так же сидит в чаклом сиянии коптилки, сложив на столе обнаженные руки, опираясь на них, отчего ее груди стоят в вырезе платья или, может быть, ночной рубашки. Ее тень простерлась по дощатому полу, достигла кровати. Мальчик невольно взглянул на ее шею и ниже, тотчас же она изменила позу, сомкнула пальто на груди, другой рукой,

с колечком на пальце, подперла щеку ладонью, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, и словно приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Судоходство было главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, лишь два или три раза в жизни ей приходилось ездить по железной дороге. Как все ее сверстницы, она была озабочена тем, что ее время, время любви, проходит даром. Как многие девушки ее поколения и социального круга, она видела жизнь без прикрас, а с другой стороны, показалась бы ребенком девицам ее возраста, которые будут жить полвека спустя. Нюра Привалова еще не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в ее жизни.) То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило ее воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шепот, звучало в ее ушах. Письмо было от ребенка, и не стоило принимать его всерьез. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило ей голосом чревовещателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откровенном; что-то ворвалось в ее жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло ее над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот она постучалась в комнатку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но оказалось, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится еще увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем оказалось, что произнесенные слова мешают продолжению; тайна, не высказанная вслух, парализовала мысль о том, чем могло бы стать это продолжение; слова служат смазкой, которая застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, еще не понимали, что уголь, пышущий жаром, подернется золой, если его не раздувать.

Нюра была медсестрой и знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желез; знала, что жизнь проста и шершава и что мужчины хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Ему бы следовало родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обреченный вечному сидению перед лампадой, он унаследовал от неведомых пращуров культ молчаливого слова, он перенял их надменную застенчивость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и у него было только одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трех человек он был единственным мужчиной в больничном поселке.

Он не ответил на вопрос, можно ли заглянуть в дневник, и спросил, глядя на ее руку: из какого это металла? «Это дешевое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, все-таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. Дикое воспоминание на секунду представилось подростку, был такой случай: он сидел в отделении, где работала мать, в комнатке дежурного врача, и листал огромную книгу, подшивку газеты «Врач», целая кипа таких книг в твердом картоне лежала на шкафу. Глянцевые страницы, дореволюционная орфография, условия подписки, ученые статьи, письма с мест, хроника, смесь — он перелистал дальше, случай из практики. Десятилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства — и ему представилось, что он сам его насаживает, — доставлен с сильными болями из-за отека головки члена.

«Почитайте, — сказала Нюра, надевая кольцо, — что вы там написали».

Он помотал головой.

«Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

«Там ничего плохого нет, наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями пальца, у нее были довольно толстые, сужающиеся к концам пальцы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?»

Уставясь на огонек копилки, подросток покачивал головой и, конечно, не мог припомнить через много лет, о чем, собственно, были эти страницы. Должно быть, все о том же, об открытии, которое он ей поведал, так что, в сущности, ничего нового для нее там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Сама же тетрадка, сгинувшая вместе со всеми его сочинениями, серо-голубая обложка с линейками посередине: «по...» (вставить предмет), «ученика, ученицы», с римской цифрой, начер-

танной наверху, четвертый или пятый том дневника, — стоит перед глазами, словно еще вчера он сидел над ней перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он мог о себе написать, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадку никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от девственной барышни, как бы уже готовой сдаться. Он захлопнул тетрадь, как сжимают коленки. Они поменялись ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; ей хотелось услышать еще раз то, что уже было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать?»

«Нет, — возразил он. — Это правда.»

«Написали, наверно, Бог знает что. Вдруг ваша мама узнает?»

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Сердце заколотилось от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, оттого, что их уже связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Если такая мысль и могла прийти ему в голову, то додумать ее до конца возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встает вопрос, чего он, в свою очередь, ждал, чего «добивался».

Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, что он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, однако ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и площадной любовью не бывает так велико, ничьи романтические воздыхания не могут сравниться с целомудрием, с упоительным ханжеством подростка. Это была любовь, которая кормилась взглядами, одним лишь видом живой, реальной женщины, цвела и томилась, как тепличное растение, в лучах ее физической красоты и тут же отворачивалась от нее, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, все это не важно, я буду ее любить, даже если ее краса несовершенна, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чем она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. В конце концов, такая любовь могла дорости до того, что ее «объект» — женщина, какая она есть, во всей ее живой реальности, — становился уже чем-то малосущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг — кажется, там даже говорилось о «ночах, полных огня», — так что можно предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Нюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо — как и писательство — может быть в некотором роде самоцелью. Или, лучше сказать, никак не сумела бы удовлетвориться тем, что объяснение в любви уже было в определенном смысле осуществлением любви. Потому что все, что хотел автор, — это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и все; знать, что ее походка (а что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делали тысячи девушек), ее выпуклые серо-жемчужные глаза, пухлые губы, хрипловатый голос и самый звук ее имени, что все это — род наваждения: чарует, парализует и не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тоггенбурга. Женщина была польщена. Но с этой любовью нечего было делать. Такая любовь рисковала обесцениться именно по той простой причине, что с ней нечего было делать.

Как всякая в ее положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало еще связаться с младенцем, — или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределенному соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, если пишет такие письма. Перейти в открытое наступление она была неспособна, для этого она была слишком скована репрессивной моралью своего времени и круга, слишком порабощена, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе ее ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчета, и что робость мальчика должна соответствовать ее стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мать подростка дежурила

часто, через ночь); довольно было того, что, увлеченная бессмысленным разговором, забывшись — мы допускаем, что это произошло непроизвольно, — она склонилась над столом и ее груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Ей показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, робость и отвага руководили обоими — точнее, робость, неотличимая от отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — все сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось, что их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила их от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид — перед ним, перед самой собою, — что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться; в темноте она бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце барака, она возвращалась, медленно шла, опустил голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у нее горели Стожары, ее лицо казалось черным в ртутном сиянии звезд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутемных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, с околоченными ногами, неподвижные, печальные, словно брат и сестра, словно суженые перед тысячеверстной разлукой, не зная, что сказать друг другу, и когда наконец удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу «вы».

Но сны — проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза по крайней мере перекладывает на богов ответственность за все постыдное, что является воображению. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не подведомственных нам низин. Сны не то чтобы отрицали величие любви. Не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить с черного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, какой не бывает наяву. Они были совершенно одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма. Это было где-то в поле и в то же время на крыльце, вернее, в сенях, и мальчик силился что-то сказать, но то ли не мог выговорить ни слова, то ли она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел ее шевелящиеся локти, склоненный затылок, пока наконец не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо, чтобы отдать ему. Он хочет ее обнять, наконец-то наступил этот момент, она не дается, в конце концов ему удалось почти овладеть ею, он думает, что можно все совершить стоя, здесь же, в темных сенях, но за спиной у нее стоит тень, Нюра ее не видит и совсем уже как будто согласна, но он-то видит, что это тень Ченцова закрыла звезды в дверном проеме. Мерзкий сон! Вновь наступила оттепель, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришел в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он все еще вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделиться от сожаления о том, что сон, неожиданно прервавшись, оказался всего лишь сном.

Больной по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как однажды утром исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил сюда ходить?» Подросток держал на ладони завернутую в бумагу селедочную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с неестественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинок с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, шурясь от дыма, — даже два. Первое. Давай с тобой переведем заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как назло, в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измерение температуры, в сущности, было формальностью; при сдаче термометров по счету одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от больницы, если идти в сторону, противоположную райцентру, — все русские деревни

располагались вдоль берега, потому что казаки плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население в глубь страны, так объясняла учительница географии. Парень сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Человек этот показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лед покрылся водой. Ченцов сидел, весь посиневший от холода, на вмержшей в ноздреватый снег коряге, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не заметил приближавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без всякого сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьезно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у нее есть жених и она выйдет за него, когда он вернется с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лед только еще собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило во мраке, потрескивали сучья, кричала загадочная птица — и вот поднялось слепящее солнце, блеснули трубы, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеревшим снежным полем, между грязно-желтыми колеями с голодным верещаньем неслись, криво ставя короткие ножки с копытцами, трясая тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мерзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил ее за веревочку для подвязывания под подбородком. Все было кончено, или казалось, что кончено. Триумф свободы, избавление от изнурительной любви.

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» — спросил подросток.

Больной насупился, засопел, уставился на окурок и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? — медленно, перейдя на «вы», проговорил он. — Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем собеседника и продолжал вполголоса: «Надо дождаться, когда установится дорога».

«Дорога?» — спросил мальчик.

«А также судоходство».

«Судоходство?»

«Да. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха, можно без вызова; когда еще вызов придет... А кто вас, собственно, должен вызвать?» — спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признать, что писем нет с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», — объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он?.. Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Разумеется. Да, конечно. Ну что ж. Будет даже лучше. Отец вернется, а ты уже в Москве!»

Подросток сошел с крыльца. Ченцов снова поманил его пальцем.

«Это пока еще сугубо предварительный разговор. И сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани, — сказал Ченцов. — Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно договориться, чтобы нас взяли на баржу».

А там — прямой пугь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это еще лучше».

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток все еще молчал.

«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион! Еще бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностраннй легион на стороне генерала де Голля. Иностраннй легион воюет против Гитлера».

«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти место поудобней... — Стемнело. Они обошли с задней стороны длинный бревенчатый барак инфекционного отделения. — К тому же, как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не записаться ли мне, черт возьми, в Иностраннй легион! Я был здоров и молод. Но, знаете ли, с нашими порядками... Послушайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и ученых. Как я рад, что нашел в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: через какие-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольной Ивана Великого, дышим этим неповторимым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?..»

Ву здесь, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Сталина... О, не беспокойтесь, — говорил он, впуская подростка в комнатку, где стоял письменный стол, — здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зочка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек

Тяжело, знаете, все время в палате; хочется побыть наедине с собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили покинуть Москву, они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Но вы, наверное, тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слез, на этот дорогой город, на эти башни, Ярославский вокзал или, кажется, Савеловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, все смешалось. Люди дают друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные, все равно какие, вы этого не застали, и слава Богу... Вдруг все сорвались, все захотели уехать, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже, говорят, по Дорогомилловской идут танки, уже... не знаю, может, уже и в городе.

Вот, — сказал он торжественно. — Здесь все записано. Все, чему я был свидетелем. Для будущих поколений. *А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет!* Угадайте, откуда это?.. Правильно! Нет, нет, — замахал он руками, — не подумайте, что я тут... что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я признаю правоту... да, я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос...»

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрелчатым почерком с широкими промежутками между словами, — признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и раздвоенный язычок огня взметнулся в колбе, повеявая черной кисточкой копоти, уже оставившей полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа, роскошь тех лет, предусмотрительно направленная регистраторшей Зоей Сибгатуллиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*¹, — увы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, — представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни.

¹ Тайная, секретнейшая история (*лат.*).

На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовишной эпохи... Все этажи нашего существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому я здесь большое внимание уделяю моим собственным переживаниям, моей внутренней жизни. Что значит подлинное существование? Мой юный друг! — сказал вдохновенно Ченцов. — Меня назовут сумасшедшим, пусть! Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдает себе отчет. Мало кто осмеливается! Мы живем не в одном времени, вот в чем дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, мы существуем не в одном, мы существуем в двух, даже в трех временах».

Подросток слушал и не слушал. Подросток думал о легионе. Он писал о нем в дневнике. В Иностраннный легион брали всех. Не спрашивали ни документов, ни откуда ты взялся. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведет дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра. Теперь, когда он выздоровел от любви, он мог бы равнодушно и высокомерно, с легким сердцем сообщить ей кое-что под большим секретом; если быть честным, ему просто-таки не терпелось намекнуть ей об этом при первом удобном случае; он представлял себе ее ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с нее слово, что она не проговорится.

Большой устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор — словно потерял нить мыслей.

«Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках вообще целая куча времен, не об этом речь... Мы живем в трех временах. Объясняю. Во-первых, мы живем в историческом времени. Нам всем внушают, что мы живем в истории, мы, народ, мы, нация, мы, общество, и что будто бы даже это самая главная, единственно важная жизнь. Ради нее мы якобы только и существуем. Это, так сказать, вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но, с другой стороны, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертеж... Все равно как битюги идут по мостовой, ташут возы, а воробьи клюют навоз между колесами. И воробьи, и битюги вроде бы делают общее дело, а между тем что у них общего? Так и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, по правде говоря, даже отрицают друг друга. Битюги ташут возы, а воробьи — что воробьи? Что они значат? Попробуйте-ка связать жизнь, которая происходит вокруг вас, с тем, что вам рассказывают на уроке истории; вот то-то же.

По-настоящему, — он перешел почти на шепот, — если хотите знать, мы не живем ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить много лет... так вот, приходит день. И до сознания доходят иллюзия и труха стадного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное чириканье — с одной стороны. Зловещий фантом истории, вот эти самые битюги, — с другой. Жуткая игра теней... Все это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я открою вам страшную тайну. Быт, рутина, обывательщина — это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Самый ужасный враг человека — история. Или ты человек и живешь человеческой жизнью, или ты живешь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты — червь, ты — кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, — хрипел Ченцов. — Настоящее, подлинное время — на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, и ты всегда в нем жил, с тех пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчета. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, — он стучал пальцем по бухгалтерской книге, — истинное, непреложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память — это тоже действительность и сон — действительность, в котором, если уж на то пошло, только и живешь настоящей жизнью...»

Он перевел дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждет».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, а сейчас надо быть особенно

осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит.

Сейчас мы это быстренько, комар носа не подточит... — бормотал он. — Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мешанском болоте или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живем в таком мире — можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично, теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, выдвигая и задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрепанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство. — Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавлиются на такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим еще не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой — безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда!.. Будем вспоминать, как мы сидели вечером при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи верст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над темной рекой трубила неслыханная весна, и мы читали стихи... *Трубят голубые гусары... В этой жизни, слишком темной...* Гейне. И я говорил вам — да, и не забывайте об этом никогда, как я вам говорил, предсказывал вам, что у вас впереди блестящее будущее. А теперь за дело».

Больной крикнул, отложил свои орудия, потер ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложив бритву, принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где прежде стоял год рождения, желтым ногтем.

«Тэк-с, — промолвил он. — Аусгецайхнет. Угадайте, что это слово значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдете, молодой человек. Итак... один росчерк пера, всесильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занес перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да. Угу».

Он отложил ручку, подпер подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчетливо была видна дырка.

«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не остается, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же?...» — спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придет время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедим?»

«Ах, друг мой...» — шептал Ченцов, глядя не на собеседника, а скорее сквозь него; и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего — от белья, от тумбочек между кроватями, от полусидящего, тощего, подпертого подушками Ченцова — исходил тяжелый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май. Значит, думал

подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти еще около двух месяцев. Как, однако, условны эти веки. Повествование — враг памяти. Оно вытягивает ее в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный узор исчез.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Он повернул лицо в подушках — небритые щеки, острый нос, остро-бесцветные глаза, синие губы, полуоткрытый рот. Мальчик обернулся: в дверях дежурная сестра. Пора уходить.

«Еще пять минут, — прошелестел больной, взглянув на сестру, — Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдет. И мы с вами... о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат...»

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше ее не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia agsana... У меня столько важных идей!

Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, все слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, о которой медицина не имеет представления. Это не туберкулез и не абсцесс легкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только воздух Москвы. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брел по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнется новая, невообразимо прекрасная жизнь, не такая, как до войны, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы еще будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так или, пожалуй, совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее настоящим, а затем и прошлым. Но пока что все это в будущем. В такой же вот майский, звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо далеких зеленоющих берегов, мимо дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, веселый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив и вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала дежурная сестра Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, должно быть, такой же была ханша Сумбека в расшитой шапочке с покрывалом. «Нельзя так долго сидеть, — говорила она, шагая по коридору. — Ему вредно». — «Он поправится?» — спросил подросток. Она направилась в дежурную комнату. Выходя, она сказала: «А, ты все еще здесь. Пора ему укол делать. Подожди меня... Что ж, ты разве не заметил, — сказала Маруся, когда они снова шли вместе по коридору. — Это же такая палата».

Он спросил: «У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!» — сказала она.

Там, где лыжи проваливались в снег, на плоских холмах, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощенных ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, откуда съехал неведомый смельчак, оставив на крутизне двойной вертикальный след, там теперь все заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уходит все дальше. Посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба, сколоченных наподобие пирамиды, с березовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Сверху не видно уже ни берега, ни больницы, зеленая сплошная чаща, голубоватые верхушки, провалы оврагов, и постепенно все застилает сизо-лиловая пелена. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, еще длился век Ермака и Грозного.

«А-у!» Звук повторился совсем рядом. Выкрикали его имя. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся

Гизатуллина. «Здесь волков нет», — возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда еще не было, помнишь, Нюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты еще пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял прямо перед воротами».

Что-то он не помнит такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, женщины устраивались, копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тетка сидела, спустив голые ноги между головами у сидевших внизу, было жарко, состав подолгу стоял на узловых станциях, пропуская встречные поезда. «Эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали из эшелонов.

«И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — «Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем — Нюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к ним, не моргнув глазом, взглянул на вышедшую из кустов Нюру с лукошком. Надо сознаться, она стала еще прекрасней, в сиреновом легком платье с белым воротничком и «кружачками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек, и на загорелых ногах легкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошло эти томительно-безысходные зимние ночи, это ожидание на крыльце, все прошло, он избавился от этой каторги и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, ее снедает ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветет эта красота; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, — сказала Маруся Гизатуллина, — умаялась. Мы тут весь малинник обобрали. Пока ты там шастал». Два года назад было такое же лето. Высадились на пристани, шли, волоча свои чемоданы, оказались в физкультурном зале с большими окнами, со шведской стенкой и сдвинутыми в угол гимнастическими снарядами, прожили на полу недели две, пока всех не распахали по учреждениям; теперь-то он знал как свои пять пальцев и школу, и базар, где в те дни еще толпился по воскресеньям народ; война еще не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи с мешками сена на мордах, на возах торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; марийки в узких расшитых шапочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слоновою костью, шары на темно-зеленых листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Еще можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, о чем говорит Маруся — что волки подошли к больнице, да еще в летнее время, — но он отлично помнит первый год, первое лето, помнит, как подошел к реке, в это время они уже получили комнату в больничном поселке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас воспоминание перенесло его, как на ковресамолете, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, остриженная под ноль, среди визга и плеска, с круглыми белыми плечами и началом груди над водой. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Нюрой. Река унесла его. И так же, как ни с того ни сего перед ним вновь мелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне, разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины, щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась; надо бы еще разок прийти, варенья наварим, чай будем пить. — Корзинки с похожими на шапочки темно-розовыми ягодами стояли в холодке под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, расставляла стаканы, явилась бугылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка. — А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все говорят — малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали коколячки.

«Ты у нас ученый. Все знаешь. А мы с Нюрой темные, да, Нюра?»

И все-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапнула ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? — Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня поддержит. Да чего ты... самую чутельку. Голубые глаза хороши, только мне полюбились карие! А ты как, попробуешь?» — спросила она.

«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребенка спаивать».

«Какой он ребенок. Скоро усы вырастут. Полюбились любовью такой...»

Нюра — хрипловатым голоском:

«Что вовек никогда не случается!»

Маруся Гизатуллина:

«Вот вернется он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной повстречается».

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась к корзинке — ее грудь слегка колыхнулась — и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток громко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину. «Люблю мужчин с усами. Вот мой вернется, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка вот еще закуси».

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Да ну его. Не хочу о нем говорить. А тебя об одном попрошу...»

«Понапрасну меня не испытывай...»

И незаметно все изменилось. Как там дальше? Я на свадьбу тебя приглашу. Мальчик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана ее вышивками. А на узенькой раскладушке, на том месте, где когда-то лежала остриженная голова Нюры, когда Нюра заразилась тифом — но тогда у ней вообще не было имени, — теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном и том же белом ситцевом платьице с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком на спине, а широким прямоугольником до половины спины, из-под платка свисал черный хвостик косички. Она пела другие песни, тонюсеньким голоском на своем языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай», — пела Маруся

Все вокруг изменилось; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту: брызнула струйкой в мозг, и вселенная пошатнулась, но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг стал другим, приобрел другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуйста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало припекать. Нюра в сиреновом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в этом взгляде было неясное обещание; темно-окая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только черные трусики и бюстгалтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате все лето... Худющий, как Кошей, — приговорила Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего стесняться. Господи, в чем душа только держится». Подросток улегся на живот. «А ты что сидишь? — сказала она. — Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», — сказала Маруся. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Все пело, все смеялось.

Лежа, он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, голос Маруси Гизатуллиной спросил: «Спишь?» Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что, пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле провалившись в сон на одну минуту, Нюра незаметно покинула их, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход уплыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел ее руку, заложенную под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Все еще сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над ним, он увидел близко перед глазами ее маленькие татарские груди с черными почками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина,

жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снямся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, услышал легкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре, и, как всегда в это время года, враг пытается сызнова перейти в наступление. Семь ночей и дней продолжается танковое сражение вдоль дугообразной, как излучина, линии фронта вокруг Курска. План — ударить одновременно с севера и юга; командующий фронтом знал, что, если план провалится, ему не миновать разжалования и расстрела. План удался; армейская группа «Центр» потеряла тридцать восемь дивизий; сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. В этой войне полководцы имели дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентным самовластием вождей. Война перевалила за вторую половину. Война катилась назад, на Украину и в Белоруссию. Армия шла вперед, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идет война. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В густых лесах Восточной Пруссии, в главной квартире, фюрер с застывшим взглядом, с лицом, напоминавшим маску, объявил, что народ окажется недостойн своего фюрера, если война будет проиграна. Вождь в Москве объявил: и на нашей улице будет праздник. В селе, о котором теперь никто не помнит, партизаны застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали телок, поросят и ушли. Поп отслужил панихиду по убитым. Поп сидел в огороде, когда прибежала девчонка сказать, что немцы явились, чтобы сжечь село. Два бронетранспортера выехали из леса. Священник облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с крестом в руках вышел за околицу, надеясь остановить карателей. Он был скошен автоматной очередью. Лето в разгаре, давно освобождены калмыцкие степи. Стрелок-радист по имени Иван Бадмаев, восемнадцати лет от роду, был сбит в воздушном бою к югу от Сталинграда, остался в живых и получил боевую награду. Триста лет тому назад его предки перекочевали в низовья Волги. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не случилось. В госпитале, где Ивану Бадмаеву ампутировали ногу, он получил приказ явиться утром на вокзал. Площадь перед вокзалом была оцеплена войсками. Бадмаева вместе с костылями затолкали в вагон. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Пришла осень, и жизнь изменилась. Вечером черная коза по имени Лена, не пришла к крыльцу, ее разыскали на другой день, она скатилась в овраг, простояла всю ночь по брюхо в глине и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Лену внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая темными ресницами, она лежала на соломе, у нее отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил ее листьями почернелой капусты. И было что-то в этом эпизоде, который все же, по счастью, закончился благополучно, что предвещало новые беды. Лили дожди. В кромешной тьме (он перешел в следующий класс, ходил теперь во вторую смену) подросток, сбившись с пути, увяз в трясине, упал и, весь перепачканный, потеряв галоши, добрел кое-как до больницы. Поздним, черным вечером он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, близкой опасности не давало ему покоя; бич судьбы уже посвистывал над ним; это чувство сидело во внутренних органах, в темной глубине тела; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть на самом деле не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим задним числом в расплывающиеся клочья существования, бессознательный механизм, задача которого — сохранить единственность и единство нашего «я».

Все неспроста, все оказывается неслучайным; все тянет в одну сторону: дождь и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери за его спиной, тень, перешагивающая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, а вокруг все струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь еще не было и десяти часов. «Прошлую ночь совсем не спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возлились, а потом еще этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь поселок говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки; одни рассказывали, что он был дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, она на него донесла; другие — что дочка эта была его собственной дочерью и жил он с обеими.

Милиционер в лаптях, в шинели с новенькими погонами, которых здесь еще никто не видел, привез самоубийцу, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел его допросить.

«Чего ж допрашивать, и так все ясно. А вот ее, наверно, посадят».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. Сама того не ведая, она высказала мысль, которая четверть века спустя стала тайной жалобой женщин: мысль эта была не что иное, как ностальгия по великому мифу любви.

Он был жив, этот миф, до тех пор, пока общество воздвигало перед ним препоны. Великая и самоотверженная страсть чахнет, не наталкиваясь на осуждение окружающих, на мораль общества и беспощадность закона. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела, и приходится обходиться голой «сутью». Прошрое, о котором вспоминал подросток, когда он давно уже не был подростком, было бы то прошрое, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот, настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Ее ждешь?.. Не бойсь, никому не скажу. Я ведь все знаю», — добавила она. Он спросил: «Что ты знаешь?» — «Все знаю. И все понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал остолбенев. «Хочешь сказать, что больше ее не любишь? Чего ж тогда стоишь — небось весь окончел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей все рассказала? Он вспомнил о письме, теперь уже таком далеком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпрєнных выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы оно сохранилось; в конце концов, он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нем. А ему бы ответили: какое письмо? Да я его давно выбросила. Через много лет он представил себе, что каким-то невероятным образом увиделся снова с Нюрой — и спросил: получила ли она тогда его послание? Чем больше он об этом думал, тем яснее становилось — нет, она не получила. Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, придумав какой-то предлог, разе это не было доказательством, что письмо получено? Но теперь, через много лет, чего доброго, оказалось бы, что она ничего не помнит! Была война, больница, это она помнила; какие-то люди приехали в эвакуацию.

Что стало с Нюрой? Он попытается представить себе. Придумать — что, в общем, не представляло труда с его даром фотографического воображения — эту Анну Федосьевну или как там она звалась по имени-отчеству, и представить, как она существовала все это время. Наверняка это была ничем не примечательная, тиготно-бесцветная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат все обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с коптилкой и заклеивал самодельный конверт протертой сквозь марлю вареной картошкой, была бы все равно что мутно-желтая фотография, на которой с трудом удается различить чье-то лицо, рядом с только что проявленным, четким и влажным снимком.

Бессмысленное занятие: образ, реконструированный таким манером, образ сегодняшний, не имеет ничего общего с тем подлинным, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где все так же изнемогал на столе желто-голубоватый огонек. Нюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным дешевыми кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами инея. Должно быть, она уже легла, но что-то ее томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо на ее пальце, и тотчас кольцо сделалось необыкновенно важным, как все, как огонь на столе и его дневник, прядь волос, которую она смахнула со лба, как ее грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие ученых психологов, будто отсутствие мужского

органа, пустое место там, где он должен был находиться, рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере в те времена, если бы он услышал о ней, она показалась бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, темное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятии, которое мешает жить. Между тем как девушка, легкая и свободная, без темных помыслов, без тягостных снов, не стыдясь за себя, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, и соблазна, и страха оскотления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что для девушки, у которой там *ничего нет*, быть такой, какова она есть, значит просто *быть*, что она живет в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — пожал плечами, уселся на свое место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — сказала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно — все еще уроки делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — спросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдет. «Завтра на работу, — проговорила она, — я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось все думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она», «о ней» — попросту ничего не значащие слова. Или все-таки знает?.. «Как это ни о ком, — продолжала она, смеясь, — значит, ты уже ее позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на нее взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не серчай, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она устала на огонек коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила глаза. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днем? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатуллина, — ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Еще в Мамадыше, я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрушусь, а тут похоронка пришла, папу убили сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамашей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждет. Ничего с тебя не возьму, что подарить, на том и спасибо, только ты, говорит, не старайся сердце от меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?»

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я все равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет — ты уже взрослый. Проживешь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, все тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — сказала она печально.

Подросток поднес перо к огню, он не мог понять ни себя, ни ее, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонила, а не просто коротала с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал ее взгляд, устремленный вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», — сказала она полувопроситель-но. И вот, словно не было всех этих лет, словно все еще шарить в темноте: в кухне

висят на гвоздях армяки, кацавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик. «Вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Все еще капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в черной синеве, сверкали, как ртуть, звезды. Побрели мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдем дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, что все могу, на все решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правдуговорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то еще впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больницы поселка соединилась с трактом, постояв, повернули назад. «Бр-р, к утру подморозит, это точно, — говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку...» Она подошла к столу. «А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провеял по комнате.

Чувство целокупного времени, похожего на прибор, на стоячую волну, на зыблющиеся воды. И оно тоже пришло с годами. Миг, за который чуть было не пришлось расплатиться жизнью, в накаत्याющем приборе всеединого времени, этот миг остался таким, каким случился тогда; был ли он точкой просветления, моментом истины — или стал им спустя много лет? Вечный вопрос.

«Чего уж туг, раздевайся, что ли; все равно спать ложиться.... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звезд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунно-ликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бедрах, взявшись за платье и что там еще было, одним движением сняла все сразу через голову, встряхнула черными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли ее губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушенный, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала, как в замедленной съемке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь все равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-а-вно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда ее деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с темными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись темные кружки ее груди. «В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну чего ты оробел? Полежим, и все».

«Я не оробел», — сказал он мрачно.

Оба едва успели прийти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Все стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошел призрак. Мать подошла к столу. Чиркнула спичка. Язычок копилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там не пошевелились.

«Вылезай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась черная растрепанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растение малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» — спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолетний? Он мужчина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе еще покажу, ты меня будешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати, после того как исчезла Маруся Гизатуллина, после того как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату отворилась, там стояла Маруся, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха отражает свою археологию запретов, подобных надписям на неизвестном языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остается загадкой, ибо они составлены с помощью иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний; кажется, что умолчания возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад. Ну и что, сказал бы сегодняшний сверстник, что тут такого. А вот то-то и оно (думал подросток много лет спустя), совсем не просто решить, как повел бы себя этот сверстник со всем своим свободомыслием, окажись он на моем месте.

Мать успела застать его утром, когда он запикивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я все понимаю, вздохнув, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы можно?.. Он вышел из дому. Дорога слегка подмерзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что больница растворилась в тумане. Тогда он сошел с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дерн проваливался и хлопал у него под ногами. Вскарабкавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился все гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверек, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней, о себе без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон, — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Все пропиталось горечью, горечь капала с веток. Все оказалось так омерзительно просто. Он усиленно моргал, его веки слиплись, надо было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять все в руку — и ножом р-раз. Несколько успокоившись, он поднял голову, выпрямился, он набрел на другой выход. Он сам не заметил, как выбрался из лесу, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запаса необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью и все время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошел, озираясь, в конюшню. Было слышно, как кто-то стучал и скреб копытом по деревянному полу. Старая, серая в яблоках одноглазая лошадь по кличке Пионерка стояла, понурившись, за загородкой, он прошагал мимо нее, мимо второй рабочей лошади, за ними, в стойле почище, беспокойлась молодая пегая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался.

Узкий подоконник был заставлен иссохшими цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуще-

ством хозяина. Сам Марсуля лежал на топчане, в картузе и грязных сапогах, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким.

«День добрый», — прохрипел Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»

Гость вытащил из портфеля приношение.

«Так, — сказал Марсуля. — И что же?»

Мальчик выдал из себя что-то. Хозяин ослабил, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», — сказал он внушительно.

Кашлянув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришел меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью.

Подросток достал с полки мутный граненый стакан. Марсуля молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развел спирт водой из чайника, разболтал, стащил картуз с лысой головы, посмотрел питьё на свет и, нахмурившись, с суровым видом провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной были слышны конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел соленым огурцом.

«Скоро, — сказал он сиплым голосом и погрозил пальцем. — Скоро протрубит труба. — Он приставил ладонь ко рту. — Ту-ру, руру! Тебе понятно?»

Понятно, сказал подросток. Марсуля качал головой.

«Не думаю, что было понятно. Но ты увидишь. Все увидят. Когда придет день и Марцули больше здесь не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Мы и вам покажем», — сказал он, подмигнув.

«Кому это — вам?»

«Вам всем».

Хозяин каморки обозрел свое жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я жду приказа... — Он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот przedmiot?»

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан.

«Na zdrowie. — Опрокинул в рот. Огурцом: хрясь! — Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, и тебя могут заарештовать, если увидят. А ты еще молодой. А вот ты мне скажи, ты откуда знаешь?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля покачал головой.

«Нет, ты скажи. Откуда узнал, что у меня это есть?»

«Ты сам говорил».

«Я?.. тебе говорил, про этот?.. Что-то не помню. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«С другой стороны, ты меня подкупил, — рассуждал Марсуля. — Я человек честный. Я выпил спиритус, значит, должен выполнять. Иначе будет нечестно. И я даже не знаю, умеешь ли ты с ним обращаться?»

«Умею. У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что в школе проходят военное дело. Самозарядная винтовка Токарева образца 1942 года. Затвор служит для досылания патрона в патронник, для плотного запираения канала ствола, для производства выстрела, для выбрасывания стреляной гильзы! После уроков, строем, по улицам села. «За-певай!» *Краснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой.* Он сидит у подножья пожарной вышки, на поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмет», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, закрыв один глаз, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лес и катится в даль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остается жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадет в воду, и его унесут волны. Несколько времени погодя, поглядывая по сторонам, он подходит к реке, темно-

серые, тусклые воды влекутся на всем огромном пространстве, под небом туч, далеко впереди, почти вровень с водой узкой полоской чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осматривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределенное время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там еще, запихнуто в портфель. Мать хлопочет вокруг чемоданов. Марсуля, необыкновенно серьезный, выпивший, в низко надвинутом картузе, грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещенный, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрывки, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи. Медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит еще ехать, пока вдали, на солнечном разливе, не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала — Химки, Москва.

Светлана Соложенкина

...Но вставало облако светло и огромно

* * *

Никто не спросит: «Ты была любима?»
Как облака, пройдут все судьи мимо.

Никто не спросит: «А сама любила ли?»
Бесстрастно льют благоуханье лилии.

Сама себя земным судом суди,
тихонько приложив ладонь к груди.

Ты слышишь сердце — тайный метроном?
Сама себя суди земным судом.

* * *

Утро — жемчужное, тонкое,
дрожащее, как душа
матери над ребенком...
Как земля хороша!
Цветок-китайчонок наискосок
раскрыл еще сонный глазок.
Белка прыгает для разминки,
на лету сумев проглотить
две росинки — две витаминки...
Паук свою драгоценную нить
протянул, как в окне приманчивой лавки:
вот, мол, колье для модниц, для мух...
Тоже мне, ювелир в отставке,
магистр утонченных мук!
Впрочем, каждый промышляет, как может,
и это — никого не тревожит.
Туман клубится, туман...
Река дымится, как чашка
с парным молоком... Букашка
к лешему вползает в карман,
неисповедим ее путь... Бедняжка!
Тут ведь не Лондон, не крикнешь: «Кеб!»
Дорожка кривая и случай слеп.
А лешему — что? Смешно, да и только...
Но вот и солнце прожгло белизну
и лежит — апельсином на столике.
Дай подойду, поближе взгляну!
Утро! Сказка, только что сочиненная,
еще не просохли чернила...
Река стала синей — и, влажно-зеленая,
осина над ней проступила...

* * *

Может, пятница, может, среда.
Никогда не придешь, никогда.

Может, вторник, а может, четверг.
Все земные дороги — отверг.

Понедельник, суббота — так что ж?
Никогда, ни за что не придешь.

Невозможно такое понять.
Хоть бы камень холодный обнять!

Хоть бы дрогнула тень на песке,
как улыбка у губ в уголке.

Но и нож теперь — не разомкнет
горизонтом сомкнувшийся рот.

Пуст мой ящик почтовый... Но нет:
в нем белеет рассеянный свет,

ненаписанных писем душа,
ей не нужно карандаша,

адрес временный — ни к чему...
Ненаписанное — пойму.

Может, пятница, может, среда.
Никогда не придешь, никогда.

Миллионный четверг промелькнет...
Все равно: воскресенье придет.

* * *

Вдруг припомнила все, зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Александр Блок

Быт — это Бытие, которое,
как Лир, от царства отреклось.
Играют отсветы истории
на шпильках, в темноте волос.

Что — шпилька? Так — пустяк, безделица,
но ждет касания руки...
А жизнь — одна. Она не делится
на главное и пустяки.

* * *

Это вечно, незыблемо: полка с книгами,
в сирень распахнутое окно...
Оказалось только счастливыми мигами
то, что было навеки дано.

Я бессмертной была и не знала про это.
Первым снегом бумага ложилась на стол...
Как мне нравилась штора зеленого цвета
тем, что отсвет бросала на чистый пол!

Как мне нравился чай с легким привкусом дыма!
Он весь день кипел на живом огне,
красный уголь в печи, как руины Рима,
открывал величье пурпурное мне.

На закате стрижи с пронзительным свистом
проносились так низко, как только могли...
И казалось счастье не то чтоб близким,
но покорно ждущим на краю земли.

И спешить туда мне было не надо:
я и так, без счастья, — счастливой была,

потому что вливалась прохлада из сада
и, казалось, — звонили колокола.

Почему? Откуда? Ведь я же помню:
храм снесли когда-то на высоком холме...
Но вставало облако, светло и огромно,
и бежала тень от него по земле.

* * *

Вам кажется, что синий черт,
пожалуй, желтого красивее?
Но чертовщина не влечет
меня ни желтая, ни синяя.

Хотите душу вы продать,
но думаете, что приличнее

ее в аренду будет сдать?
Что ж, это — ваше дело личное!

Сумел же лысый до седин
дожить — и вы вольны надеяться...
Поможет синий господин
и желтый — также, разумеется.

* * *

Не Аввакум был осужден — он сам
судил царя, что сбился тот с дороги,
он и в остроге — требовал подмоги,
вздывая грозно посох к небесам.

Мне жаль и Аввакума, и царя...
Как много смертной скуки в смертной муке!
Кликушества, бешено горя,
прожили оба — с истиной в разлуке.

Что — Истина?.. Бог завещал любить.
Но как любить, когда трещат суставы,
когда крушит неправого — неправый?
Как смертный грех палачества избыть?

Вы много на земле понять смогли?
Среди насады, крови, гнева, глума
ткань мироздания насквозь прожгли
глаза неистового Аввакума.

Вот с той поры, наверно, и пошло:
озоновые дыры... мир в тревоге...
Да, призадумайся, и — зело,
какие выбираем мы дороги.

* * *

Я укрывалась голубою шалью,
я грелась возле красного огня...
Печаль глядела на меня с печалью —
а как еще глядеть ей на меня?

Нахохленную золотою птицей
она сидела в сумрачном углу...
И сладко было мне сомкнуть ресницы,
но не хотелось уходить во мглу.

Я поднималась, шевелила угли,
опять садилась около огня...
И золотая птица глазом круглым
внимательно смотрела на меня.

Что в сердце у меня прочесть хотела?
Когда-то я, любимых не виня,
сама тревожно и светло горела...
А вот теперь — лишь греюсь у огня.

* * *

Кто говорит о первородстве,
о том, что Слово было Бог?
Есть интересное уродство,
есть завлекательный порок.

Собой торгуют, небесами.
Погубят душу — ну и пусть!
Я не встречаюсь под часами
ни с кем — я времени боюсь.

Не привлекает комплекс белки —
бежать в горящем колесе,
и перестройки, переделки
давно мне надоели все.

Мне нужно знать, что прочно держит
старик Атлант небесный свод,
что хлеб в сельпо сегодня —
свежий...
А прочее, как дым, пройдет.

* * *

Чтоб написать о «серебре
и сонном колыханье»,
конечно, надобен талант,
но также — и ручей,
который вечен, чист
и хочет стать стихами...
Фет не предвидел ад
чернобыльских ночей.
Не в меру «прогрессивные» его
за «эстетизм» клеймили неустанно...
Но Фет воспел Природу до того,
как начали ее губить по плану.
Где обрести, по этакой поре,
теперь второе, третье ли дыханье —
чтоб написать опять о «серебре
и сонном колыханье»?

* * *

Кто там?.. Никто. Тишина
ходит, бесшумнее кошки.
Белый цветок, как луна,
вслед ей качнулся на ножке.

Кто там?.. Сказали: никто!
Это туман наползает,
кутается в пальто,
смотрит пустыми глазами.

Кто там?.. Никто, говорят.
Тихо, пустынно за дверью.
Выйду — в пустыню ли, в сад.
В то, что одна, — не поверю.

С юности до седин:
«Кто там?..» Уймешь ли тревогу?
Знаю, что кто-то — один —
вышел опять на дорогу...

Вера Чайковская

Месяц в деревне

Рассказ

И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.
(Ф. Тютчев)

Этим летом к нам в деревню приезжала отдыхать моя двоюродная сестра Полина. Тут-то я ее впервые увидела. Она на пятнадцать лет меня старше. Я только что школу закончила, а ей уже ой-ой-ой. Старуха. Ну, не совсем старуха, а старая дева. Их семейство гордое, с нашим никогда не зналось, там все по ученой части, кандидатов наук, как кур нерезаных, — все поголовно. Вот и эта Полина — дочка папкиного брата, кандидатка каких-то там наук. А у меня мамка и папка — люди простые, папка не дурак выпить, он у меня шофер, а мамка в местной школе уборщица. Какая мы им компания?

Из города приехала, ученая, а посмеялись мы с Лидкой: платьишко на ней какое-то не модное, измятое, сама худая-худая, в очках, ноги бледные, руки бледные, а носик красноватый. Прямо сказать — не подарочек. Да, только волосам я ее позавидовала — ужасно они густые, рыжеватого цвета и вьются. И главное — ничего с ними не делает, не красит, не завивает — это мы с Лидкой пронаблюдали, специально подглядывали, когда она голову в тазу мыла и вообще мылась. Грудь у нее красивая — я еще подумала, зачем ей. Все равно одна. Мамке она подарками угодила — навезла и печенья, и конфет, и сыра какого-то особого. Мамка моя над ней, как наседка — Полиночка да Полиночка. Она у меня жалостливая. А отец прямо так и отрезал — почему, говорит, колбасы не привезла?

Поначалу эта Полина все свои книжки читала в пристроечке. Мы ее там поместили. Сядет у окошка — и давай читать. С утра — одну берет, а к вечеру, смотрю — уже другую. Я их по переплетам различала. Мне-то они ни к чему, ее книжки. Я школу закончила, и решили мы с Лидкой податься осенью на текстильный комбинат, он недалеко от нас, в соседнем райцентре. Но это осенью. А летом — гуляй не хочу. Платьишки на нас с Лидкой моднющие — громадную очередь выстояли в местном универмаге — мне-то совсем в пору, а Лидке пришлось расширять. На морду мы с Лидкой симпатичные да молодые — ох, и гуляли же мы! Каждый вечер Генка Игнатьев и Мишка Мартынов увозили нас на своих мотоциклах в райцентр на дискотеку. Ну, это для мамки на дискотеку да в кино, а то, бывало, и напрямик к Генке Игнатьеву сворачиваем, а у него и наливочка собственного производства, и огурчики соленые с картошечкой, и кассета какая-нибудь с зарубежным роком. Лидка с Мишкой в доме располагаются, а мы с Генкой — на веранде, на шкуре медвежьей, уж не знаю, где он ее откопал, только он где-то вычитал, что на шкуре лучше. Он и сам, как медведь — большущий, сильный, но не толстый, ни грамма лишнего жира, — он мускулистый, ходит в райцентре в спортивную секцию по тяжелой атлетике. Ему в этом году призываться, вот он и не пошел никуда учиться, а решил немного подработать в кооперативе по пошиву домашних тапочек. Руки у него золотые. А еще у него волосы красивые. Волосы — моя слабость. Даром, что у самой какие-то жидковатые. А у Генки они с таким оливком, словно он их ромашкой каждую неделю прополаскивает. Вообще-то он мне с первого класса еще нравился, а тут так получилось, что в армию его берут, и кто его знает, как там дальше обернется. Может, уедет куда. А с ним просто

так не походишь, на него многие у нас в деревне и в райцентре зарятся — красивый. А у Лидки на Мишку — свои планы, она за него замуж собирается, только не больно-то Мишке она нужна, у него таких Лидок — миллион.

Ну, развлекаемся мы так с ребятами, каждый день вечером с Лидкой из дому сматываемся, смотрю, а сестренка моя двоюродная совсем загрустила. Книжек уже не читает, по ночам бродит по дому, как призрак какой, и все капли себе из скляночки отсчитывает. Мамка моя ей вишневые компотики по уграм наливает да вареньица вишневого накладывает — жалует. А отцу и до меня-то дела нет, не то что до Полины. Да и в рейсах он, дома редко бывает.

Однажды сидим мы с Лидкой на веранде, семечки лузгаем и смеемся — просто так, от дурасти, — открывается дверь и входит Полина.

— Можно, я с вами посижу, девочки?

А нам что, нам все равно. Сидим себе, семечки грызем, похихикиваем. Сидит, сидит моя Полина, потом поправила очки и робко так спрашивает:

— Можно?

Это она про семечки. Мы с Лидкой только пуше развеселились. А она давай эти семечки колупать, да так до самого прихода наших ребят и проколупала, а как явились Генка с Мишкой, тут же вскочила и ушла с веранды да всю шелуху от семечек с собой в газетке прихватила.

— Кто такая? — спрашивает Генка.

— Сеструха моя двоюродная, — отвечаю. — А что, понравилась?

А сама смеюсь — разве может Полина понравиться?

— Чудная, — говорит Генка. — Словно из благородных девиц.

А она все еще в этом своем мятенком серенком платьишке, загар ее не берет, руки-ноги бледные, худюшие, глаза какие-то туманные, невидящие, хоть и в очках. Ужас просто!

— Она у меня знаешь зато какая ученая! — похвасталась я. И чего, дура, расхвасталась? Знала бы, как повернется! — Она кандидатка каких-то там очень сложных наук!

Тут мы с Лидкой почему-то принялись хохотать, ребята нас сгребли в охапку, посадили на мотоциклы, мы шлемы надвинули и покатали в райцентр, а потом к Генке домой — у него только мать, да и та уехала погостить к сестре в Одессу.

Вечером возвращаюсь я из «дискотеки», смотрю — сидит моя Полина на веранде, голову рукой подперла. И так мне ее жалко стало, старую дуру. Чего, думаю, пропадает со своей наукой, скоро совсем в тираж выйдет.

А она, оказывается, меня ждала.

— Добрый вечер, — говорит, — Катенька. Хочу с тобой посоветоваться.

Очень мне это понравилось. Она ученая, городская, совсем взрослая, а я только что школу с грехом пополам закончила и, если честно, нечегошеньки не запомнила, даже в таблице умножения путаюсь. И вот — хочет со мной посоветоваться. Мы тогда с ней чуть не до утра проговорили. Несчастливая эта Полина оказалась — просто ужас. У нас-то с Лидкой с ребятами никаких проблем, мы бойкие, веселые, да и на морду удались, а у нее до таких-то годиков — ничего не выходит. Боюсь, говорит. Вдруг мне не повезет, детей заводите мне уже поздно, да и не хочу я одна, а операции этой ужасной я не перенесу. Умру от стыда.

Тут я ей и скажи — а попробовать не хочешь? Я бы тебе устроила, чтобы без всякого страха. Видала, какой ко мне приходит? Так он СПИДа этого до жути боится. У него девчонок много было, городских и деревенских, вот он и боится заразиться.

— Так ведь он молоденький, — говорит Полина.

Правильно сказал Генка — чудная. Не то ее смутило, что ко мне он приходит, а что молоденький. А может, не понимала она ничего, не разобралась, как говорится, в ситуации? Ходила как в бреду. Да еще я ей про себя чего только не наболтала и приврала, конечно!

Однако над ее словами я призадумалась. Уж очень эта Полина была неказистая, да и действительно старая. Уже за тридцать как-никак! Разве клонет на нее красавчик Генка!

Но просто ужас как мне захотелось сладить это дело, словно какой-то бес в меня вселился. Я аж дрожала от нетерпения, и не жалко мне было Генку Игнатьева для нее, потому что я знала, что она мне не конкурентка. И что-то такое сладкое было в том, чтобы кинуть эту ученую, «благородную», по Генкиным словам, Полину на его медвежью шкуру и чтобы мой Генка сделал все, как умеет. Он умеет, да еще, бывало, такое словечко произнесет, что обхохочешься. Он грубый, сильный, ненасытный. На

это я и надеялась — на его ненасытность. Ведь она-то у него была бы свеженькая, как невеста. Говорят, прежде был такой обычай, чтобы кровь на простыне показывать гостям. Неужели был? Теперь таких невест, думаю, днем с огнем не сыскать. На это я и напирала, да еще на ее ученость — мол, кандидатка жутко сложных наук да все книжки читает. Ученее нашей Раисы Михайловны — учительницы литературы. Я про эту Раису неспроста ему напоминала. Говорят, он ей в девятом классе писал какие-то записки. Его потом к директору вызывали и чужь из школы не вытурили. А Раиса Михайловна вскоре от нас уехала.

Смотрю, прислушивается мой Генка и спрашивает:

— Неужели пойдет?

Я киваю, только, говорю, не забудь про СПИД. И хихикаю.

— А что, может, она зараженная?

Он на этом СПИДе прямо помешался.

— Да что ты, — говорю, — Гена, просто она боится обзавестись маленьким Игнатьевым.

Тут мой Генка заулыбался, тряхнул своими ромашковыми волосами и согласился.

— Давай, — говорит, — только по-быстроу.

Прихожу я к Полине, а она ни в какую — нет, нет и нет. Это, мол, у меня был нервный срыв, припадок. Не могу, не хочу, что еще за Игнатьев! И знай плотает капли да микстуры.

Еле-еле уговорила ее поехать к нам в клуб, а заодно посмотреть на Генку. Оказывается, она его толком не видела. Запомнила только, что большой да молодой. А сама думаю — и Генка на тебя полюбуется, может, еще откажется. Какое-то двойкое у меня было чувство, как говорят, и хочется, и колется. Но хочется-то все же побольше. Главное, такая гордость во мне появилась, что я человека выручаю, сестру свою двоюродную. Может, потом у нее побойчее пойдет. Да и так будет, что на пенсии вспомнить. Не книжки же вспоминать?

Вечером приезжают за нами ребята на мотоциклах, мы с Лидкой уселись в коляски, тут-то я про Полину подумала. Бегу за ней, а она в свою пристроечку забилась и сидит, как мышь. Вид делает, что читает, только страниц-то не переворачивает! Я к ней кинулась, ну ее тормошить, не съедят же тебя там, не понравится — тебя Миша домой отвезет. Мы же вместе будем! Ты мне веришь?

— Да, да, да, — твердит, как в бреду. — Я верю, Катенька. Ты — чистая душа, веселая, открытая. С тобой все проще.

Тут я ее за руку — хвать и тяну на улицу. А мотоциклов всего два! Генка Игнатьев ткнул в бок Мишку — Генка у них за главного, и Мишка высадил Лидку и посадил к себе Полину. А Лидке говорит — иди, мол, ножками. И пришлось ей пешком топтать в райцентр. Но с нее как с гуся вода — только смеется. Взглянула я на Полину, вижу — и Генка мой на нее косится исподлобья, словно нехотя. А она даже платьишка своего серенького да мятежного не сменила — только волосы не то не успела уложить в пучок, не то специально распустила по плечам. И что-то меня словно в сердце укололо — очень уж волосы у нее красивые, пушистые да рыжие, как у Аллы Пугачевой — любимой моей певицы.

— Куда? — шепчет Генка и, чувствую, он уже наострил лыжи к себе заворачивать.

— Нет уж, Геночка, — шиплю ему. — Давай в клуб. Я ей обещала.

Ах, не стоила она моего хорошего отношения!

Едем мы, значит, в райцентр, в клуб, или, как у нас говорят, на дискотеку. Честно сказать, дискотека у нас слабоватая. Генка Игнатьев мне рассказывал, какую видел в Таллине на каникулах, — вот это да! А у нас одно название, что дискотека. То какую-нибудь крутую рок-группу заведут, а то Кобзона или Зыкину, завывающую про Волгу.

Но нам повезло — приехали ребята из городского медучилища и как дадут жару! И кричат, и орут, и топают, и все тело ходуном у них ходит, и браслеты на руках позвякивают, а инструменты у них блестящие, громкие, визгливые. Такое тут веселье заделалось, все давай вслед за ними руками и ногами махать. Девчонка рядом со мной глаза закатила и вопит что есть мочи, мы с Лидкой тоже прыгаем и кричим, а Полина моя все к стеночке жмется, и глаза у нее ну просто ужасно испуганные.

Подошла к ней и шепчу:

— Ну, видала?

— Что? — спрашивает.

— Не что, а кого. Генку Игнатьева видала?

— Нет, — говорит, — не видала. И не хочу я его видеть. Забудь, Катенька, про этот разговор.

Взрослая тетка, в два раза всех тут взрослее, а ведет себя, как из детского сада. Ну, если по правде, на вид она и младше кое-кого из наших казалась. Худая — так ее за девчонку принимали, все меня в бок толкали, откуда, мол, такая.

Тут ребята из медучилища что-то такое надрывно стали выкрикивать в микрофон:

— Ле-то-о, осень-ньнь, зи-ма-а, весна-а-а!

Да по многу раз каждое словечко повторяют, скулят, как собаки, аж за душу хватает. Свет на площадке совсем почти потух, мы качаемся, как пьяные, смотрю — моя Полина глаза закрыла и тоже качается, только рукой за меня ухватилась, словно упасть боится. Тут-то мы ее, тепленькую, вывели из клуба, а было еще рано, часов девять, вечер светлый-светлый. Я сажусь к Мишке в коляску, а ее сажаем к Генке. Не успела наша Полина опомниться — Генка как рванет свой драндулет, а у нее глаза расширились, и кричит мне, дуруха:

— Катя, Катенька, а ты? Ты со мной?

— Все в порядке! — ору я во всю мочь, чтобы перекричать рев двух мотоциклов, а Мишка уже на всех порах несет меня домой. Я так рано еще никогда в этом месяце не возвращалась, даже мамка удивилась.

— А Полина где, не знаешь? — спрашивает, беспокойная она у меня. Особенно из-за Полины волновалась, я-то самостоятельная. Тут я мамке с три короба наврала, что Полина встретила в райцентре какую-то подругу, с которой училась в одном классе, что они с ней то да се, а сама места себе не нахожу. Волнуюсь, как никогда в жизни. Как там? Хоть бы уж Лидка поскорее приходила! Мы с ней договорились, что она постарается пронаблюдать. Ее ведь Мишка домой не отвез, и вообще она в этот вечер свободная.

Часов в двенадцать слышу под окном свист — выбегаю во двор, а это Лидка притопала. Через лесок у нас от райцентра минут двадцать быстрого ходу. Ну, тороплю ее, ну?

Дурак, говорит, твой Генка. Только я пристроилась пронаблюдать, вышел на крыльцо как есть без ничего и такое мне сказанул! Лидка даже не решилась громко повторить, на ухо мне шепнула. Она от смеха чуть не умерла — хоть бы, говорит, прикрывся. А я от нее отмахиваюсь — никакого от Лидки толку!

Сидим ждем, семечки лузгаем. Лидка ждала до часу, потом пошла домой — она матери боится, а минут через пятнадцать слышу — мотоцикл у нашего дома развернулся, секунду помедлил и рванул назад.

Идет по темному саду моя Полина, медленно так идет, пошатывается.

— Ну? — спрашиваю, а сама аж обмираю от нетерпения.

Она только ахает да твердит — ужасно, ужасно, — и, не замечая меня, шмыг в свою пристроечку и дверь на задвижку. Уж не помню, как я эту ночь проспала, утром вбегаю к ней — ну? А она все свое «ужасно» твердит, и ничего больше у нее не вытянешь. Вижу, ни от Лидки, ни от Полины толку нет. Утром помогла мамке — прополола огурцы, собрала вишню на компот, чтобы отвязалась, — и бегом к Генке, через лесок. Дома его не застала, так я, не будь дура, побежала к нему на секцию. Стоит мой Генка один среди спортивного зала — народ весь на каникулах — и гирию громадную выжимает одной рукой, а мускулы у него на груди так и ходят!

— Тебе чего? — И на меня смотрит ужасно злобно, точно я ему лягушку за пазуху подбросила. Я и так, и сяк к нему подлаживаюсь — и мышцы его похвалила, и силу, — он немножко отмяк и говорит: — Ну и сестрица у тебя! Мука одна. Сперва ей дурно сделалось. На руках ее домой вносил, еле откачал. Потом мне уже самому как-то нехорошо стало...

— Не смог, Геночка?

А он уже опять свою гирию туда-сюда поднимает, и вид у него упрямый и какой-то ошарашенный. Никогда я его таким не видала.

Дня два моя Полина из пристроечки своей не вылезала, мамке моей сказала, что больна, но я-то знала, что у нее за болезнь. На третий день вечером сидим мы с Лидкой у телека — комедию какую-то старую смотрим, кажется, «Цирк» называется, — стучится Полина, а она, между прочим, просто так никогда не входила, всегда прежде постучится, — вошла, села в уголке и сидит. А нам с Лидкой что? Мы себе хохочем во все горло, больше так, от дурусти. Слышу — и Полина начала тихонечко похихикивать. Сначала тихонечко, а потом все громче и громче, да уже больше нашего разошлась, даже воды наливала в кружку из чайника, чтобы смех остановить. Стали мы друг за

дружкой носиться, вдруг слышу — звук мотоцикла возле нашего дома, и Генка Игнатьев стоит на пороге. А он с тех пор к нам не приезжал. Мы все втроем так и замерли.

Генка в куртке из искусственной кожи на молниях, светловолосый, загорелый, красивый до невозможности, правда, с лица чуть опавший, может, болел эти дни, оттого и не приезжал. Вот, думаю — какой он у меня! Я-то уверена, что за мной он приехал. Да не тут-то было. Подходит Генка к Полине и, ни слова не говоря, выводит ее во двор, сажает на мотоцикл и — привет. Мы с Лидкой, когда выбежали, только пыли наглotalись.

И опять он ее часа в два привез назад, а ко мне не заглянул. Очень была я на них обоих обижена, особенно на Полину, и встречать ее в сад не вышла. А тут она сама ко мне прибежала, скребется — можно? Входи, говорю. Все-таки интересно. В прошлый раз она все ахала да повторяла «ужасно», а теперь полчаса только вскрикивала — Катя, о, Катенька! — и ничего больше.

Надоело мне это, и я ей: ну и как, сказал он тебе словечко?

— Катя, о, Катенька! — А глаза круглые, полоумные. — Мы, кажется, вообще не разговаривали! — И давай лопотать про то, какие мы все здесь здоровые и простые, а они там в городе раздерганные и сумасшедшие. Да все про какого-то пана вспоминает, поляка, наверное. Смеется, дрожит, лопочет — да так и заснула у меня на кровати, пришлось мне ее будить и переселять. Пусть отсыпается в своей пристройке.

Ну, думаю, Катя, о, Катенька, держись. Теперь все по-другому пойдет. Зачем она ему теперь нужна — некрасивая и старая? Да еще и сумасшедшая — сама говорила. Вот теперь и будет мой праздничек, когда он на нее наплюет и отвернется. Но ей я, конечно, ничего такого не говорю. Собрались с ней утром купаться на пруд. До него ходу минут пять. Идем, помалкиваем. Она о своем думает, я о своем. Я-то пошла прямо в купальнике — у меня очень красивый, импортный, а Полина в халате — да в каком! — с длинными рукавами и черный. Спасибо, хоть у пруда она свой халатик скинула — ну, про ее фигуру я уже говорила, а в купальнике еще видней, какая худющая. Я прямо на солнце загораю, а она села под деревце и книжку читает. Я случайно заглянула, так специально для Лидки слово одно заучила, чтобы посмеяться — «экстатический», ей-богу, не вру. И там все слова на странице такие.

Вдруг смотрю — глазам не верю, — Генка подходит. А он утром никогда ко мне не ходил. У него по утрам самая работа в кооперативе. Сел возле нее на травке и сидит, а она халатик свой черный схватила и завернулась в него прямо по шею. Сидят они, сидят — словно и нет меня рядом. Полина и на Генку особого внимания вроде не обращает, читает свою книжечку, а он ее щекочет травинкой, она отмахивается, хмурится. Смотрю, он ей рукава халата закатывает, а она отбивается и хохочет во все горло. Рыжая, длинная, худая, очки с носу спадают — и гогочет, как молоденькая. Посмотрела я на них — и пошла домой, даже не искупалась. А сама думаю — Гена, Геночка, догони! Не догнал.

Стала она с Генкой по целым дням где-то пропадать. Приходит вечером — и все посмеивается и напевает. А ест — прямо за четверых, мамка не успевает ей лапшу подкладывать — разносолов у нас нет. Совсем одурела. А мамка радуется, что Полиночка повеселела. Вот хорошо, говорит, что Гена ее в райцентр катает. Там и кино, и библиотека. Мы с Лидкой только переглядываемся да подталкиваем друг дружку. А Лидка все это время у меня проводила — Мишка ее слинял, не показывался.

Гуляет Полина, да и про нас с Лидкой не забывает — то семечки на веранде с нами лузгает, то киношку по телеку смотрит. И словно не замечает, что я на нее обижена. А может, и вправду не замечала? А ночью спит прямо как убитая. У нас однажды столик упал среди ночи из-за кошки. Грохот был жуткий, все проснулись, кроме Полины — она не заметила. Загорела, ходит в какой-то зелененькой маечке и шортиках — просто не узнать. А я и злость на нее, и горжусь своей работой — ведь это я из нее человека сделала.

И вот как-то днем останавливается возле нашего двора легковушка и выходит из нее мужчина — не старый, но и не особо молодой, лысоватый, очкастый, с бородой и золотым обручальным кольцом на пальце. И у мамки моей — мы с ней в саду крыжовник рвали — вежливо спрашивает через забор, не здесь ли живет Полина Евгеньевна. А тут и сама Полина выскакивает в сад в своей маечке и шортиках. Он как стоял за забором, так и застыл на месте. Не ожидал, видно, ее такой увидеть. А она вспыхнула и — прыг в дом. Через минуту смотрю — выходит в кофтенке, наброшенной на маечку, а шорты так и оставила. Ну, мамка моя в дом его пригласила, накрыла на

веранде стол чистой скатертью — она у меня хоть и уборщица, а любит, чтобы все было честь по чести. Сидим мы вчетвером, пьем чай с вишневым вареньем — мы тогда только-только свежего наварили, еще пенка оставалась. Полина как-то вся съежилась, ноги в шортиках поджимает, а знакомый ее в четвертый раз объясняет, как он в наших краях очутился. Ехал, мол, на конференцию и оказался совсем рядом — грех, говорит, было не заехать. А потом между ними такой разговор пошел, словно и не по-русски. Он говорит словечко, она словечко, им вроде все понятно, а нам с мамкой ничегошеньки не понять. Мамка мне шепчет — Катюша, он, случайно, не из Америки? Она у меня до сих пор шпионов боится, особенно американских.

Тут и Генка на своем драндулете подоспел и стал сигналить. Сигналил-сигналил, а мы сидим, как глухие, только гость стал волноваться, озираться по сторонам, туда-сюда вертит шеей, откашливается. А Полина наша сидит смиренненько, глаза опустила, будто Генкины гудки ее не касаются. Тогда я выскочила на улицу. Уезжай, говорю, Гена, у нее гость из Москвы. Профессор, а может, академик какой. Это я цену ему набивала. А потом шепчу — Гена, а? — но он даже не услышал, не посмотрел, развернулся и укатил.

А через полчаса уехал на своей легковушке и Полинин гость, мрачный такой, раздосадованный. Он уехал, а Полина заперлась в своей пристрочке и лишь вечером показалась — зареванная. Собрала вещички, и на следующее утро папка отвез ее на автовокзал.

Ну, сказать, как мы с ней прощались? Обе плакали навзрыд. Я отходчивая, зла долго не держу, да и чего скрывать — рада была ее отъезду, но и жаль было немножко, что уезжает. Привыкла я к ней. А она то принималась ахать и шептать «ужасно», то кидалась меня обнимать и благодарить — никогда, говорит, Катенька, тебя не забуду. И обе плачем, заливаемся. И мамка глаза вытирает. А Генке она даже привета не передала. Только все твердила про какого-то пана, поляка, наверное, который ее совсем заморочил. Я потом Генке все рассказала, как приехал этот лысый, очкастый, как она плакала, прощаясь, и за все меня благодарила и как даже словечка ему не передала. Тут он меня схватил и плюхнул прямо на пол — я едва успела шкуру подстелить, она у него лежала почему-то под кроватью, скатанная, — и словечко свое загнул в нужный момент, только потом как ударит кулаком по полу и в кровь разбил себе руку. Лидка трепалась, будто видела, как он покупал билет на автовокзале. Но это она от зависти. Мишка-то так к ней не вернулся. А что пропал Гена где-то несколько дней, так он и прежде пропадал — никому не докладывался.

От Полины с тех пор никаких вестей. И мы с мамкой все гадаем, ждать ее следующим летом или не ждать.

Алексей Автократов

Афера

Физиологический очерк

Каким должен быть современный физиологический очерк?

По-видимому, не совсем таким (или совсем не таким), каким он предстал перед русским читателем в первом отечественном опыте освоения этого жанра — знаменитой «Физиологии Петербурга» с участием Виссариона Белинского, Николая Некрасова, Владимира Даля. Эти очерки городского быта, подражавшие французским образцам (в том числе «Физиологии Парижа» Оноре де Бальзака), отказывались от всяких художественных намерений и ставили своей задачей только «более или менее меткую наблюдательность», как пояснял во «Вступлении» Белинский...

Впрочем, Алексей Автократов уже прошелся и по этой дорожке. Его первые очерки «Лужа» (ДН, № 1, 2001), «Вьючные люди» (ДН, № 5, 2001), «Подсадка» на Белорусском» (ДН, № 2, 2002) отличает та самая требуемая «меткая наблюдательность», и их без колебаний можно отнести к разряду классического физиологического очерка, подоплекой и основой которого всегда было освоение литературой новых, ранее неизвестных и читателю, и автору, пластов жизни, «углов и закоулков» большого города.

Очерк, который вам предстоит прочесть, — работа в известной степени экспериментальная. Оценить степень смелости этого эксперимента можно, лишь будучи знакомым с автором. Дело в том, что Алексей Автократов чрезвычайно пристрастно относится к любым текстам (в особенности к тем, что пишет сам) и требует от них «правды, только правды и одной лишь правды». Он убежден, что право писать о чем бы то ни было дает лишь доскональное знание предмета. Более того, сам пишет лишь о том, что потрогал своими руками и испытал на собственной шкуре, — возможно, сказываются вьевшиеся в плоть и кровь установки историка, который сменил изыскания в архивах на нелегкий труд челнока или риелтора не по заданию редакции или из исследовательского любопытства, а по злой житейской нужде.

И все же в «Афере» он постарался не просто описать «физиологию» особого мира, связанного с торговлей жильем, но и придать повествованию динамику и остроту, внеся в очерк интригу и построив его как историю одного мошенничества. Предоставим читателю судить, насколько удачным оказался эксперимент.

Андрей

Человек, который затевает дела серьезные, должен и смотреться серьезно.

К примеру, бандюганский вид хорош в делах резких, прямых, открытых — словом, в явных делах, где его недвусмысленная угроза подтверждает серьезность заявленных намерений. Хорош он и в охране, иногда даже в силовых структурах, где человек достигает успеха не потому, что носит форму и имеет полномочия, а потому, что страшен сам по себе. Человек вида рваного вызывает сочувствие, но дела его мелкие (потому что к рванине и сочувствие мелкое, презрительное), хотя за день попрошайничества на хорошей точке или в метро имеет он столько, что

жить вполне можно. И все же серьезную махинацию человеку вида зачуханного не поднять. Какое к нему может быть доверие? Встречают-то, как ни крути, по одежке (толкуем шире — по внешности). *Фармазону* (то есть аферисту) иметь приличный вид просто необходимо.

Вот хоть бы Андрей: сам из себя крупный, солидный, а разговор пусть и медленный, но слова — веские. Не говорит — печати кладет. Не *фармазон* — Государственный банк. А вот смотрит своими округлыми, чуть навывкате, глазами Андрей не совсем хорошо: есть в его взгляде, как выразился Ф.М. Достоевский, «что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь». Падучая, может, не падучая, но с головой что-то, правда, не в порядке у Андрея — в дурдомах лежал неоднократно, а на учете в психдиспансере и сейчас состоит. И хоть утверждает он в кругу немногочисленных «однокорытников», что «это понты, это для ментов, для отмазки, если схомутают меня все-таки», — нет ему в этом полной веры (да и ни в чем другом тоже нет — впрочем, взаимно). «Может, шизик, а может, и не шизик — считали фармазоны, — хоть голова и варит. Не голова, а Дом Советов, нельзя не признать».

Ну а насчет, угадывает кто чего по его взгляду или не угадывает, дела до того нет Андрею, и работает он широко и спокойно. Перво-наперво узнает Андрей в РЭУ, ЖЭКе по наводке компаньонов из милиции (на заре демократии это случилось сплошь и рядом), что в таком-то очень приличном доме в очень приличной квартире одиноко проживает совершенно неприличный гражданин — асоциальный элемент, можно сказать, ежедневно позорящий родной квартал пьянками и хулиганскими выходками.

Это безобразие, сразу понимает Андрей, такому элементу не место в оном доме и квартире, а место ему в двухкомнатной квартире в поселке городского типа «Свет Октября» Алексинского района Тульской области. И познакомится с элементом этим Андрей на почве совместного распития спиртных напитков, и придет к нему в гости. И нальют они по первой, а потом по второй, и в разговоре узнает Андрей, что нет у собутыльника ни влиятельных родственников, ни друзей — серьезных бандитов (всякое в жизни бывает). И предложит тогда Андрей элементу на рассмотрение дельную мысль: поскольку жизнь — дерьмо и нет никакой правды на свете, то не все ли равно, где бухать? Если есть деньги, то бухать хорошо везде. Можно, например, бухать по адресу (см. выше), где чистый воздух, мало ментов, и даже бабы там честнее, проще и покладистей. К тому же по новому месту жительства переселенца из гнилой, набитой проклятым мусорьем Москвы ждет сумма, эквивалентная грузовику водки с пропорциональным числом закуски. Бухать — не перебухать и жизни новой радоваться.

Если пойдет алкашок на такое предложение (всякое бывает), то тут и криминала-то никакого нет — сплошная ай-люли-малина. Купит ему Андрей в означенном (или другом) — *поселке городского типа* — двухкомнатную квартиру за три, много четыре тысячи долларов и еще четыре (это щедро) в рублях — чтобы пачка денег потолще казалась — на руки под расписку выдаст. Разумеется, после заключения и регистрации в Департаменте муниципального жилья нотариально оформленного договора купли-продажи алкашовой квартиры на имя нового владельца — какого-нибудь помощника Андрея. И через неделю продадут они эту квартиру, не запрашивая лишнего, тысяч за сорок—пятьдесят, отстегнут всем, кому положено, и останутся в огромной прибыли, и поделят ее в соответствии с коэффициентом трудового участия.

А если заартачится асоциальный элемент алкашеский, не пойдет по-хорошему на щедрое Андреево предложение, то ведь можно и по-плохому: уронит ненароком Андрей в алкашовой квартире куда-нибудь за батарею пакет с веществом бурого цвета, которое еще называют «план» или «паль», и/или ржавую, но снаряженную боевыми патронами обойму от «тэтэшника». А через полчаса позвонит из телефона-автомата и скажет только:

— В большой комнате за батареей.

И все. И придет в эту квартиру беда, милиция придет с понятами, и найдут этот «план» и/или обойму с боеприпасами, и оформят изъятие, и поволокут алкашонка на нары, чтобы он не скрылся от следствия и не смог ему

воспрепятствовать. А когда, повалявшись денька четыре на нарах, он узнает, что за хранение боеприпасов и/или наркотиков ему безусловно светит срок в три года, то совсем сломается, и тогда его вновь посетит Андрей. И объяснит ему, что все поправимо, надо только дать этим ментам бабки, получив их за счет продажи вышеупомянутой квартиры и переезда в известный уже «пгт», но в однокомнатную квартиру и с половинным против прежнего количеством водки в запасе. И тогда менты эти продажные уголовное дело закроют. И согласится на это враз поумневший алкаш, и дальше все пойдет как по писаному.

Много, много живет в российских деревнях, поселках и малых городах очутившихся в них таким путем беспутных москвичей, а еще больше, не прижившихся, бомжуют. Много, много денег загреб таким образом Андрей, но толком ничего не скопил — прогулял, пораздарил девкам, поотдал в долг без отдачи. Легкие деньги и уходят легко, потому что кажется, что легкими они будут всегда.

И еще по-другому кидал Андрей: сговорившись с другим таким же аферистом-фармазоном, получал от него у нотариуса *генералку* (доверенность, по которой доверитель разрешал Андрею совершать все действия, связанные с продажей квартиры доверителя, в том числе заключение договора купли-продажи и получение денег. Сейчас немногие нотариусы идут на оформление договоров купли-продажи по генералке, а раньше — обычное дело) на продажу собственной аферистовой квартиры. Нотариусу Андрей предъявлял паспорт совершенно постороннего человека с качественно в него вклеенной его собственной, Андреевой фотографией. Представляясь частным маклером или другом отъехавшего в командировку хозяина, Андрей по объявлениям в газете или другим способом находил покупателей, иногда человек пять разом, поскольку цена квартиры была привлекательной. С каждого из них после просмотра Андрей брал задаток — одну-две тысячи долларов, — «поскольку когда нет задатка — нет и покупателя, кто дает задаток, тот и покупает, а остальные пролетают, как фанера над Парижем». На задаток Андрей аккуратно давал расписку от имени постороннего человека, владельца украденного или потерянного паспорта (те, кто от дачи задатка отказывался, как нетрудно понять, сохраняли свои деньги). Затем Андрей начинал собирать все необходимые для совершения сделки справки, принимая по возможности новые задатки и ежедневно отчитываясь перед задаткодателями по телефону о проделанной работе (жил он, разумеется, в съемной квартире). Одновременно Андрей думал, анализировал, решал: кто из всех его клиентов по сделке лучше всех подходит на роль основной жертвы? Кто, предположительно, наименее способен к решительным действиям, не сможет *дать оборотку* — например, не надеясь на суды, обратиться к бандитам? Кто наверняка не имеет покровителей во властных структурах? Кто, узнав, что его кинули, впадет в ступор, запыет, потеряет время? Наверняка это средний служащий, чернильная душа, во времена государственной сумятицы со страхом рискнувший-таки рвануть на себя кусочек жирного казенного пирога, и, не очухавшись еще от собственной смелости, глотает горстями таблетки, чтобы не просыпаться среди ночи в холодном поту. Примерно такого субчика и повлечет Андрей «в судный день» к нотариусу, разумеется, не к тому, что выдавал доверенность, а совсем к другому. И заключит Андрей от имени своего доверителя с «чернильной душой» правильно оформленный договор купли-продажи и честь по чести подаст его на госрегистрацию. А получив на руки зарегистрированный договор, «чернильная душа» легко отдаст Андрею деньги и побежит к жене или в кабак обмыть свое приобретение. Откуда ему знать, что накануне сделки к первому нотариусу пришел хозяин квартиры и отозвал свою доверенность, поскольку передумал продавать квартиру. Заподозрил, конечно, нехорошую вещь нотариус, но что делать — такое требование закононо. И доверенность аннулировал. Сделка, проведенная по аннулированной доверенности, является ничтожной, недействительной с момента совершения. Потерял «чернильная душа» свои денежки. Андрей порвет свой левый паспорт и спустит его в сортир, съедет со съемной квартиры и растворится в пучине мегаполиса. Аферист — хозяин квартиры восстановит свои на нее права и продаст вполне законным способом. Он объяснит следователю, что Андрея этого толком не знает, познако-

мились случайно, доверенность он выдал по своей простоте, а отозвал потому, что рассудил: глупо в наше время доверяться малознакомому человеку. Воистину так.

Разумеется, опомнившийся лох может принять-таки контрмеры, напустить каких-нибудь бандитов, и хозяин вынужден будет какое-то время скрываться. Что же, издержки профессии. Аферисты всегда в очереди меняющихся обстоятельств, это кровь такая, бурлящая.

А потом так еще кидал Андрей: снимет сам или через агентство какую-нибудь квартиру подороже да попримечнее и говорит хозяину:

— Не обижайтесь, но сейчас в Москве очень много квартирных афер, и бывает, сдают аферисты людям чужие квартиры. Мне не нужны приключения, поэтому я прошу вас показать мне свой паспорт и документы, подтверждающие, что это ваша квартира. А вот мой паспорт...

Паспорт этот опять же левый, но с Андреевой фотографией. Хозяин — честный человек, ему скрывать нечего, и он предъявляет свой паспорт и *правоустанавливающие* документы. Андрей смотрит, морщит лоб, шевелит губами.

— Вроде все в порядке, — говорит, — и вот вам оплата за первый месяц. Но сам я в документах разбираюсь не очень, спишу-ка я все выходные данные вот на эту бумажку и сегодня же проверю их подлинность через свои контакты в милиции. Если все в порядке — завтра заплачу вам еще за два месяца вперед и начну завозить вещи.

— Проверяйте на здоровье.

Назавтра Андрей говорит, что проверка прошла успешно, платит еще за два месяца и начинает завозить вещи. А еще он заказывает у специального своего мастера — Брательника — левый паспорт со своей фотографией, но на имя хозяина квартиры и с теми же выходными данными, что записаны у Андрея на бумажке. Одновременно он заказывает полный комплект фальшивых (высокого уровня) правоустанавливающих документов на имя реального владельца (подражается — Андрея) со всеми данными: номером бланка документа, шифром ЕГРП (Единого государственного реестра прав), датой выдачи и занесения в базу и т.д. — именно эти данные он и выписывал на бумажку якобы для проверки. Если женат хозяин и квартира приобретена в период брака (является совместно нажитой собственностью) и, следовательно, нотариус потребует согласие супруги на продажу, Брательник всадит в паспорт новые даты, и квартира станет свободной от притязаний супруги. Сделает Брательник и справки РЭУ (квартира свободна, все выписаны по конкретному адресу, соответствующему новому адресу в паспорте хозяина — Андрея, печать, подпись), да и нельзя Андрею в РЭУ: там настоящего хозяина могут знать в лицо. А вот в БТИ можно и нужно — пусть хоть часть документов будут подлинными. И остается теперь подобрать лоха, «лоха голимого», который не сунется в РЭУ проверять, действительно ли выписаны жильцы. Главное же, согласится помимо задатка (без этого Андрей с ним работать не будет) отдать хотя бы половину стоимости квартиры после совершения сделки купли-продажи у нотариуса (нотариус не в состоянии провести тщательную экспертизу брательниковской *липы*), но до подачи документов на госрегистрацию, где любую подделку, скорее всего, расколют.

— А почему я должен быть уверен, что, получив зарегистрированные документы, вы заплатите мне хоть копейку? — спросит Андрей. — В договоре купли-продажи записано, что расчеты между сторонами произведены полностью. А я от вас получил только маленький задаток. Нет, рискую здесь я... Так что расплатитесь до регистрации.

Не каждый лох найдет, что отвечать. Андрея устроит и вариант «половина — до регистрации, половина — после». В этом случае он, получив половину платы, отойдет якобы на минутку — в туалет и исчезнет, ляжет на дно, предоставив всем прочим участникам сделки решать возникшие проблемы самостоятельно. Его навар, даже за вычетом накладных расходов, составит десятки тысяч долларов.

И еще по-всякому кидал Андрей, и почти всегда успешно, но не все коту масленица. Покупал однажды он в качестве частного маклера большую квартиру на Арбате одному солнцевскому предпринимателю и вовсе не собирался его кидать — чай, голова-то одна на плечах. И купил. И позвал предприниматель этот других предпринимателей и коммерсантов на пир по случаю новоселья. И прорвало в тот

день канализацию в квартире (дом-то дореволюционный, трубы сгнили), и ржали все эти бизнесмены так, что, может, в Кремле слышно было. И предприниматели велел тогда Андрея сыскать и пришить. И сбежал тогда в Америку Андрей — родня у него в Америке, и там схоронился. А когда через года полтора замочили того предпринимателя другие предприниматели и коммерсанты — тогда вернулся.

Но к концу девяностых годов в Москве порядок денежных расчетов при совершении сделок купли-продажи недвижимости на *вторичном* рынке жилья (то есть жилья, в котором раньше кто-то проживал, в отличие от новостроек, которые считаются *первичным* рынком) окончательно устоялся. Теперь покупатель перед совершением сделки у нотариуса стал в присутствии продавца закладывать деньги в банковскую ячейку на время (от недели до месяца) регистрации сделки в Москомрегистрации, а продавец мог их забрать оттуда, только предъявив зарегистрированный по всем правилам договор купли-продажи оной недвижимости на имя нового владельца — того самого покупателя. Плюс еще, конечно, паспорт и документы об аренде ячейки (в разных банках по-разному). Если же регистрация договора по любым причинам не происходила, покупатель имел еще несколько дней для того, чтобы забрать свои деньги. Как показала практика, эта схема расчетов является оптимальной и устраивает всех, кроме аферистов и лохов.

И заскучал Андрей — крутить аферы с левыми *правоустанавливающими* стало сложно, авансов больше частных маклеру никто не дает (максимум пятьсот долларов), левые документы куда дороже стоят. Организовывать *признанку* (см. ниже) — и долго, и хлопотно, и прибить могут, а он теперь *пуганый* стал. Да, строго говоря, пора и остепениться уже — молодым вечно не будешь. И стал Андрей себе крупное дело высматривать, одно, но такое, чтобы в Штатах как-то первоначально обустроиться позволило. Здесь-то при новых условиях что ему делать?

А пока, чтобы не терять квалификацию и вернее на такое крупное дело выйти, решил он в какое-нибудь агентство недвижимости устроиться, и притом в отдел аренды. Квартирами же в основном интересовался — для VIP-клиентов. Остальное — так, для поддержания штанов было (и только по-честному), поскольку решил Андрей по мелочам больше не размениваться.

Рассудил же Андрей следующим образом: раз деньги кинутого лоха ему из банковской ячейки до регистрации сделки не выдадут, значит, нужно пройти регистрацию. А если брательниковскую подделку на регистрации расколют, значит, *правоустанавливающие* должны быть подлинными. Только как это организовать? И Андрей придумал, как...

Долго ли, коротко — запиликал музыкально телефон в отделе VIP-аренды, и узнал поднявший трубку Андрей, что некий человек, Петр Александрович, имеет намерение сдать в аренду на длительный срок принадлежащую ему по праву собственности четырехкомнатную квартиру на Остоженке, в пяти минутах ходьбы от метро «Кропоткинская», общей площадью в сто двадцать два квадрата, жилой — в семьдесят восемь, а кухня шестнадцать, потолки — три сорок, евроремонт, охрана, домофон, балкона нет. И хочет он сдавать квартиру за восемь тысяч долларов в месяц, желательно иностранцу, поскольку нашим особой веры нет. Но урезонил его Андрей: и иностранцы разные бывают, сбежит за границу, где там его искать? А недавно обратился, мол, к Андрею, помощник руководителя московского представительства ЗАО «Сибирско-Уральский прокат» и просил подыскать для босса представительскую квартиру в центре — такое вот счастливое совпадение.

— Разумеется, Петр Александрович, — проникновенно и доверительно предупредил Андрей, — я сейчас не могу гарантировать, что его босс арендует именно вашу квартиру, но это вполне вероятно. Разумеется, сначала квартиру и подлинники документов на нее должен посмотреть я, поскольку наше агентство не желает попасть в двусмысленное положение, если что не так. Я готов выехать прямо сейчас.

И, никому на фирме своей ни слова не сказав, побывал Андрей в квартире этой и посмотрел документы на нее. Оказалось — хорошие документы.

— А временная регистрация в этой квартире возможна, Петр Александрович? Здесь кто-нибудь прописан?

И отвечал хозяин, что никто не прописан, но никого регистрировать здесь он не будет. Ма-ало ли что потом...

— А выписку из ЕГРП не брали, Петр Александрович?

— Какую выписку?

— По ней можно проверить, не существует ли на квартиру прав у других людей. Я буду вынужден это проверить — это моя работа. Под судебным, прокурорским, иными запретами не состоит?

— Я вас не понимаю.

Для выяснения всех этих обстоятельств (в агентстве, дескать, требуют) Андрей записал все выходные данные *правоустанавливающих* документов и паспорта хозяина квартиры. А собираясь уходить, потупил несколько глаза и, как бы стесняясь, сказал:

— Хороших квартир довольно много, а денежных арендаторов мало. Бывает, что хозяин квартиры, если с ним не торгуются, платит посреднику небольшую комиссию.

И мелькнуло понимание в глазах хозяина. «Вот зачем ты про выписки, про запреты какие-то плел... Данные на бумажку выписывал... Тебе денег хочется». Вслух он сказал:

— Это не проблема. После разрешения вопроса по существу и в разумных пределах, конечно...

Андрею было глубоко плевать на эту дурацкую *комиссию*, ему надо было сформировать в голове хозяина свой образ — «мелкий процелыга, вымогающий подачку». Таких людей не опасаются, не воспринимают всерьез. И вместе с тем, зная Андреев меркантильный интерес, хозяин будет надеяться, что Андрей действительно приведет к нему этого сибирско-уральского босса. И не обратится к другому агенту в ближайшие несколько дней. Управлять поведением лоха — и сласть, и суть работы фармазона. В том и перец, и мак, и хлеб его насущный.

И еще сказал хозяин уже тоном требовательным, что надо завершить дело и получить двухмесячную оплату в течение недели, поскольку он намерен застать еще весну на юге прекрасной Франции. И подтвердил Андрей, что весна во Франции — это хорошо.

А про себя подумал, что нечего больше ждать, дело подходящее, надо его делать и дергать из страны.

— Есть чего?

Андрей просунул голову в окошечко пункта проката спортивного инвентаря одной из московских горнолыжной трасс и посмотрел на старшего Вялого странным своим взглядом. Тот немного опешил:

— А-а, это ты? Заходи в дверь, чего в окошко лезешь-то?

Странный он, Андрей, правду говорят — шизик. Лоха кинуть на большие деньги, развести семейство лошиное на квартиру ему раз плюнуть. А вот в пункт проката сразу не вошел: без приглашения неудобно как-то. Вообще в своей частной жизни (но только не на работе) нападала на него какая-то заторможенность, застенчивость, что ли. И чтобы застенчивость эту компенсировать, войдя, он по-мальчишески не поздоровался, хотя не видел обоих братьев Вялых без малого год.

— Чего стоишь у дверей, иди сюда. Слышь, Андрей, — крикнул из полумрака младший Вялый, лязгая в простеньком сейфе ключом, — давненько тебя не было видно.

Андрей вдоль длинных стеллажей со стоящими на них вертикально горными лыжами прошел в глубину помещения и остановился у колченогого столика, на который Вялый успел вывалить штук двенадцать красненьких паспортов.

— А мы уж думали, тебя — того... Хотели было другому сдавать. Где пропадал-то?

— Мог бы сдать другому — сдал бы. — Голос Андрея обрел уверенность, потому что это уже начиналась работа. — Нет у тебя никого. Лампу поярче добудь. Не видно ни хрена.

Вялые не были преступниками, криминальный мир они не любили и боялись его, себя же считали людьми глубоко порядочными, да в основном, пожалуй, так оно и было. Паспортов они не крали, не находили на улице... А вот откуда эти паспорта появлялись. Если лыжи, выданные напрокат, были не очень дорогими, то Вялые брали в качестве залога за них не деньги, а паспорт клиента. Очередь за

лыжами выстраивалась длиннющая, тут не того, чтоб дотошно сличать фотографию на документе с физиономией его владельца. Да и не граница здесь, в конце концов, не секретная лаборатория... Даже если кто-то и подсунет вместо своего чужой, ворованный или найденный паспорт, то самое худшее, что при этом последует, — пропадет пара лыж. Жулик, конечно же, унесет их с собой — затем и чужой документ подсовывал. Но для Вялых — это потеря плановая. Доход от большого оборота сданных по паспортам напрокат лыж существенно превышал сумму, которую они должны будут вернуть хозяину за украденные.

А паспорта: куда их девать? Найди Вялые документы на улице, они, может, сдали бы их в милицию или отвезли бы по адресу владельца. Здесь — другое дело, здесь паспорта эти выступали как некое негодное платежное средство, вроде фальшивого доллара, который следует по возможности реализовать, чтобы минимизировать убытки. Здесь это — бизнес.

Андрей быстро просматривал паспорта начерно: браковал принадлежащие женщинам, азиатам, кавказцам, зеленым юнцам и преклонным старцам. Такие паспорта он складывал ровной стопкой на дальнем от себя краю стола. Другие — мужчина, гражданин Российской Федерации, возраст от тридцати до сорока, фамилия русская, родился в Москве, паспорт выдан в Москве, зарегистрирован тоже в Москве — Андрей клал рядом с собой. Таких паспортов оказалось только три. Их Андрей подверг дополнительному просмотру — не хватало еще ему самому *схватить* левый паспорт. Так: потрепанность паспорта и всех его страничек — равномерная (все три не потрепаны); явных следов переклейки отдельных страниц не имеется, и их нумерация не нарушена, серия и номер паспорта на страничке с фотографией соответствуют таковым на остальных страничках. Брак — зарегистрирован... Расторгнем.

Личная подпись — у одного заковыристая и отработанная, наверно, писучий человек, у остальных — элементарная, как у школьника, наверно, работяги. Теперь — фотографии. Рост, вес, посадка головы — это по фотографии не определишь (фотограф всем говорит: «Сядьте прямо, не сутультесь»), главное — тип лица. Вот у этого лицо округлое, глаза маленькие и поставлены близко, а у Андрея все наоборот. И остальные не очень-то похожи. Фотографию придется менять. Ладно, сделает Брательник. И решил Андрей эти три паспорта взять — вполне можно с ними работать. А Вялым сказал, что фуфло это, за них даст по семьдесят баксов, а остальные ему вообще не нужны.

— Мы их держали, тебя ждали...

— А ты их другому отдай. Он ведь есть у тебя — другой?

Ответом послужило враждебное молчание. Андрей не любил зря обижать людей. Это просто глупо. Оставшиеся у него за спиной, обиженные даже по мелочливым людям впоследствии могли принести неприятности.

— Вот видишь, нету. Мне не нужны эти паспорта, но я их возьму по триста рублей — для коллекции... — Андрей бросил на стол три сотни баксов. — И никогда не гони порожняк, попадешь в глупое положение.

Произнеся эту фразу самым что ни на есть дружеским тоном, Андрей аккуратно переложил две стопки паспортов в разные отделения черного кожаного портфеля в стиле «ретро» (он в одежде вообще косил не то под буржуа предреволюционной поры, не то под ответработника пятидесятых годов — конечно, если позволяли обстоятельства), отсалютовал Вялым рукой и стал пробираться к выходу. Теперь — к Брательнику.

Брательник был человек рассудительный, лет уже степенных и многосемейный. Закончил в свое время «Строгану» и стал художником, а каким — того не ведаем, но не так чтобы очень хорошим. Бывал и в граверах, ювелирах, упражнялся одно время в изготовлении фальшивых ассигнаций, но испугался и бросил. В последние лет пятнадцать сильно увлекался компьютером и очень хорошо его освоил, особенно те программы, которые связаны с обработкой изображений и оформлением печатной продукции. Он очень прилично зарабатывал, имея вполне легальные заказы от больших и малых издательств и редакций самых разных направлений, и не уклонялся от уплаты налогов. Оба его балбеса сына заканчивали вузы и готовились перенять на свои узкие спины часть Брательниковой ноши на поприще

ХТОПП — художественно-технического оформления печатной продукции. Но успешный глава семейства своей работой удовлетворен не был. Вся эта бодяга, оформление каких-то тупеньких книжечек, журнальчиков с голыми девками являлась ремеслом, а не искусством, она не давала ему возможности проявить свой потенциал Мастера, яркой индивидуальности. Ее, бодягу эту, мог выполнить любой средней руки специалист

Свое истинное призвание он нашел лишь годам к сорока и совершенно случайно. В начале девяностых годов Брательник мастырил и ставил на поток всякие «удостоверения рэкетира», «удостоверения дебила», «негра», «марсианина» и т.д., с баснословным успехом расхоронившиеся с лотков на Арбате. Для пушнего эффекта в удостоверение, скажем, марсианина вклеивалась фотография покупателя, снятая Брательником тут же на месте и отпечатанная в соседнем подвале. Венцом всего являлась гербовая печать с надписью «Управление делами ЦК КПСС. Отдел расстрелов». Это была хорошая, качественная работа, можно сказать — авторская. И потому дорогая. Иное дело — *ксивы* такого же рода, но сырые, липкие от сочащегося из всех щелей непросохшего канцелярского клея, без всякой фотографии и с размазанной печатью. Их предприимчивые кооператоры продавали раза в три дешевле. А потому предприятие Брательника стремительно теряло доходность, и думал он уже лиять с Арбата, когда однажды к нему подошел прилично одетый господин и спросил:

— Печать сам лил и резал?

— Предположим.

— А еще что можешь? По гербовой бумаге можешь? *Розовый листок* можешь?

Брательник не понял сразу, что такое *розовый листок*, но с гербовой бумагой сталкивался еще по фальшивым ассигнациям.

— Предположим.

— Тогда чего ты тут ловишь? Пойдем, обкашляем некоторые вопросы, может, придем к консенсусу.

Через полчаса в кооперативном кафе прилично одетый господин, представившийся Андреем, предложил Брательнику выдержать экзамен: изготовить по образцам *розовый листок* (свидетельство о праве собственности на жилище) и *передаточный акт*. Кроме того, следовало вклеить в чужой паспорт фотографию Андрея, на которой тот выглядел лет на десять моложе.

Экзамен Брательник провалил. Нет, сам текст, цвет, оттенок *розового листка*, круглая печать и угловые штампы были исполнены безукоризненно, а вот бумага не годилась никуда. Любой нотариус легко обнаружил бы подделку. Передаточный акт Брательник соорудил «на пятерку». С паспортом вышла заминка — отретуширована фотография была очень технично, а вклеена и проштемпелевана сзади неаккуратно: не было у Брательника штемпеля.

— Ну что же, первый блин комом, — прокомментировал Андрей, — но ты работать можешь, я сразу вижу. Если желание есть, конечно. В общем, так: за комплект этот плачу две штуки баксов — я своих никогда не обманываю. И ментам не сдаю. Думай, как сделать *розовый листок*, еще лучше подлинную бумагу достать. Мой мастер сейчас в отъезде на три года, спросить не у кого... Да он бы и не сказал. Паспорта тоже *мыль* придется, запасайся смывкой, мастикой, пером подходящим.

— Экспертиза все равно покажет...

— До экспертизы не дойдет, не волнуйся. Мне главное пройти нотариуса. И вообще — это не твоя забота, если я товар беру, значит, беру. Ты оригиналы-то возьми для наглядности, а если научишься смывать — смой. Они уже засвечены, по ним ничего не сделаешь, но бланк пригодится. Вот еще паспортов парочка для тренировок — учиись. Я через месяц позвоню, поговорим про твои успехи. А если передумаешь — забудем намертво.

Этот разговор надолго определил судьбу Брательника. Не месяц и не два, а целый год прошел, пока он выучился — человек небесталанный — основам новой и, как выяснилось, увлекательной и достойно оплачиваемой профессии — фабриканта поддельных документов. Он лепил левые *розовые листки* (к *первичным* документам доверие выше), передаточные акты, свидетельства о смерти вполне

живых людей, выписки из домовой книги, где в качестве выписанных значились люди, которые в самой домовой книге числились как постоянно проживающие. Печати и штампы Департамента муниципального жилья в его исполнении не отличались от подлинных, а оттиснуть штамп в паспорте о расторжении брака любым, на выбор, загсом было для него сущей ерундой. Брательник имел образцы подписей и личных печатей многих реально действующих нотариусов. Случалось ему совершать от имени, но без ведома некоторых из них нотариальные действия, легко попадающие в категорию «должностные преступления». Не сразу, но в полной мере освоил он и паспорта: состарить или омолодить вклеиваемую на место прежней фотографию нового пользователя, подгоняя ее к дате последней вклейки фотографии прежнего владельца, смыть любую запись или все записи и сделать новые по выбору заказчика составляло для него лишь вопрос времени. Он обзавелся внушительным арсеналом технических средств — от небольшого *брошюровального* пресса до полусотни различных склянок со смывками, мастиками, тушью, клеем, десятками образцов бланков различных учреждений и многими-многими другими атрибутами своего, нет, не ремесла, а искусства. Все это хозяйство хранилось в тайнике и использовалось в кабинетике маленького, аккуратного и теплого подмосковного домика, купленного Брательником по документам давно бомжующего, а может, уже и умершего человека.

— Пять дней, Брательник. Пять дней на *правоустанавливающие* максимум, а паспорт можно потом. Два конца, если сделаешь, как с куста, ты меня знаешь. И еще: придется тебе самому показаться клиенту. Будешь московским представителем компании «Сибирско-Уральский прокат». Больше некому сейчас, а вид у тебя подходящий. Десять штук.

— Не мой профиль.

— Пятнадцать. За полчаса без риска. Поставишь закорючку, и все, не мне тебя учить. Тут делать нечего.

— Ладно.

Через неделю Андрей, Брательник и нанятый одноразово для пущей солидности и страховки здоровенный *бык* Виктор (который был не в курсе дела) явились в квартиру Петра Александровича для заключительных переговоров и подписания договора об аренде. Андрей и Брательник остались у входа, а Виктор под недоумевающим взглядом Петра Александровича обошел всю квартиру, осмотрел все заoulки и утвердительно кивнул Брательнику головой: все, дескать, чисто.

— Хорошо, — сказал Брательник, — подожди меня в машине, Виктор.

Виктор опять кивнул головой и вышел из квартиры. Его роль была окончена, свои двести долларов он заработал. Тогда квартиру в сопровождении хозяина степенно обошел Брательник.

— Петр Александрович, квартира меня устраивает. Цена аренды тоже, тем более что платит моя фирма. Арендная плата будет перечисляться на указанный вами счет в указанном вами банке. Разумеется, вам придется платить налоги, поэтому арендная плата может быть несколько увеличена.

— Но позвольте...

— Скажем, до девяти с половиной тысяч.

— Позвольте, я предупреждал, что хочу уехать и мне нужна предоплата...

— Я знаю. Мы решим этот вопрос. За первые два месяца я заплачу наличными, но в дальнейшем — только через банк. Наши финансисты не любят операций с наличной валютой.

На том и порешили.

Андрей принялся заполнять позаимствованный им на работе бланк договора об аренде и попросил Петра Александровича еще раз показать *правоустанавливающие* документы, чтобы внести в договор их реквизиты. Брательник же, как человек большой, которого не интересуют формальности, завел с хозяином спор о видах, открывающихся из окна соседней комнаты. Для разрешения спора пошли в это окно посмотреть, а Андрей тем временем спокойно переложил подлинные *правоустанавливающие* в свой портфель, откуда извлек изготовленные в ударном порядке Брательником дубликаты и, как ни в чем не бывало, продолжил заполнять бумажки.

Долго сказка сказывается, да не долго дело делается: прочитал хозяин договор — посмотрел на Брательник. Полез Брательник в портфель, достал денежки. Пересчитал хозяин денежки, написал расписочку. И поставили они тогда в договоре этом — один подпись, а другой закорючку. И возрадовались. А Андрей — больше всех. Так, что и про комиссию свою не вспомнил. И хозяин не вспомнил. И расстались они с тем, чтобы никогда больше не встретиться.

Квартиры, подобные принадлежащей Петру Александровичу, не имеют строгой рыночной стоимости — это не типовая *однушка* в панельном доме в Бирюлеве. Более того, стоимость одинаковых квартир в одном и том же доме в центре может очень сильно отличаться только потому, что из окна одной виден купол храма Христа Спасителя или кусочек Кремля, а из окон другой — нет. Имеет значение все: живет ли в том же подъезде киношная или эстрадная дива, известный демократ, крупный банкир, предприниматель. В этом случае дополнительная охрана подъезда и полный порядок в нем гарантированы, а стоимость повышается. Однако почти все дореволюционной постройки дома в историческом центре города имеют деревянные перекрытия, что увеличивает пожароопасность, маленькие и неудобные лифты (если они вообще есть), прогнившие трубы, электропроводку. И, кроме того, некоторые застройщики умудрились получить право на возведение здесь нескольких десятков элитных домов, свободных от указанных недостатков, но имеющих подземные гаражи, собственные спортивные залы, сауны и т.д. Сто-, двадцатиметровые квартиры в таких домах ходят на рынке за полмиллиона долларов и выше. Одновременно наличие рядом таких домов понижает стоимость квартир в *сталинках* и домах дореволюционной постройки. Весь этот комплекс повышающих и понижающих цену факторов серьезно осложняет объективную оценку квартиры, и денежный покупатель во многих случаях руководствуется правилом «нравится — не нравится». Однако какая-то цена продавцом все-таки должна быть объявлена и в наши дни обычно составляет для начала Остоженки две с половиной—три тысячи долларов за метр. Поэтому Андрей определил ее реальную стоимость в триста—триста шестьдесят тысяч, а продавать решил за триста двадцать (по максимальной цене квартира может продаваться годами). А когда реальный покупатель появится — поторговаться и еще уступить.

Теперь — как продавать? Дать объявление в «Из рук в руки»? Можно, но на какой телефон? Этой квартиры? А вдруг знакомые Петра Александровича случайно увидят? Или соседи? То-то кипеш поднимется. А вдруг бандиты пробьют по *телефонной базе* адрес и начнут пасти, врежут в телефонную сеть, выследят с деньгами покупателя или его самого? Пистолет к носу приставят — все деньги отдашь. А на просмотры кто приходиться будет? Покупатель в сопровождении агента, и первым делом повалят «слоны» — риелторские агентства «Инком», «Мизель», а у них проверка вполне серьезная. Андрею это надо? Самому объявления давать и телефон этот светить нельзя. Надо подобрать агентство недвижимости самостоятельно, и притом такое, что не будет сильно рыть, копать и ограничиться формальной проверкой. И главное, чтобы у агентства был свой покупатель. Потому что если оно начнет рекламировать квартиру через газету, то объявятся те же самые «Инком», «Мизель»... Опять ерунда получится. Андрей начал обзванивать агентства, что поплше, но не совсем отморозочные — кто же с отморозками хочет связываться?

Алекс

Алекс потянул на себя тяжеленькую дверку и вошел в предбанник, где сразу же через специальное стеклышко встретился взглядом с охранником, чье лицо было ему хорошо знакомо, а имя — нет. Охранник мог сказать об Алексе то же самое и потому без лишнего вопросов нажал на кнопку, отворяющую еще одну, уже металлическую дверь, за которой лежит полумрак *кулуаров*, то есть внутренние помещения риелторского агентства «Крылья Икара».

Гулким от пустоты коридором Алекс протопал в свой «Отдел расселения», где

грузно опустился на стул перед *дежурным* телефоном, на который приходят звонки с коммутатора.

Сейчас, пока утро, хорошо: тишина, покой. А скоро набегут всякие: и по делу, и без дела, начнется пустой бабий треп — чулки-сапоги, собачки-дети да зазвенят все телефоны разом, запоют на разные голоса мобильники; есть в отделе народ совсем никчемный, но есть и очень деловые-хваткие, и их даже большинство. От всего этого у Алекса голова пухнет, хоть вставай-беги, но какой дурак бросит свое дежурство? Ведь это хлеб: зарплаты агенту не идет ни копейки, деньги приходят только со сделки, точнее — процент от прибыли фирмы, которую та получит от сделки, которую инициирует и проведет агент. А откуда агент без связей и большого опыта возьмет сделку? Только с телефона, с коммутатора.

Кстати, об опыте: он, как известно, сын ошибок трудных. Но поскольку в работе с недвижимостью за эти ошибки в большинстве случаев расплачивается клиент агентства, риелторский опыт можно считать «сыном ошибок трудных... клиента», который обратился в ненадежное агентство или позволил навязать себе услуги недобросовестного, а чаще просто неопытного риелтора.

Есть в отделе агенты, что работают в *недвижимости* лет по семь — по десять лет, так они за это время обросли связями, обзавелись стабильной клиентурой — таким и дежурить на телефоне не надо, и без того работы хоть отбавляй. А Алексу сидеть-дежурить еще годиков пять — может, тогда и он без дежурств обойдется. Точно в конторе этой Алексу: привык за последние годы к воле — тревожная суэта аэропортов, взлеты-посадки, синее небо, дальние страны, закоулки чужих городов, рынки, товары, приколы разные — челноком был раньше Алекс. А здесь? Стол, контора, телефон, сидеть, ждать. Рутинная тяготящая, голимая!

Втягиваются постепенно в отдел агенты, референты (тоже на телефоне своем сидят, всяким звонарям на все вопросы отвечают и вообще держат всю и всяческую связь, так сказать). Референтам брать на себя *активы* (заявки от клиентов, чьи проблемы агентство может разрешить) вроде как и не положено — не их работа, а *по-левому* положено, начальство не против, потому что ясно: на одну референтскую зарплатишку не проживешь. А опыт, связи у них есть, хватку нажили. Владельцам фирмы что в конечном счете нужно? Им прибыль нужна, а кто ее даст — плевать.

Пошел-завелся и деловой, и пустопорожний треп, зазвенели все четыре отдельных телефона, загудела колоколом башка у Алекса, а самый нужный — *дежурный* — телефон как в рот воды набрал.

Всякое пыхтят про дежурный телефон агенты. «Конечно, — пыхтят, — начальство на рекламу деньги прижимает, так откуда же клиенты про фирму «Крылья Икара» знать должны? И откуда знать им номер телефона? Соответственно — откуда звонки?» Дураку же понятно — сколько рекламы, столько и звонков. А в конце месяца спросит Конь-начальник: «Почему мало «активов»? *Эксклюзивов* (договоров агентства с клиентом на покупку, продажу и т.д. недвижимости) нет почему?» Доказывай, что ты не верблюд. А еще идет между агентами, которые покороче друг с другом: «Надо на коммутаторе пятьсот рублей каждое дежурство давать — тогда тебе выгодные варианты переключать будут, а остальным одно фуфля пойдет. В некоторых, мол, фирмах и того круче: даешь коммутаторщикам сто баксов и сиди с ними сам целый день — отбирай хоть все звонки, какие нравятся. А остальную шелуху — честным дуракам, в отделы, пусть они в ней пороятся». Не знает Алекс, верить или нет.

Вообще-то с некоторых пор дежурный телефон стал редко звонить в «Крылья Икара», и новая *указывка* сверху пришла: дежурство на телефоне, мол, является лишь определенным подспорьем в работе агента, основную же часть работы он должен искать и находить себе сам. И еще на собрании корил всех тунеядством владелец фирмы: подсчитано, дескать, что каждый телефонный звонок с учетом всех затрат (следовал длинный перечень: аренда помещения, электричество, зарплата барышням, многое-многое другое и, главное, реклама) обходится фирме в двадцать три доллара. А прибыль фирмы, полученная с этих звонков и деленная на количество звонков, составляет всего двадцать два доллара. А может, были и другие цифры, потому что невнимательно слушал Алекс, кивал только вместе со всеми головой: правильно мол, Олег Иваныч, дармоеды мы. И выходило так, что от

рекламы фирме один убыток, дешевле ее вовсе не давать — вот где самый успех коммерческий таится. Так и сделали. И что же? Еще дед Щукарь рассказывал: «Решил это раз цыган свою лошадь не кормить, дескать, приобькнет кобыла без корму. А она, сердешная, привыкала привыкала да и померла через неделю».

Так и здесь: через пару недель побежали из агентства сотрудники — на кой им эти «Крылья Икара», если с телефона здесь ничего не светит? У кого *свои сделки* (то есть полученные не с рекламного телефона, а на личных контактах) есть — приходи в любую фирму, оформляй за хороший процент, почет дорогому гостю. Спихватился тогда Олег Иванович и рекламу возобновил. Но слабенькую, только для проформы.

И начали тогда агенты искать пропитания на стороне: на столбах фонарных, на подъездах, на автобусных остановках стали объявления клеить. А что они там писали? А вот, например, что:

Нефтегазовая компания

*(ниже следовало выполненное на компьютере изображение нефтяной вышки)
купит для своих сотрудников одно-двух-трехкомнатные квартиры в этом микрорайоне. Оформление только через уполномоченную фирму
«КРЫЛЬЯ ИКАРА»*

И, разумеется, телефоны: рабочий, домашний, мобильный.

При чем тут «нефтегазовая компания»? Совершенно ни при чем. Но будем откровенны: не любит публика агентства недвижимости. За что? За все: за то, что они гребут *большие деньги*, за то, что посредники, за беспредел на рынке недвижимости при первом пришествии демократии и за то, что их не за что любить. И имеет с ними дело через силу, по необходимости. Но если известен конкретный покупатель, тем более такой солидный, как нефтегазовая компания, — это как-то успокаивает. Хорошо ходили также «коммерческий банк», «американская корпорация» и даже какой-то «межконсалтинговый холдинг» с мутным изображением некоего монументального здания в качестве подтверждения надежности конторы. Факт налицо: такого рода объявления привлекают внимание и дают звонков больше, чем объявления от имени агентства. Насчет же «нефтегазовой компании» — пустяковое дело: главное заключить с продавцом квартиры *эксклюзивный договор* и выставить его квартиру на продажу. А когда найдется покупатель — шепнуть ему: ты мол, сотрудник нефтегазовой компании. Не будет же продавец удостоверение спрашивать. А хоть бы и не шептать: когда продавец увидит деньги, закладываемые в банковскую ячейку, ему будет все равно, что «межконсалтинговый холдинг», что торговец помидорами.

И все же эффект от расклейки объявлений мизерный. Загруженный по самую макушку телевизор обыватель не верит никаким объявлениям на столбах, за каждым из них ему чудятся некие кошмарные *черные маклеры* с сотовыми телефонами и окровавленными топорами в волосатых ручищах. Если бы с трех тысяч расклеенных объявлений риелтор получал хотя бы одну сделку, он бы только объявления и клеил. А проще, нанял бы расклейщиков — безработных и/или бомжей (хотя это ненадежно: халтурят, гады, половину наклеят, половину в урну выбросят) или вошел в стачку с почтовыми работниками и они разбросали бы его листовки в почтовые ящики. Многие перешли бы в частные (*черные*) маклеры, конечно, без всяких топоров.

Еще стали непутевые агенты из «Крыльев Икара» в разные РЭУ, ЖЭКи, правления ЖСК тыркаться: где, скажите пожалуйста, у вас тут проживает всякая пьянь, которая хочет обменять свою большую квартиру на меньшую, получив при этом доплату? А может, аналогичную операцию хочет провернуть тихая бабушка-старушка с целью подарить любимому внуку машину или выкроить деньги на пышные похороны? Давайте мы с вами будем плодотворно работать на этом поприще с перспективой совместного процветания. И отвечали им работники ЖЭКов и РЭУ: поздно вы, из «Крыльев Икара», опомнились. У нас тут все давно обшарено. И с вами мы работать не будем, потому что мы давно плодотворно

работаем с толковыми агентами из фирмы «Бейлис и Ющинский», а также из корпорации «Другая альтернатива». Так что уходите вы, непутевые, по-хорошему из наших муниципальных учреждений.

И начали тогда эти агенты совещаться. Они сказали: у всякого своя масть. Давайте мы пойдём — кто куда. Кто раньше спортсменом был, тот иди, восстанавливай контакты в мире спорта и с бандитами, потому что там сейчас есть очень богатые люди и им тоже надо улучшать жилплощадь. Кто был актер, тот ступай к артистам и политикам, которые дают артистам большие Государственные премии, потому что свой своему поневоле брат. А кто был челноком, тот и иди к своим челнокам, посмотрим, что ты с них выкрутишь. И сделали агенты супротив вышесказанного все один к одному. Но и тут не было им удачи, потому что сказали им спортсмены, бандиты, артисты, челноки и политики: какие же вы риелторы? Настоящие специалисты — они другие, они все сидят, дежурят на телефоне в фирме «Черная звезда». Об этом даже что-то по телевизору говорили¹. И вспомнили тут агенты, что нет пророка в своем отечестве. И кинулись было устраиваться в фирму «Черная звезда», но там, оказывается, всех посадили уже. И, махнув рукой, стали дежурить на телефоне в фирме «Крылья Икара». Вот и Алекс сидит, дежурит.

Заспорили громко *крутые* в углу: почему нынче судья первой инстанции? Один кричит: «Пятерка — красная цена. Можно и дешевле взять. Как пробка, из квартиры вылетит бабка эта». Другие перечат: «Раз на раз не приходится».

— А ты, Саш, сам-то в судах много участвовал?

— Участвовал. Побольше тебя-то.

— Побо-ольше. Ну, купишь ты за *пятерку* судью первой инстанции — не спорю. А что дальше? А они — в Мосгорсуд. Там сколько платить будешь? А в Верховном? У тебя денег не хватит.

— Ты за мои деньги не волнуйся. Пока вся эта мутотень будет длиться, старуха концы отдаст. А наследников нет никого — я дело знаю туго.

— Ты успокойся, Саш. Ты, может, уже пол-Москвы из квартир повыселил?

— Сама успокойся.

А еще Глиста выступает опять: каких только клиентов не было у нее? В год по сорок—пятьдесят штук прибыли приносила.

Вообще среди агентов это очень распространено: гордиться тем, что они *приносят прибыль* фирме и ее хозяевам. Так прямо и говорят: «Я приношу большую прибыль». Будто животные — коровы или овечки мериносовые. И вообще странно Алексу: и что за народ, людишки эти самые? Каким только бредням не верят! С какой только, казалось бы, совершенно очевидной дрянью не связываются? Послушав, как безостановочно и бессодержательно бубнит та же Глиста что-то о защите агентством недвижимости незыблемых конституционных прав граждан, любой нормальный человек должен чувствовать себя оскорбленным. Так нет же, действует на них, есть у нее клиенты. «Все мы, — говорит, — работники разговорного жанра, только есть мастера, а есть — бездари». «Это среди клиентов твоих, — Алекс думает, — есть дураки, а остальные бездари».

Дзынь. Наконец-то проснулся телефон дежурный.

— Здравсте. Я это, ну, в общем, насчет квартиры продать. Вы же этим занимаетесь? Вам же самим выгодно.

— Здравствуйте. Наша фирма относится к подобным намерениям очень заинтересованно. Расскажите подробнее: сколько комнат? Квартира приватизирована?

— Однокомнатная. Она купленная у меня. Значит, так: комната девятнадцать, кухня девять, санузел совместный. Сколько дадите? Я цены знаю.

— Давайте уточним подробности: ближайшее метро какое? На какой улице расположен дом?

— Царицыно. Кавказский бульвар.

— А сколько этажей в доме? На каком этаже квартира? Какова общая площадь? Жилая — девятнадцать, да? Балкон, лоджия есть? Квартира телефони-

¹ Сотрудники агентства недвижимости «Черная звезда» в середине девяностых годов совершили несколько убийств своих клиентов. Дело получило широкую огласку.

рована? Металлическая дверь есть? Домофон? А какой номер дома по Кавказскому?

— Я чё-то не пойму, вы там чё, меня вычисляете, что ли? Номер дома я вам не скажу. Моя квартира тридцать шесть тысяч стоит. Даете тридцать шесть?

Ясен перец. Баба — твердая, дремучая дура. С такими труднее всего. Толку наверняка не будет. Но отработать все равно нужно до упора, *отпускать* нельзя.

— Я вас не вычисляю, а пытаюсь правильно определить стоимость квартиры по реальному рынку. Если в вашем же доме или в соседнем продается аналогичная квартира за тридцать четыре тысячи, то как продать вашу за тридцать шесть? Согласитесь, рынок сейчас очень строгий. Мне нужно залезть в базу данных, посмотреть специальные риелторские издания, чтобы все это уточнить. Поэтому я спрашиваю номер дома. Скажите его, и мы сделаем так: я минут за двадцать проведу все эти уточнения и вам перезвоню. Оставьте телефончик, пожалуйста. И как вас зовут?

— Телефо-он? Я от подруги звоню. И вообще там, ладно, не надо разводить меня по жиже. Я, может, еще позвоню, пока.

В трубке раздались гудки отбоя.

Черт. Сорвалась. И даже усомнился Алекс — уж больно анекдотично все это. Да был ли этот разговор, баба эта? Или, может, шутка какая? И откуда они только берутся, такие дуры, воображающие себя крутыми? Квартира ее тридцать шесть не стоит однозначно, от силы — тридцать четыре. А что будет дальше? Известно что. Будет она, упрямая, обзванивать фирму за фирмой и наконец нарвется на такую, где пообещают ей тридцать шесть тысяч, а то и тридцать семь. И подпишет она хитрый договор, юридического содержания которого понять не сможет, потому что дура (да и не всякий умный поймет). А потом ее начнут *опускать*: дескать, обстановка на рынке недвижимости изменилась, раньше стоила ваша квартира тридцать шесть, а теперь стоит тридцать четыре. И если не хочет она отдать квартиру за тридцать четыре, то должна оплатить фирме все расходы на рекламу (на которые фирма, конечно, не покусится), да плюс штрафные санкции, которые явственно присутствуют в договоре, она их просто не заметила. А если и от этого откажется, то пригрозят судом, наложением ареста на квартиру. Что ей делать? Нанимать толкового адвоката — еще дороже встанет. Вряд ли хватит у нее ума открутиться — наверняка испугается и отдаст квартиру за тридцать четыре, а на руки получит тридцать две с полтиной — даром ни одна фирма не работает. А оплатит рекламу и штраф — фирма все не в убытке, это баба время и деньги потеряла, а у риелторов работа такая. Так все оно и будет — не она первая, не она последняя прошла этим путем.

Иногда Алекса злость разбирает: может, самому так поступить? Бабу-то все равно «разведут по жиже». Не в другой фирме, так в третьей. Зачем упускать-то? Мало кто сегодня упускает дур и дураков разных. Слишком большая роскошь. А с умными что? По-другому разве? Что бы ни писалось в рекламных объявлениях, ни декларировалось в заключаемых договорах, ни сияло в честных, лучистых глазах представителей высоких договаривающихся сторон — фирмы и ее клиента, — цели их в значительной степени противоположны. Клиент стремится при помощи фирмы совершить какую-нибудь сделку со своей собственностью и при этом заплатить как можно меньше денег. Фирма же норовит содрать их как можно больше. Но сначала клиента нужно заполучить — он нынче мадам балованный да капризный, сам не дается, его подманить надо.

Вот глядите — объявление в газетке: крупнейшая, супернадёжная и основанная еще при царе Горохе риелторская фирма «Голиаф» проводит бесплатные консультации для всех желающих. Или даже проводит бесплатную оценку недвижимости по телефону. И точно, набери-ка номер — проводит. И, самое интересное, не очень-то и врет. Тут неглупый человек начнет чесать себе затылок: как же это? Что же они — дурачки, что ли? Ведь это им самим-то ведь в убыток? Конечно, в убыток: арендуй офис, поставь телефон, стол, стулья всякие, мордovorота на дверях, дай объявление в газетку плюс то да се — сколько расходов? А этот, который бесплатно оценивает, что, кушать не хочет? Что-то тут не так. Ведь не может же, правда, быть, чтобы было бесплатно.

Может. И бывает — сплошь и рядом. И для риелторской фирмы дело здесь не

в бесплатности оценки и даже не в самой оценке. Дело тут в звонке человека, который интересуется ценой недвижимости, в большинстве случаев — своей. Среди таких господ много просто любопытствующих — почему нынче квартирки-то? Да-а... Ужас. Куда катимся? А все же и рад: не совсем же он пустое место, раз владеет имуществом ценой в десятки тысяч долларов.

Но много и таких, кто оценивает недвижимость прицельно: продать, поменять, купить. Или проверить: правильную ли цену назвали в другом агентстве? Не надули ли? А *черный маклер* — он тоже разный. Один ориентируется в ценах лучше иного *правильного риелтора*, а другой — ни в зуб ногой (есть на свете люди, хватающиеся за любую возможность урвать кусок денег: сначала начинают, а потом думают, как закончить). Почему бы не спросить цену в трех-четырех местах? По телефону можно представиться кем угодно. А еще: покупает человек квартиру — хотя бы у своего знакомого и без посредников. Он достаточно сообразителен, понимает, что в такой ситуации агентству вклиниться в это дело невозможно и старательно оценивать квартиру риелтору резона нет. Так, ляпнет что-нибудь, лишь бы отвязаться. Поэтому звонящий представляется продавцом квартиры и, обзвонив ряд агентств, выясняет ее рыночную стоимость.

Бывает и круче: предприимчивый владелец комнаты в коммуналке находит покупателя на всю квартиру и методично обзванивает десятки агентств, будто бы оценивая свою комнату. На деле же медленно, но верно узнает реальную стоимость всей квартиры, технологию и последовательность расселения других жильцов коммуналки (дело непростое даже для профессионалов) и даже умудряется по просьбе покупателя дороговатенькой квартиркой узнать, где, как и на каких условиях тот может получить ипотечный кредит. Используя опыт и знания специалистов по недвижимости, такой деятель зашибает хорошие деньги, а риелторы остаются в дураках.

Цель у всех перечисленных категорий *звонарей* одна (она вполне соответствует заявленной) — узнать, сколько стоит та или иная недвижимость. После того, как они это узнают, они могут говорить «спасибо» и вешать трубку, поскольку их цель достигнута. Агент и агентство — наоборот, затратив силы и средства на оценку и организацию мероприятия, своей цели не достигли ни в коей мере — из «спасибо» шубу не сошьешь. В чем же эта «их цель»?

А в том, чтобы, используя некоторые хитрые и совсем нехитрые приемы, помимо оценки недвижимости собеседника привлечь его в качестве клиента в свое агентство, *взять на договор*, провести сделку, получить прибыль. Итак, номер раз: привлечь человека в агентство в качестве клиента. Клиент — это риелторское ВСЕ, без клиента нет и не может быть работы, клиент для агентства — как соленьость для соли, а «если соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой?».

А потому клиента, который хоть чуть-чуть *ведется*, то есть имеет серьезные намерения, пусть даже он выдвигает завышенные требования или имеет преувеличенные представления о стоимости своего имущества, *отпускать* (отказывать ему, разрывать разговор) нельзя — это грубая ошибка. Это даже не ошибка — это коренное, принципиальное непонимание агентом природы, самой сущности современной риелторской деятельности и ее приоритетов. Самое трудное в работе агента — что? Совсем не доскональное знание всех многочисленных законов и постановлений, касающихся недвижимости (хотя и это очень важно). Совсем не однообразные мытарства по различным московским учреждениям в погоне за необходимыми бумажками, не процедура закладки денег в банковскую ячейку, не нотариус (без него как раз можно). Не регистрация сделки, не реклама, не просмотры-показы. Для более или менее квалифицированного риелтора дорога здесь уже накатана. Самое главное — это найти себе работу: заинтересовать потенциального клиента, суметь уговорить, убедить его в своем совершенстве и непревзойденности (а равно и данного агентства недвижимости) лучше, чем это сделали или сделают те двадцать агентов из других риелторских контор, куда он позвонил или еще позвонит, принимая решение. И — *взять его на эксклюзивный договор*, начать работу. Кто этого не умеет, так и будет сидеть — лапу сосать, будь он хоть трижды профессионал во всех других вопросах маклерской деятельности.

Агента по недвижимости во время дежурства можно уподобить стрелку на огневом рубеже, а агентство, где он работает, — машине для выбрасывания

мишеней: хорошая фирма выкинет стрелку шесть мишеней за дежурство, а плохая — одну-две (бывает, что и ни одной). Хороший агент-стрелок поразит половину своих мишеней или хотя бы треть, а плохой — десятую часть, а чаще и вообще ни одной. И будет клясть невезуху, «тупорылую клиентуру» и все на свете. И будет во многом прав, но работы у него не прибавится. Хочешь зарабатывать — дай результат, то есть зааркань клиента, а не сотрясай даром воздух.

Приемы здесь могут быть самые разнообразные, они зависят от конкретной ситуации и квалификации агента. Например: прекрасно знают риелторы — алчен и ленив клиентшишко, хочет жать, где не сеял, и брать, где не клал. И все думает: как бы ему, умному, не затрачивая труда, срубить пару тыщ долларов лишку за квартиру, доставшуюся, почитай, и так задарма после дяди Васи-покойника? А вот, думает, как: позвоню-ка я в двадцать агентств недвижимости и оценю дяди Васину квартиру. Где больше всего предложат, туда и подамся. И срублю свою пару тыщ, а может, и более того. И возьмет он линияющую тетрадочку, и разграфит пару страничек карандашиком, и пододвинет к себе телефон. И к концу дня узнает, что в двадцати агентствах засело жулье: оценили дяди Васину *однушку* где в двадцать девять, а где и в двадцать восемь тысяч, «будем реалистами», говорят, мороча его умную голову. А вот в «Божественных чертогах» народ честный: оценили в тридцать одну. «А для начала, — говорят, — давайте за тридцать две выставим. Может, надо кому-то именно в этом доме или микрорайоне. А понизить цену всегда успеем».

Вот они — мои кровные, смекалистой моей мозговой извилиной без труда заработанные лишние две-три тыщи. То-то уж я найду им толковое применение. Чего тянуть — завтра же иду заключать договор с ребятами из «Божественных чертогов», потому что они есть хорошие парни. Они сразу поняли, что я не дурак, и предложили настоящую цену. Мы уважаем друг друга, мы достойны друг друга, мы — деловые партнеры.

И умный любитель брать, где не клал, попадает на *эксклюзивный договор*, который тянется и тянется, квартира не продается ни за тридцать две, ни за тридцать одну. Даже тридцати никто не дает. «Потому что, — как объясняют хорошие парни из «Божественных чертогов», — рынок жилья душат новостройки, цены упали в связи с сезонными колебаниями да и мало ли еще почему. А за двадцать восемь пятьсот можно продать — хоть завтра. Решайте сами».

Ну, предположим, понял продавец, что его — нет, не *развели*, как лоха (он ведь ничего не потерял, кроме времени), а просто смешно надули, как ребенка (посулили конфетку и не дали), что дальше-то? Квартиру ему и раньше почти везде оценивали в двадцать восемь—двадцать девять, так и здесь столько дают... И уже покупатель есть... Подобрали, гады... Хотя завтра... Скорее всего, подумав, он злобно согласится. А если не согласится, то... что? Кричать: «Караул, обманули»? Глупо и без толку. Хороших парней из «Божественных чертогов» этим не проймешь. Уходить в другую фирму? Так там больше даже не обещают. Из принципа? Это действительно бывает, но редко. Р-р-россиянин, понимаешь, предпочитает получить наличными, а не сохранить чувство собственного достоинства.

Какие еще есть способы заарканить клиента? Всех не перечесать, и сравнительно честные среди них — все. Потому что сравнивать можно только с методами работы других фирм — конкурентов, а те тоже работают лишь «сравнительно честно» (а некоторые и совершенно бесчестно). Те же, которые проявляли в работе с клиентами особую щепетильность, давно разорились и на рынке отсутствуют. Просто они забыли (а может, никогда и не знали по детскости разума своего), что в современной России честная работа не в почете и что клиент сам хочет слышать сладкую ложь, а не шершавую правду. Он, клиент, вовсе не удивляется и очень радуется, что в день обращения на фирму на его задрипанную квартиру совершенно случайно уже имеется покупатель, который в тот же вечер при просмотре увесисто одобряет жилплощадь и говорит, что, «наверно, будет брать». Казалось бы — дело в шляпе, да остановка за малым: для порядка и для того, чтобы начать готовить документы, заключить договорчик требуется. Что обычно и происходит. Только вот куда потом девается покладистый покупатель — загадка природы. Разумеется, для клиента; агенту прекрасно известно, где находится *подставной*, — часто это его друг, жена, коллега по работе.

В другой раз агент и сам окажет коллеге аналогичную услугу или отстегнет ему после сделки баксов десять—двадцать, поскольку долг платежом зелен. Так легковверный клиент оказывается *на эксклюзиве*, и дело идет обычным порядком. И, может, к лучшему: его никто не собирается *кидать*, просто люди добывают свой кусок хлеба.

Бывают и другие *штуки*, сейчас без этого тяжело, хорошие времена прошли, и риелторы, выживая в конкурентной⁴ борьбе, просто вынуждены, как выражался незабвенный фельдкврат Отто Кац, «идти тернистым путем греха», хотя грех этот, по современным меркам, весьма мелкого калибра, а путь их хотя и не тернист, но уж по крайней мере склизок.

Частенько вовсе без греха и нельзя: клиент попадаетея — чистый фараон. И сам-то он был менеджером в агентстве «Полный карман», брат «работает юристом» (на Петровке, в администрации президента и т.д.), друзья — все крутые бандюганы, «поэтому вы поставьте мою *хиву* в рекламу сразу, а будет покупатель — заключим эксклюзивный договор». *Отпускать* нельзя даже таких. Крепко запомнил Алекс услышанные краем уха слова чужого менеджера Музылева (свой-то тупой и ленивый попался, хотя и хитрый дурной мужижкой хитрецей).

— Запомните, подход к клиентам может быть только один: «Они — лохи, мы — профессионалы». Исходя из этого — пусть на первых порах борзеют, гнут пальцы, ставят тяжелые для нас условия. Соглашайтесь. По-умному, конечно, но соглашайтесь. Придет время, и мы что-нибудь придумаем, мы все равно их обойдем, не с той стороны, так с этой. Потому что мы — профессионалы, а они — лохи, что бы там они о себе ни воображали.

Алекс потянул с референтского стола особый журнал и сделал там короткую запись, что сегодняшнего числа в 11 часов 43 минуты была у него *консультация*. Потом, в конце дня, референт созванивается с коммутатором и все это проверяет: все ли записи агент сделал или, может, что скрыл? А сам потом с клиентом напрямую связывается, *по левой*... А что, такие случаи тоже бывают. Не держат на работе таких агентов. Но смотря где, конечно, и кого... В некоторых конторах толковому агенту настоятельно предложат вернуться на стезю долга, и все. Работать-то толком некому, от неопытных новичков прибыли нет. Зачем их, новичков, вообще набирают в таких количествах? Кто ни приди — почти любого, кроме явных «клиников», возьмут. А работы и на старых сотрудников не хватает.

Известно зачем — затем, что средний новичок в ближайшие полгода клиента с телефона, конечно, не зацепит и сделки не проведет. Но зато он может принести с собой *свою сделку* — эксклюзив, заключенный на личных контактах: с соседями, знакомыми, родственниками. И фирма, не увеличивая затрат на рекламу, увеличит свою прибыль. А потом, научится этот новичок работать — хорошо, нет — свободен. А если своих сделок не несет и с телефона не снимает клиента — свободен опять-таки. Зарплаты-то он все равно ни гроша не получил, а что даром время потерял — его трудности.

В иных отморозочных агентствах одурачить своего же сотрудника-новичка — совершенно обычное дело. Увидит, например, начальник, что у его подчиненного по какой-нибудь сделке прибыль хорошая ожидается, и говорит: «Слушай, тебе явно помощь требуется. Вот Петя Иванов — опытный, он тебе поможет. И не возникай, тут я решаю». И Петя Иванов, начальников наперсник и дружан, начинает везде лезть, проявляет страшную активность и делает ту легкую часть работы, которую первый агент запросто сделал бы и без него. А когда приходит время получать гонорар, Петя Иванов получает половину или большую часть, поскольку опять-таки начальник решает, кто лучше работал и больше сделал. Иногда, особенно когда сделка сложная и состоит из *цепочки* квартир или комнат, делают еще более нагло:

— Слушай, мы на такой-то квартире *лопали*, опека (органы опеки и попечительства) задержала документы, и наш задаток пропал. И хоть ты ни в чем не виноват — помни: из прибыли штука минус. Ну, что делать, ты сам знаешь — в нашей работе всякое бывает.

А на самом деле задаток не пропал, Петя и начальник просто украли и поделили его между собой. Как проверишь, как докажешь? В конце концов, приличные люди просто уходят из подобных агентств и оставшийся прожженный менеджмент набирает по объявлениям в газете новых простаков.

Иногда новички преподносят сюрпризы: прожженный *черный маклерюга*, прикинувшись новичком-чайником, устраивается в агентство и, пообещав вскорости представить свою сделку, проходит ускоренный курс обучения. Оччень даже тупой оказывается новичок, ну чистый *тормоз*. Однако в надежде на обещанную сделку начальство все же допускает его к рекламному телефону. И здесь-то «гадкий утенок» преобразается: с трех дежурств арканит пару клиентов, линяет с фирмы и проводит сделку самостоятельно. Весь доход,⁴ а не какой-то процент поступает в его карман. Агентство же остается в дураках. Разумеется, не каждый *черный маклер* на это способен и не каждый решится, поскольку со стороны *крыши* иной фирмы могут последовать весьма серьезные санкции.

Для борьбы с подобными явлениями крупными риелторские фирмы даже содержат особую спецслужбу — отряд профессиональных провокаторов, стукачей на жалованье. Повадки у стукачей этих довольно однообразные: позвонив на дежурный телефон и аккуратно представившись придуманным именем, они четко и ясно излагают свою придуманную же, заведомо *жирную* для испытываемого проблему (например: «Не знаю, как продать свою хорошую квартиру»). И сразу же попадают под подозрение, поскольку настоящий клиент ясно и четко изъясняется редко, из него информация клещами тянуть надо. *Проверяющий* всегда по просьбе агента оставляет контактный телефон (по блудливой мысли стукаческого начальства — главный соблазн для нечестного сотрудника. Без телефона похищение сделки теряет смысл) и терпеливо слушает зазывные речи риелтора, задавая по ходу дела разные наивные вопросы: я, дескать, явный лох, с меня деньги снять — раз плюнуть.

Предполагается, что такой тип клиента (потенциальная жертва) вероятнее прочих получит злонамеренное предложение сотрудника фирмы провести сделку без ее участия — с тем же блистательным результатом, но гораздо дешевле. Под конец разговора начинающий провокатор вываливает, как из мешка, штук пять заковыристых вопросов (что опять-таки не выжется с образом лоха-жертвы), причем задает их в примитивно-казенной форме (может, и по бумажке читает):

— Скажите, а какой налог на наследование должен уплатить наследник третьей очереди в случае, если наследников первой и второй очереди не имеется, а на момент смерти он проживал совместно с наследодателем? Должен ли он платить налог по месту жительства или по месту открытия наследства? Любой ли нотариус данного нотариального округа ведет наследственные дела?

Нормальный человек никогда так не спросит.

Зачем им это нужно? А затем, что *проверяющий* помимо благонадежности риелтора должен выявить его квалификацию: как реагирует на сложные и неожиданные вопросы, не начинает ли теряться, мямлить? Не так уж и важно, что отвечает агент — (стукачишка в большинстве случаев все равно сам не понимает, что правильно, а что нет), важно — как отвечает. Бодрый, уверенный и дружественный тон, ответы без малейшей запинки, стремление захватить в разговоре инициативу, предложение разрешить все проблемы клиента путем заключения эксклюзивного договора — все это проверяла оценить может и изложить в докладной своему стукаческому боссу. Примерно та же картина открывается и в случае, если такой красавец заявляется прямо в фирму: надо же ему посмотреть, с кем предстоит иметь дело? Сделка с недвижимостью — штука серьезная... Не ишака купить.

Впрочем, не все стукачи ведут себя так неловко, многие *гонят порожняк* весьма складно и выдают себя лишь тем, что по ментовской своей привычке бросают резкие, неожиданные взгляды прямо в глаза собеседнику, как бы стремясь пронзить его до самой глубины вороватой души. Так, вероятно, на прежней работе они раскалывали матерых преступников.

Многое, очень многое можно сказать друг другу одними только взглядами. Иногда в этих взглядах читается: «Ты уже понял, что я стукач (стукачка), и я понимаю, что ты это понял. Но ты пойми также и то, что оба мы сейчас на работе. Давай не будем портить комедию: я буду выпрашивать, ты отвечай что хочешь, а я в отчете напишу, что ты работник толковый и надежный». — «Хорошо, давай. И хоть мы оба прекрасно знаем, что ты нагло и даром жрешь мое время и нервы, но у меня все равно нет выбора — скандал ни к чему не приведет».

Стукачей этих не любят все риелторы, оно и понятно. Ведь иной раз агент без всякой задней мысли забывает отчитаться о возникшем *активе* — просто закрутился. Не дай Бог, это окажется невыявленная проверка — раздуют целое дело, потом моргай глазами... Кроме того — глупейшее ведь создается положение, когда агент вынужден держать доброжелательный тон и вежливо улыбаться человеку; испытывая при этом к нему то естественное отвращение, которое всегда испытывает нормальный человек в присутствии заведомого провокатора.

Половина первого. Часть агентов из отдела рассосалась — кто куда: на просмотры, справки-бумажки по РЭУ, по БТИ собирать, а кто и на сделки — к нотариусу, в банк, в Москомрегистрацию. У всех дела есть, и у Алекса дело: липкой, гнилой ниткой тянется, тянется, наматывается на катушку его беспонтовое, бескайфовое дежурство.

Прозвонил еще два застарелых *актива*, по которым должно вроде что-то наклонуться. По одному нет человека ни дома, ни на работе; по второму «уехала к бабке в деревню, будет через неделю». Брехня, наверное. Кто нынче ездит к бабке в деревню в марте месяце?

И вспомнил вдруг Алекс: пока делать нечего, надо документы после вчерашней сделки *по мастьям* разложить — копии, конечно, оригиналы остались у нотариуса или пошли на госрегистрацию. Копии эти в приличных фирмах обычно в архиве оседают, чтобы потом, если какой скандал возникнет (каждый знает о беспределе на рынке недвижимости в ельцинские времена), всегда показать можно было — у нас все по закону. А в этот раз особенно четко надо за копиями присмотреть было: с Алексовой-то стороны была сделка чистая стопроцентно, а вот с другой стороны... вроде тоже... но черт ее знает. В общем, продавал мужик свою комнату в коммуналке на улице Космонавтов и одновременно покупал у Алексовой клиентки другую комнату — в коммуналке на проспекте Буденного. Казалось бы — обычная *альтернатива* (идиотское, вполне устоявшееся в риелторской среде выражение. Означает: одновременно с продаваемой квартирой, комнатой нужно купить другую. *Альтернатива* оправдана и необходима в случае, если из продаваемой квартиры жильцам выписаться некуда, можно только в одновременно покупаемую), но сам мужик — лучше бы поживей как-то был. Риелтор-то его — хитрован однозначно, но это как раз нормально. И вот, улучив момент, мужик этот по-тихому спросил у Алекса: а за сколько продается его комната? И за сколько покупают ему? Не скажет ли, случайно, Алекс, потому что мужику это крайне любопытно. И в пот бросило Алекса: в себе ли мужик-то? Как же он не знает? И сам начал его выпрашивать, что да как, и узнал, что мужику вместо его комнаты обещана другая плюс деньги на ремонт. И все. А спросивши: «Зачем же вам это надо?» — услышал Алекс, что здесь, на Буденного, живет этого мужика родная пенсионерка-сестра и рядом им, одиноким, будет на этом свете веселей.

И отлегло от сердца у Алекса: есть у него мотив, в себе мужик. Хотя и прост — сверх границ. И надули его на той комнате прилично. Да и на ремонте надуют — дадут тысячи три (рублей; долларов он и в глаза не видел), и все, будь здоров. Но это уже не наше дело. У нас — свой клиент и его интересы. И все же бумажки по этой сделке надо особо аккуратно сохранить — мало ли что. И еще подумал Алекс: не зря тот хитрован риелтор на нотариальном оформлении настаивал (хотя *простая письменная форма* несколько дешевле) — в случае чего нотариус подтвердит, что мужик на подписании договора вполне «в себе» был, иначе ему самому несдобровать.

Дали-таки в тот день звонок с коммутатора Алексу: гражданка Метелкина Лариса Николаевна желает поменять доставшуюся ей по наследству от умершей в 1994 году матери двухкомнатную смежную квартиру. Квартира свободна, никто не прописан, но все равно это *альтернатива*.

— Вам, Лариса Николаевна, *альтернатива* совершенно ни к чему, — толкует Алекс. — У вас там никто не прописан. Лучше продадим как *свободную*, так по рынку дороже будет, а потом спокойно купим вам другую, тоже свободную.

Метелкина упирается, боится.

— Квартиру продадим, — говорит, — новую не купим, с чем я останусь?

— С деньгами и останетесь. Доллары, Лариса Николаевна, самая ликвидная

вещь на свете. За них квартиру всегда купить можно. Ваша-то *двушка* где расположена?

— На 16-й Парковой, на площади Соловецких юнг. Там у нас Измайловский парк рядом.

Во-он чего! У черта на рогах, стало быть. Там до Окружной дороги совсем недалеко и все сплошь кусты да деревья. Вот чего она боится! Что в таком месте за нормальные деньги квартиру не продать, а за маленькие деньги новую, правда, не купить. Ладно, пусть будет пока *альтернатива* — потом, Бог даст, *укачаем*. Все же Метелкина вменяема, «бельмес понимает». Это не давешняя дура с Кавказского (*эх, зря отпустил!*). Надо брать на договор. Договорился Алекс посмотреть эту квартиру завтра днем.

А еще под самый конец разговора тухлым голосом спросила Метелкина:

— Сколько с меня за продажу квартиры возьмете?

Как тут ответить? Самое это сложное. Некоторые агенты всегда говорят: мы с продавца ничего не берем, за все заплатит покупатель. Очень такие ответы дуракам нравятся. И точно: покупатель заплатит, только какую сумму и кому? Если стоит квартира метелкинская *по рынку* тридцать две тысячи, то покупатель и заплатит в лучшем случае тридцать две, и ни центом больше. И из них получит Метелкина тридцать с половиной, а фирма — полторы. Это называется — «заплатит покупатель». А вот если сказать: «Вы получите тридцать две тысячи и из них полторы заплатите фирме», — это ей будет острый нож. Потому что заплатит она, Метелкина, а не покупатель, и заплатит вроде как свои кровные, хотя и ему понятно, что это одни и те же деньги. Поэтому — *платит покупатель*.

Кое-кто из агентов скажет: продадим за тридцать две, за работу возьмем тысячу, а потом начнет воловодить: не берут за тридцать две, и все тут. Рынок, мол, *вниз опускается*. А за тридцать одну есть клиент, хоть завтра внесет задаток. Вероятность, что измученный ожиданием продавец согласится, велика. И получит он на руки тридцать тысяч, а фирма одну. И еще одну с покупателя (с представляющей его интересы фирмы) по гарантийному письму или другим способом, поскольку на деле покупатель заплатит те же тридцать две, из которых тридцать одна тысяча пойдет в банковскую ячейку, а еще одна останется у риелторов покупателя до регистрации сделки. Это называется *скрытая дельта*. Еще говорят: *тысячу сокроем*. Вот именно «сокроем», а не «скроем». Устоялось выражение.

За тысячу по-честному сейчас не будет работать ни фирма, ни агент (кроме частного — *черного* маклера) — это понимать надо. Но люди этого просто не хотят понимать и предпочитают вместо этого слушать сладкую ложь (за редким исключением). Все это прокрутил в башке Алекс и сказал (по минимуму, чтобы не сошла с крючка сразу Метелкина):

— За работу возьмем тысячу. А квартиру посмотрим — может, еще *скорректируем* (тоже слово мудреное — ни к чему не обязывает).

— Конечно, конечно, — посвежела Метелкина (боялась, больше объявит). И ничего не решил тогда Алекс — что с ней делать и как с ней быть. Отложил до завтра.

И больше в тот день ничего ему с коммутатора и ниоткуда не было, да и то хлеб — Метелкина. На безрыбье и рак рыба. Частенько агенты не получают за дежурство вообще ни одного звонка.

Теперь Алексу на Сокол надо, квартиру покупателю показывать, потому что есть-таки у него один *экслюзив*. Вообще-то на просмотр квартиры покупатель чаще со своим риелтором приходит, и пока покупатель квартиру смотрит, риелтор мельком, но цепко взглянет и сразу нюхать, выспрашивать: а какие документы на квартиру? А где они? А посмотреть где и когда можно? А справки еще не начинали собирать? А в какой срок соберете? А вы сами-то эту квартиру *на чистоту* пробивали? Точно не *палёная*? А когда и куда жильцы выписались (если выписались)? А оформлять как предполагаете (в смысле — по оценке БТИ или по полной рыночной стоимости; у нотариуса или ППФ — в простой письменной форме). И так далее. Он перед своим клиентом за юридическую чистоту будущей сделки отвечает (во всяком случае, это предполагается), а хорошая сама по себе

квартира или нет — это покупателю виднее, кому что нравится. Впрочем, иногда риелтор, ориентируясь на размер своей *комиссии* по сделке с данной квартирой, будет ее расхваливать или, наоборот, ругать.

А сегодня у Алекса клиент прямой, без риелтора. Сам на фирму позвонил да на Алекса и выскочил. Сергей Дмитриевич. Есть, послал Господь Алексу то, что как раз Сергею Дмитриевичу нужно: хорошая *двушка* в сталинском доме в районе метро «Сокол». На *эсклюзивном* договоре, все чин-чинарем. Только боится Алекс, что квартирку эту у него оттягают: придерутся к чему-нибудь и прицепят помощничка. Даром, что ли, тот же Лабелкин целыми днями с Конем-начальником в нарды режется, деньги проигрывает? Как бы не решил Конь ему проигрыши компенсировать за счет Алекса.

А квартира эта — *альтернатива*, и очень дорогая, поскольку здесь все дорого. Но цена Сергея Дмитриевича, видно, не слишком пугает. Интересно, кто он *по жизни*, Сергей Дмитриевич? Не торгаш, не мент и не бандит, это однозначно. Не либерал — комиссарского семени совсем не чувствуется. И чинуша тоже вряд ли — не те замашки, не тот стиль общения — уверенно-дружеский, но без панибратства. Очень хороший разговорный язык. Интеллигент в чистом виде. (Шутка. В наше время интеллигенты в чистом виде квартир не покупают.) Может, он преподаватель, а то и молодой профессор престижного вуза? Тогда откуда деньги? Может, берет взятки со студентов-аспирантов-абитуриентов? Может быть, сейчас все перемешалось, и профессора берут взятки, лишь бы что давал. А может, он дорогой, искусный хирург и дерет с пациентов три шкуры за сложные операции? Все может быть, да и не Алексово это дело — откуда у него деньги. Есть — значит, хорошо. Подзаработаем, стало быть.

Алекс вышел из метро «Сокол», и сразу словно током ударило: вот он, трамвай, 23-й номер, как раз подкатил. Сколько раз Алекс мальчишкой соскакивал с заднего буфера этого 23-го трамвая как раз здесь, перед куполами церкви Всех Святых, она и тогда действующая была. Там, у церкви, кресты и могилы, оттуда веет чем-то запретным и страшным, там старухи в черном и калеки — без рук, без ног — тоже страшные, боится их Алекс. Туда раз в год, на Пасху, на Крестный ход, ходил хулиганить дворовый король шпаны Лубенченко и рассказы о его подвигах передают друг другу все ребята.

А сейчас Алекс бесстрашно прошел вдоль ограды храма Всех Святых и повернул во двор прекрасной, отделанной в цоколе гранитом *сталинки*. Здесь, прямо у подъезда, встреча у него с Сергеем Дмитриевичем. Вот он, то ли хирург, то ли профессор. Прямо в спину дышал.

— Добрый день, Сергей Дмитриевич. Точность — вежливость королей.

— Добрый день. Окна — двор, смею надеяться?

— Двор, двор, как и договаривались.

И окна во двор, и дом, и квартира прекрасные, а есть-таки предчувствие: будет плохо, что-то не так будет. Звонят в домофон — все нормально; заходят в подъезд — все нормально; в лифт — тоже нормально. Слава Богу.

Может, кто думает, всегда все бывает нормально? Отнюдь. Представим себе совершенно обычную вещь: за десять минут до нашего прихода в любую квартиру подъезда посредством домофона обратится любой из десятков тысяч московских бомжей и, умерив хрипоту в голосе, представится разносчиком газеты «Экстра-М», сантехником, «Службой газа», врачом «скорой помощи», после чего не терпящим возражения тоном предложит открыть дверь, поскольку дело срочное. В большинстве таких случаев дверь открывается. Проникнув в подъезд, бомж быстрым шагом пройдет прямо в лифт и наложит там зловонную кучу, потому что он обожрался на помойке тухлятины и у него болит живот. И будет таков, а через две минуты мы с интеллигентным покупателем вляпаемся прямо «в это дело». А что, разве пятерка продвинутых тинейджеров, опившись пивом «Клинское», не может написать в подъезде весь тамбур, включая саму дверь и даже дверную ручку? Или прыщавый подросток не может изобразить на стене вашего чистого лифта аэрозольной краской в гипертрофированном виде возжеланный половой акт? А чего будет стоить одна только гигантская сопроводительная надпись? А выйдя из лифта на нужном этаже, разве сможет покупатель проглядеть появившееся не вчера, а сегодня на свежeverкрашенной стене громаднейшее изображение некоего пуче-

глазого существа в паутине? Сможет ли не оценить такие, например, бессмертные стихи:

Я летучий мыш,
Ты дебильный орел.
Кончился прежний гашиш
И кончился цикладол.

«Эге-ге, — подумает наш излишне впечатлительный покупатель, — «гашиш», «цикладол» какой-то... Да тут не наркоманы ли живут? Неравно, замордуют меня ежедневными просьбами о займе и вообще всякими безобразиями... А дети? Вова только в четвертый класс пошел... Нет, ну вас на хрен с такой квартиркой. Лучше уж ту, от вчерашней белокрысой риелторши. Она хоть от метро дальше, да зато нет там ни этих наркоманов, ни всякого дерьма».

Бесполезно объяснять покупателю, что бомжиное дерьмо и выходы тинейджеров — это нелепая случайность, это повторится лишь через год, а может, и никогда. Что это может случиться в любом московском подъезде, а не только в этом. Что стишки про гашиш и циклодол написал всего лишь соседский мальчишка, а никакие не страшные наркоманы. Мальчишка действительно балбес, но ведь они, почитай, все такие...

Бесполезно. Знаем, что он, очкарик, подумает, как отнесется к таким увещеваниям. Он подумает: «Бреши-бреши, жулик, знаю, насквозь тебя вижу: тебе лишь бы квартиру продать, денежки в карман положить, а там хоть трава не расти. Вот ты и распинаешься. А нам здесь жить. Ну, не дураки и мы тоже. Чай, и свои глаза есть, да и нюх.... Да-да, нюх». И, еще не вступив на порог квартиры, он твердо решит ее не покупать.

Не повезло. Не повезло продавцу, Алексу, да и тебе, покупателю. Потому что ты купишь такую же точно квартиру, но дальше от метро, в худшем состоянии и вдобавок твоими соседями запросто могут оказаться самые настоящие наркоманы, а не безобидный шпаненок-мальчишка. А в день твоего новоселья в вашем лифте нагадит бомж.

Раньше, лет пять—восемь назад, когда прибыль у всяких маклеров-риелторов была ломовая, никто из них не брезговал перед просмотром своими руками оттирать со стен всякую похабщину, мыть, драить со стиральным порошком лестничную площадку, а то и весь подъезд. Сейчас заработки уже совсем не те, падают и падают, и с такими вещами почти никто не связывается. Разве намекнул иногда хозяину — неплохо бы, мол... Помогает хозяин — хорошо, нет — ладно.

Однако в нашем случае явных пакостей в подъезде не оказывается, а на мелкие грешки молодого поколения покупатель не обращает внимания. Поэтому — дзынь в звонок, здравствуйте, Иван Иванович, здравствуйте, Лидия Федоровна. Вот привел вам Сергея Дмитриевича, хочет посмотреть квартиру, если понравится — будет покупателем. Сергей Дмитриевич смотрит, спрашивает:

— В этой комнате сколько метров? Двадцать два? А в этой? Точно шестнадцать?

— Точно шестнадцать.

— А кухня?

— Восемь и шесть десятых.

— Квартира требует ремонта.

— Косметический ремонт новый хозяин всегда делает, Сергей Дмитриевич.

И чувствуется, что в квартире ему все нравится — еще чуть поломается и попытается начать разговор о снижении цены. А мы ему на это сразу морду оскорбленную, вид недоумевающий — нам вроде даже за Сергея Дмитриевича неудобно перед хозяином... И тут приходит оно — Неожиданное. Как будто разбили-уронили что-то за стенкой и покатилося оно со звоном? Нет, сквозь общий треск и грохот явственно режутся хрипчатые слова уже слышанной где-то залихватской песни:

Наш бугай (чего-то там) держал обшак на зоне...

— Однако слышимость... — неуверенно говорит Сергей Дмитриевич.

— Да нет... это они просто громко музыку завели. А так-то тихо у нас, — поясняет хозяин.

— Звукоизоляция, Сергей Дмитриевич, в «сталинских» домах всегда хорошая, — встревает и Алекс. — Это у них действительно с громкостью звука явный перебор.

А из-за стены грохочет:

Бугай (чего-то там), наверное, он вор в законе...

— И часто это у вас? — интересуется Сергей Дмитриевич.

— Да нет... это, может, праздник у них или что, — теряется хозяин. — А так-то тихо.

— Соседи тихие, и парень хороший у них, — подтверждает хозяйка. — В институте учится.

Заведовал «курятником» на зоне.

— Пра-аздник, — каркает из угла сухонькая, додревних лет бабка — мать хозяйки. — У них что ни день — праздник. Тьфу.

Все время она сидела в своем кресле в углу и лишь враждебно молчала, но теперь, видно, решила, что пришел ее час. Она прижилась в этой просторной квартире и не хочет никуда переезжать.

— Можно сходить, попросить уменьшить громкость, — обращаясь к хозяйке, пытается спасти положение Алекс. — Они же нормальные люди.

Бугай — педрило, а не вор в законе.

— Лида, сходи, — говорит хозяин не своим голосом.

У него быстро белеет лицо и начинают мелко трястись руки. Хозяин этот мужчина очень ненадежный в смысле нервишек — шалят они у него еще с «застойных» времен, когда служил хозяин «по линии питания» у бывшего Андрея Андреевича Громько и был меньше повара — так, по совсем старому счету, кухонным мужиком. «И допустил, — рассказывал, — я однажды одну ошибку, какую — не спрашивай. И говорит мне сестра-хозяйка, понял? Сестра-хозяйка его. «Еще раз, — говорит, — и тебя в двадцать четыре часа не будет, и семьи твоей в двадцать четыре часа не будет. Не то что в Москве, а вообще не будет». С тех пор я и нервный такой. Если что — извини».

— Иду, иду... — Хозяйка видит нехорошие признаки и умоляюще вскидывает руки. — Сейчас скажу им.

— Пра-аздник, — не унимается старуха. — Дожить спокойно не дадут. Тьфу.

— Мама, ну что ты говоришь? Завели раз музыку, так ты...

— Каждый божий день — праздник.

— Ладно, спасибо, — снимается с места Сергей Дмитриевич. — Я все посмотрел.

Алекс с каким-то одеревеневшим хозяином провожает его в прихожую. Стараясь не встречаться с ними взглядом, Сергей Дмитриевич пожимает руки.

— Я подумаю и вам позвоню, — вселяет в Алекса бездну надежд милейший Сергей Дмитриевич и уходит.

Но он не позвонит, это очевидно. Педрило Бугай плюс Старая Карга сломали готовую вот-вот завязаться сделку. Разумеется, Алекс позвонит ему сам. Мгновенно, как только подберет аналогичную квартиру. Ее надо вырыть хоть из-под земли. И тут же Алекс ловит себя на мысли, что это мечты. Такие квартиры попадают *на эксклюзив* лишь случайно, другой не будет. Впрочем, и эта не пропадет — купит ее в ближайшее время не хирург-профессор, так ворюга либерал, Алексу какая разница...

— Вы, Иван Иванович, в следующий раз тещу-то изолируйте как-нибудь. Хорошо?

Хозяин только кивает головой, удерживая шкворчащую на языке каленую матерщину. Ладно, не бойсь, хозяин, продадим, твоя квартира классная (небожь

Громыко дал?), только тебе об этом подробно знать не надо, чтобы ты не возгордился и не начал заламывать цену. А Алексу со всех ног в ТБТИ «Восточное-2» надо — получить заказанные заранее справочки, куда ж без них-то? Никуда.

После того как покупатель вносит задаток, фирма снимает квартиру хозяина с продажи на оговоренный срок. Успеет покупатель решить свои проблемы (если они есть) и *выйти на сделку* — молодец, не успеет — его трудности, потеряет задаток. Но и фирма берет на себя обязательство подготовить к сроку все необходимые для продажи документы. Иногда эти сроки бывают сжатыми — дней десять. Тогда для ведущего сделку агента начинается бег с препятствиями. Перво-наперво — к нотариусу, выправить доверенность агенту от хозяина на сбор справок и совершение всех необходимых действий, связанных с отчуждением собственности. Это просто, но все же время идет. Имея на руках доверенность и взяв у хозяина (а чаще — у себя же в сейфе) *правоустанавливающие* документы (на основании которых тот владеет собственностью — *первичные*, то есть те, которые человек получил при приватизации, или *вторичные* — договор купли-продажи, мены и проч.), агент приступает к сбору документов по сделке.

В простых случаях — когда отчуждаемая квартира не отягощена ни несовершеннолетними детьми, ни необходимостью уплаты налога на наследование или дарение, ни, упаси Бог, различными видами ренты, ограничениями прав и проч. (это отдельный разговор), требуется собрать «документы ТБТИ (Территориального бюро технической инвентаризации)» и «документы РЭУ». Приличные фирмы добывают также справки о том, что продавец не является клиентом психоневрологического и наркологического диспансеров (ПНД и НД). Такие справки самому риелтору добывать крайне затруднительно, не дадут ни по какой доверенности — врачебная тайна. Если же попросить хозяев, можно сильно испортить отношения («Да за кого вы меня принимаете?»), а это ни к чему. Поэтому такие справки заказывают через подмазанных стражей порядка (пятнадцать—двадцать пять долларов за справку), которые берут справки ПНД и НД «в связи с возникшей служебной необходимостью» и передают заказчику. Если выясняется, что один из участников сделки состоит-таки на учете, это еще не катастрофа. Просто представитель заинтересованной стороны (или двух сторон) мертво стоит на нотариальном оформлении сделки по реальной рыночной стоимости и организует присутствие на ней врача-психиатра или нарколога, которые фиксируют, что подозреваемый при подписании договора вполне отдавал себе отчет в своих действиях.

Такая организация мероприятия почти стопроцентно исключает возникновение в скором времени так называемой *признанки*, а это очень даже хреновая вещь. Через неделю после получения денег заорет такой «болезный» продавец квартиры:

— Караул, люди добрые! Где это я? Почему не у себя дома?

И при поддержке тех мошенников, которые изначально стояли за кулисами данной аферы, — в суд. Одурачили плохие, мол, люди меня — большого на всю голову человека (вот справочка). И квартиры не продавал, и денег не видал, и не знаю ничего, и не помню. Заступись, справедливый суд, за тяжело больного человека. В общем случае суд вполне может стать на его сторону и вернуть ему права на квартиру, из которой нанятые бандиты мигом выкинут счастливых новоселов-покупателей. При описанной выше организации сделки суд наверняка не поддержит истца, да и сами аферисты, скорее всего, не станут при таких условиях связываться, просто уйдут прямо с подписания договора и начнут искать лохов попоушистее. А вот если наш продавец окажется лишенным дееспособности по решению суда, то любая сделка с ним будет объявлена *ничтожной*, недействительной с момента совершения, и здесь уже ничего будет сделать нельзя. Плакали покупатели денежки. Поэтому при малейшем подозрении хороший риелтор должен проверить и дееспособность. Но этого почти никогда не делают: и трудно, и лень, да в 99,9 процента случаев и ни к чему.

Как правило, агент начинает с ТБТИ, где заказывает «Форму 11а» (справку об оценочной стоимости) — бумагу, где указаны основные характеристики

квартиры (площадь общая, жилая) и ее балансовая стоимость (раза в два—четыре ниже рыночной цены для старых домов; для новостроек — близко к рыночной).

Здесь не без волшебного: стоит себе какая-нибудь московская хрущоба уже лет тридцать пять—сорок, ветшает, гниют-ржавеют трубы и прочая начинка, а балансовая стоимость квартир растет из месяца в месяц. Чем больше дом разрушается, тем дороже становится. Потому и «Форма 11а» действует один месяц, день просрочил — заказывай новую. Опять же бэтэишникам прибыль — двести с лишним рубликов.

Вот — демократы бубнят — при красных везде очереди были, даже за тухлой колбасой люди целыми днями давились. А сейчас, мол, никаких очередей. А ты пойдика в ТБТИ на Яблочкова, 46. А на Дмитровское шоссе, дом 5, на Кржижановского, на Тринадцатую Парковую. Да еще в пик активности рынка (рынок недвижимости цикличен: осень — начало зимы подъем, потом стабилизация и спад). Ты в дверь-то протиснешься? А если протиснешься, то к окошечкам, где нужная тебе информация вывешена, тебя точно не пустят, хоть ори «мне только спросить», хоть не ори. Да ведь и всем «только спросить». Здесь только наглостью возьмешь, прямым хамством: зарычал на того, кто поинтеллигентнее, пихнул того, кто посубильнее, и, пожалуйста, народ как шелковый. Проходи! Подлый он, народ в виде толпы.

Но если таких кабаньих качеств в тебе не заложено, пристроишься ты в конец неизвестно какой очереди и узнаешь от соседей, что заказывают справки в шестом окошке, а получают вроде в первом, а может, и наоборот. А где *одинадцатую форму* и где *поэтажку* — в одном окошке или в разных, — тоже всякое говорят. А бланки заказов хоть где? Да вон там лежали, только уже закончились, и где брать — неизвестно, мужик один пошел узнавать, но пропал. И куда конкретно эта очередь выстроилась, тоже ясности нет. Постоишь часок — узнаешь.

Риелтор тоже разный попадается, но *переть буром* вряд ли станет, хотя и стоять тут без толку часами ему тоже ни к чему. В каждом ТБТИ своя ситуация, но для начала риелтор найдет в помещении самый тихий закулок, потому что в таких местах охраняют порядок господина в форменной одежде и при некоей бляхе. Такому господину объяснит риелтор свою нужду и с римской прямоотой спросит:

— Сколько?

Охраннику все это дело привычное, поэтому он, не ломаясь, закатит несколько вверх свои глаза и, как бы подсчитывая, начнет пришептывать:

— Ну, Роз Иванне... Людочке... исполнителям... да Самой... да за *поэтажку*... да мне. Сама всегда зайти может, а меня нет — тогда что?

— Не будешь обижен. Сколько?

— Триста... пятьдесят. Плюс квитанции. Завтра готово будет.

Оплатив в ближайшей сберкассе две квитанции — одну за «Форму 11а», другую за *поэтажку* и экспликацию, риелтор возвращается к охраннику:

— Вот, оплатил. Во сколько завтра? К кому подойти?

— Сказали, сегодня сделают. Подходи в шесть, к Роз Иванне, знаешь? Второе окно.

Иногда, если народа мало, а дело не терпит, можно обратиться и к самой Розе Ивановне, но по-тихому:

— Роза Иванна, помните меня? Горю, как швед под Полтавой. Мне сегодня надо, завтра утром — крайний срок. Выручайте.

Признает Роза за знакомого — выручит (конечно, не бесплатно), не признает — не станет выручать. Ее место дорогого стоит, не надо рисковать.

— Эх, врешь ты, да еще и сильно, — скажет профессионал риелтор. — Какие «триста», когда это было? Какой там «признает за знакомого»? Да нипочем не признает. Если и признает, то уж точно хорошего, стопроцентного знакомого, а не всякую мелькающую тут залетную харю.

Ее место и правда дорогого стоит уж по одному тому, что ее твои деньги не минуют, получит она взятку по-любому. Только не сама и теперь чаще даже не через охранника, а через специального человека, к штатному расписанию БТИ никакого отношения не имеющего, но в риелторских кругах хорошо известного (таких людей несколько) — профессионального посредника при передаче взяток. Назовем его для простоты хоть Ваней. У Вани связи в разных БТИ, расценки тоже

езде разные: сделать комплект справок БТИ за сутки (по правилам 5—7 рабочих дней), в ТБТИ «Измайлово-3» или «Гольяново» — полторы штуки, в «Измайлово-4» — две штуки. Почему разница? Это Ванина тайна, наверное в «Измайлово-4» у начальства карман шире. Если выдача справок связана с какими-нибудь осложнениями — например, соответственный дом *поставлен на инвентаризацию* (то есть особый смотритель от БТИ должен проверить квартиры, нет ли в них *неузаконенной перепланировки*, не поносили ли там «новые русские умники» в ущерб прочности дома все стены, устроив в своей берлоге *студию*, прямо как на цивилизованном Западе), — Ваня берет на тысячу больше. Выезд смотрителя на бумаге будет оформлен, но реально он никуда не поедет. Вот, говорят, бэтэишники все до одного кровососы, без денег даже не подходят. А Алексу не раз и не два навстречу шли, когда видели, что действительно надо. И денег не тянули, а когда сам давал — не брали и обижались. Только и это теперь уже в прошлом. Хорошие бабы из БТИ все повывелись куда-то, просто не стало их, и все. Нету. Теперь — Ваня.

Впрочем, Ваня Ваней, но ты на то и риелтор, чтобы уметь его обойти. И если ты мужик *реальный*, сойдись со смотрителем (или другим работником) сам, поговори, пошути, наладь контакт, дай бабки. Через него завяжи отношения с другими бэтэишниками, потому что в том твоя жизнь и работа. Не век же зависеть от Вани. Налаженные связи в различных муниципальных учреждениях служат мерилом состоятельности риелтора как работника и составляют его профессиональный потенциал. И, разумеется, являются источником дохода, поскольку его же коллеги, узнав о новых достоинствах сотоварища, будут обращаться за помощью к нему, одаривая за помощь зелененькой бумажкой или аналогичной услугой. Таким образом, Ваня и все вани, что шакалят вокруг любой московской мало-мальски значимой распорядительной конторы, поставляют свои услуги и диктуют цены далеко не всем риелторам.

А попробуешь по старинке — с главного хода, с конфеточками: «Девчонки, давайте чайку попьем. И еще гостинчик тут вам припас...» — это сразу: «Выйдите отсюда, гражданин, а то милицию вызовем. И встаньте в очередь». Бывало, и вызывали милицию. Теперь — бдительность и неподкупность. Прямо как по Гоголю — одни писари да секретари только мошенники. А на деле — раз в пять дороже стало, только и всего.

Коловращение жизни

А в двенадцатом уже часу вечера зазвонил телефон в квартире у Алекса, и спросил его Конь-начальник:

— Как дела?

И, не слушая, как дела у Алекса, еще спросил:

— Утром завтра свободен? Тут, понимаешь, Лабелкин заболел чего-то, ты не хочешь утром подежурить вместо него?

И отвечал Алекс, что хочет и на внеочередное дежурство придет. Утром-то еще могут быть звонки — это не вечер, когда дежурный телефон и в других фирмах еле дышит, а в «Крыльях Икара» умирает наглухо.

И сидел назавтра Алекс опять на телефоне, и было все против вчерашнего одинаково. А часов в одиннадцать зазвонил телефон дежурный, и услышал Алекс, что человек, Петр Александрович, думает продавать принадлежащую ему по праву собственности четырехкомнатную квартиру на Остоженке, три минуты пешком от Кропоткинской, сто двадцать два/семьдесят восемь/шестнадцать, потолки три сорок, евроремонт, телефон, домофон, охрана, балкона нет. Хочет же он за это триста двадцать тысяч, и если есть у «Крыльев Икара» такой покупатель, продолжение разговора имеет смысл, а нет — так нет.

— Петр Александрович, — толкует, как обычно, Алекс, — под руками у меня таких сведений нет. Обращаться-то люди, конечно, обращались, и не только в наш отдел, но и в соседние. Мне нужно войти в центральную базу, поднять заявки... Давайте так: я сейчас запишу ваш телефончик и через минут двадцать вам позвоню.

— Я сам позвоню, ровно через полчаса, — твердо отвечает Петр Александрович и вешает трубку.

И как это пропустили такой звонок с коммутатора? От продажи такой квартиры *комиссия* (то есть комиссионные) даже без всяких разводов, даже трехпроцентная, минимальная, — уже десять штук. А пятипроцентную *комиссию* выбить, а если развести чуть-чуть? Почему своим не отдали? Алекс удивляется, а сам в базу компьютерную лезет, прямо лезет — не иначе дежурит там сейчас Наилия-татарка, работает недавно, не сориентировалась, не успела завороваться еще. Бежит по заявкам Алекс, нет ничего похожего. В «Лайте» — нет, в «Маклере» — нет. В «Базе № 1» — нет. А в *эсклюзивах*? Тоже нет, есть только продажа дорогих квартир — на Пушкинской и на Арбате, а на покупку заявок таких нет. Все равно не *отпустит* он Петра Александровича этого, главное зацепить, «потом мы что-нибудь придумаем, мы все равно его обойдем, не с той стороны, так с этой. Потому что он, Петр Александрович, лох, а мы профессионалы». И Алекс решил сказать, что есть у него покупатель. Если, конечно, перезвонит Петр Александрович. Эх, сразу не сообразил, идиот.

И когда перезвонил через полчаса Петр Александрович, сказал ему Алекс, что две недели назад обратился в «Крылья Икара» покупатель, искал VIP-квартиру в районе «Парк культуры»—«Кропоткинская»—«Арбатская»—«Смоленская», но сейчас к телефону не подходит, дома нет его. И тогда Петр Александрович телефон свой Алексу оставил, но предупредил, что без покупателя никаких договоров с фирмой заключать не будет и попусту чтоб не звонить. А найдет Алекс того покупателя — тогда и звонить.

И сунул в комнату нос Конь-начальник, и спросил: «Есть чего?» И рассказал все ему Алекс. И Конь заявку эту схватил руками. «Телефон, — говорит, — есть? Молодец». И оделся Конь, а потом разделся (куртку снял, а шапку оставил) и с заявкой этой рванул с топотом на второй этаж, к Олег Иванычу, владельцу «Крыльев Икара». И понял тогда Алекс, что квартиры этой не видать ему как своих ушей. И, обратно Коня не дождавшись, уехал Алекс на площадь Соловецких юнг — квартиру метелкинскую смотреть. А когда на следующий день спросил: «Где же моя вчерашняя заявка по Остоженке?», отвечал ему Конь: «А ты что, *сталинку* на Соколе продал уже? Или у тебя все активы реализованы? А метелкинскую квартиру кто будет продавать?» — «Да ведь это я заявку принял. И телефон из него вытянул я». — «А ты не на себя, ты на фирму работаешь... пока. И вчера ты не в свою очередь дежурил, это Лабелкина заявка должна была быть. Ты пойми, — перешел на тон дружеский Конь, — тебе пока рано такие квартиры продавать, тут опыт нужен, связи. Но мы тебя подключим — потом, конечно... Или премию получишь. Ладно, некогда мне».

Так и не знает Алекс, какого *подставного* водил Конь к Петру Александровичу и кто там какие слова говорил. А когда «Из рук в руки», «Квартира. Дача. Офис» и другие газеты просматривал, то рекламы этой квартиры нигде не встречал. А *понизу* ходило между агентами, что Конь все у Олег Иваныча в кабинете сидит, рассылки всякие по банкам да корпорациям по *Емеле*¹ делает да шлет. Олег же Иваныч денег на Интернет не жалеет. И еще говорили агенты, что Конь ни к кому не цепляется, в нарды никого не обыгрывает и все думает, думает, — к чему бы такое?

Насчет *Емели*-то ясен перец: когда продает агентство дорогую квартиру и цену без ведома хозяина сильно вверх задирает, то продает через Интернет, потому что в газете хозяин может увидеть и сделать скандал, поскольку по высокой цене квартира продается долго. Бывает и так: рекламируют в газете по согласованной с хозяином цене, а в Интернете по более высокой. Позвонит покупатель по газетной рекламе — ему говорят:

— Квартира уже продана. Мы рекламу на две недели вперед заказываем.

А по интернетской рекламе позвонит — тогда с ним разговаривают.

А потом все это стало забываться постепенно, текучка заела Алекса: то на Соколе квартиру показывать, то метелкинскую, с покупателями за цену *бодаться*, продавцов вниз *опускать*, иногда дежурить на телефоне попусту, бумажки разные бегать-собирать. Тоже не сахар.

¹ От e-mail, электронная почта.

В РЭУ по месту нахождения *отчуждаемой* квартиры риелторы берут копию *финансово-лицевого счета* (в бухгалтерии) и выписку из *домовой книги* (в паспортном столе). Для успокоения покупателя просят еще справку об *отсутствии задолженности*, хотя по закону этого не требуется. Если подходить к делу формально, то на этом сбор справок РЭУ может быть закончен, но заботящаяся о своей репутации фирма да и сам риелтор этим не ограничиваются. Кто ее знает, квартиру эту, особенно если она меняла хозяев уже несколько раз. А может, позапрошлый доходяга хозяин, представив себе мысленно доплату — ожидающий его длинный-длинный штабель ящиков водки и вина, каким-нибудь левым образом выписал из нее своих несовершеннолетних детей без разрешения *опеки* и существенно ухудшил их жилищные условия? Это серьезное нарушение прав несовершеннолетних, и, если дело всплывет, суд наверняка вернет квартиру детям да и самому доходяге. Автоматически посыплются все последующие сделки с этой квартирой, но реально пострадает лишь последний хозяин, хотя он ничего о нарушениях не знал. А может, как раз и узнал? Потому и решил сбить с рук ненадежную квартирку? Все может быть. Может быть и так, что еще восемь лет назад кто-то из жильцов сел за тюремную решетку и на днях выходит на волю.

— А где, — спросит, — мои восемнадцать квадратных аршин, на которых я тут сидел и буду сидеть?

И его туда обязательно пропишут. А может, кто-то из жильцов в данный момент служит в армии? Вернется — пропишут опять-таки. Могут быть и другие подводные камни, о которых в *выписке из домовой книги* нет ни малейшего упоминания.

А где же есть? Да в самой *домовой книге*, существующей во многих РЭУ в виде каких-то грязных и полуистлевших карточек и листочков, на которых указаны все сведения о жильцах данной квартиры с момента заселения дома (если, конечно, эти бумаги не потеряны, не превратились в полужидкую зловонную массу по случаю прорыва канализации или злонамеренно не уничтожены самими работниками РЭУ для сокрытия какой-нибудь своей кривды). Но домовую книгу риелтору просто так не покажут, потому что не обязаны, а покажут тогда, когда он покажет им рубликов двести—пятьсот. Посмотрев эти бумажки и отдав деньги, риелтор потребует подать ему *архивку*, то есть, по сути, копию домовой книги за подписью паспортистки и печатью РЭУ, чтобы потом изучить ее внимательно (в толкучке и орове РЭУ все равно внимательно не изучишь). Кроме того, подпись и печать более или менее обязывают — как-никак документ, и паспортистка не будет халтурить.

Крупные риелторские фирмы заказывают *архивки* централизованно, через ту же *ментуру*, но это самому агенту обходится дороже (долларов тридцать—сорок, в суперсрочном режиме — сто), поэтому многие агенты, которым все равно идти в РЭУ за справками, добывают *архивку* самостоятельно.

В первую очередь *чистота* квартиры должна волновать покупателя: его потом могут ждать неприятности и прямая обязанность его риелторов — провести подобную проверку. Но серьезные фирмы — представители продавца (например, все те же «Мизель» и «Инком») всегда проводят ее сами во избежание потери репутации — чтобы не заорали конкуренты голосом пострадавшего на страницах печати: «Вы чего это мне — несчастному покупателю впарили? Да как с вами после этого иметь дело?» Мелкие агентства недвижимости проводят такую проверку лишь при наличии каких-либо серьезных подозрений (неприятности, скандалы никому не нужны), а если нет подозрений — сойдет и без проверки. А в случае чего — ну, поорет, поскандалит покупатель квартиры с *тараканами* (жильцами, оставшимися *недовыписанными* или имеющими право прописаться обратно) — реально-то фирма перед ним ничем не отвечает, а брань, как известно, «на воротах не виснет». Суета это.

Легко сказать — бумажки... Прибежал Алекс в РЭУ на 16-й Парковой, а там жуть что делается. Очередь — человек сто. Помимо обычной текущей власти затеяли обмен паспортов, и наплыв просителей многократно увеличился. Сверх того, в помещении идет капитальный ремонт, и весь пол, стены, перила лестницы заляпаны масляной краской, белилами, еще какой-то склизкой дрянью, а грубые работяги в грязных спецовках таскают вперед-назад все ту же краску, строймате-

риалы, мебель. И шарахались бы от них во все стороны люди, да шарахаться-то некуда — плотно-сверхплотно стоит очередь: как бы кто вперед не пролез. А по бокам — все те же грязные стены. Час стоим-ползем, два стоим — волком воем, три стоим — осатанели вконец. Многочисленные деды и бабки (в большинстве — обмен паспортов) уже частично рассосались — нету, говорят, мочи, нету сил, в другой раз придем. Но есть «битые», опытные — знают: в другой раз будет то же самое. Стоят, изнемогают.

— Ох, милые, семьдесят восьмой годок. Сердце у меня... Почки... Присесть бы... Водички...

Некуда присесть бабке. Пол, ступеньки — и те в сплошной грязище.

— Газетку бы... Водички...

Дают-таки газетку. А чтобы без очереди пропустить старую — и в мыслях ни у кого нет. Всех стариков пропускать — сам никогда до окошечка заветного не доберешься.

В самом хвосте орет чего-то здоровенный пьяный мужик, недоволен существующими в городе Москве порядками:

— Бардак. Ну-у, в натуре, барда-ак. А ты... А вы как стол-то тащите? Вдвоем, а людей задеваете. Дай, покажу.

Взваливает на плечи совсем не малый стол и, задевая им всех без исключения, ломится сквозь толпу. Мат-перемат. Пьяный мужик, приговаривая «Вот как надо», пробивается аж за служебную дверку, куда народу «строго воспрещается». Минут через пять вываливает обратно и, демонстративно помахивая какой-то бумагой, учит: «Вот как надо. Пользу принес. И мне — без очереди... А вы стойте, козлы», — и победно ржет.

Много всякого увидишь в очередях. Жизнь там совсем не та, что в телевизоре. Еще больше услышишь: и что раньше проезд в метро стоил пять копеек, а теперь чуть менее десяти рублей, и что «Я, работяга, в литейном цеху двадцать три годика отпахал, спалил дышалку, посадил сердечко и теперь от пенсии до пенсии дотянуть не могу. А начальник один трехэтажный дом имеет с бассейном, и две машины, и «губернанта» еще какого-то». Вообще стояльцы в очередях твердо уверены, что другой стоялец — свой брат, такой же горемыка, как и они сами, потому что люди из враждебного лагеря — «начальники» — не стоят в очередях. Тоской и глухой ненавистью к «начальникам» и к их «пристяжи» — мелюзговым чинушам — веет от очередей.

Не в долгу и чинуши. Вот добрался наконец Алекс до окошечка заветного, на подоконничек маленький портфель втиснул и животом навалился, а окошечко все-все плечами закрыл, чтобы не лезли ни старые бестолковые, ни молодые нахальные, никто. Мой момент, не подходи. Нехорошо посмотрела баба-паспортистка, но *выписку из домовых книги* дала — придраться-то не к чему.

— А печать?

— 13-я Парковая, дом 60, дробь 10. Дальше там кто?

Оказалось, печать в этом РЭУ не ставят, потому что «лорд — хранитель печати», важная коммунальная тетя Мотя заседает совсем в другом помещении. И ставит печать только в приемные часы РЭУ — минута в минуту. В запасе у Алекса двадцать минут. Выскочил на улицу, тормознул частника.

— 13-я Парковая, дом 60, дробь 10.

Ехали-ехали, смотрели в окошко — нет такого дома. Кончается 13-я Парковая домом 47, и все тут. Расплатился Алекс, вылез. Начал добрых людей расспрашивать: как все это может быть? Сами мы не местные... Долго ли, коротко, но узнал-таки Алекс, что надо ему отнюдь не в дом 60, дробь 10, а совсем наоборот: в дом 10, дробь 60. Во-он туда идти... Пешком — минут десять. А и без того уже на сорок минут опоздал. Пошел-таки Алекс, сказавши про себя: зубами вырву, гады. Приходит — контора открыта, дверь нараспашку, потому что и здесь ремонт. Носят сквозь дверь работяги свое хозяйство. А как Алекс вошел — сразу курва конторская заорала:

— Дверь закрывать кто будет? Обнаглели вконец. Дома у себя дверь закрываете?

И многое другое услышал Алекс о себе и таких же, как он, но не стал запоминать. А толкового узнал, что будет нужная тетя Мотя через час, обедать пошла. И сидел Алекс час, и два, и два с половиной, потому что очень надо было.

И хихикали над ним курвы конторские в открытую. А одна сказала-таки: не придет она, зря сидите. Она сейчас в Дирекции единого заказчика, и печать с ней. Только бесполезно, не поставит она... И пошел Алекс в дирекцию эту. И, поспрошавши, нашел там тетю Мотю, которая сидела за пустым столом и ничего не делала. И еще много чего услышал Алекс о себе и о таких, как он, но не стал запоминать. А толкового узнал, что печать она ему не поставит, потому что в неприемные часы не обязана, и точка. Жаловаться же Алекс может хоть начальнику дирекции. И пошел он к начальнику дирекции, а пришед, узнал, что тот на совещании. И сел ждать. И спросила его вдруг глазастая и в хорошем теле секретарша:

— А вы по какому вопросу?

И рассказал ей Алекс, по какому он вопросу. И прыснула было смехом секретарша, но потом сдержалась и взяла телефонную трубку. И сказала она тете Моте голосом отнюдь не секретарским: надо, мол, поставить человеку печать, зачем разводить бюрократию? Или по такому мелкому вопросу надо самого директора беспокоить? А Алексу сказала:

— Идите, она поставит вам печать.

И пошел Алекс к тете Моте, и положил на стол *выписку из домовой книги с копией финансово-лицевого счета*, и отщелкнула она ему печать. И, спасибо не сказав, вышел вон Алекс. И вспомнил: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

За всей этой дрянью и волокитой мысли об отобранном сладком Петре Александровиче совсем было позади остались, но однажды вдруг — бум! Вспомнил — а Сергей Дмитриевич-то? Тот, что хотел купить хорошую *двушку* в сталинском доме в районе метро «Сокол». Чем черт не шутит: может, купит он ту квартиру на Остоженке? Хотя, конечно, Остоженка — не Сокол, но попробовать-то можно. И позвонил, и все Сергею Дмитриевичу про ту квартиру рассказал.

— Нет, это меня не интересует. А за звонок спасибо.

А Конь подслушал и говорит:

— Не суетись, есть уже покупатель, сейчас документы оформляем. И не переживай, свои сто баксов ты получишь.

И ржет. И Лабелкин-прилипала тоже хихикает.

Собака Конь был, конечно, риелтор битый и опытный, этого не отнять. Он побывал в РЭУ, где купил подробнейшую *архивку*, и тщательно ее проверил. Получил он справки БТИ, психо- и наркодиспансеров и удостоверился, что Петр Александрович ни на каком учете не состоит. Не пренебрег он и получением *выписки из ЕГРП*, для чего явился в Москомрегистрацию. Конь, собственно, не сомневался в добросовестности Петра Александровича и имел на руках подлинник «Свидетельства о праве собственности на жилище» от такого-то числа 2001 года, где значилось, что ограничений прав собственности и прав третьих лиц на эту квартиру *не зарегистрировано*. А вдруг такие права появились и были зарегистрированы в 2002 году? Или хоть на следующий день после выдачи «Свидетельства»? Нет, надо взять выписку, где будет сказано, как там со всеми этими правами на сегодняшний день. На кону стоит очень приличная сумма.

Явившись в зал выписок из ЕГРП, Конь, как все рядовые посетители, пошел путем окольным: занял очередь в окошко, куда подают заявления на выдачу выписок.

— Через неделю, — сказала ему равнодушная тетка в окошке, выдавая квитанцию о приеме документов.

— Через девять дней, — сказал себе Конь, посмотрев на квитанции дату выдачи документов. — Как же, жди.

И тогда пошел Конь путем прямым, который, как известно, короче окольного, но забирает у путника кусок «отчеканенной свободы». А пошел он коридорчиком, где открываются начала прямых дорог, и постучался в дверь, оснащенную, как и все прочие, казенным кодовым замком. На стук показался сонного и несовершеннолетнего вида юноша, чей-то сын, внук или племянник, неизвестно на каких началах постигающий здесь премудрости семейного ремесла.

— Вы к кому?

— К Марии Ивановне.

— А по какому вопросу? .

— Я с ней созванивался. От Елены Петровны.

— Подождите, — сказал снулый юноша, и дверь закрылась.

А когда она открылась вновь, на пороге стояла сама Мария Ивановна и что-то дожевывала.

— Проходите, — сказала она, и Конь вошел в дверь.

Собственно, ни о каких взятках при совершении тех или иных законных действий московскими чиновниками речи идти не может (а о незаконных сейчас разговора нет). Просто все их должностные инструкции составлены так, что действия в соответствии со своими обязанностями чиновник должен совершить в срок, например, *не более тридцати календарных дней*. А что это значит? А то, что может он выдать какую-нибудь справку через тридцать дней, а может через один или прямо в день обращения. Если, конечно, его работу *ускорить*. *Ускорение* (устоявшийся термин) применяется в риелторской практике очень широко и скорее помогает риелтору, чем мешает, поскольку его клиент, как правило, человек в таких штуках не сведущий и сам робеет это *ускорение* осуществить. А платить-то в конечном счете все равно ему. Кроме того, иной риелтор объявит клиенту: «За *ускорение* — двести долларов», — а сам *ускорит* за сто. Кто проверит?

Получив назавтра *выписку из ЕГРП* и обнаружив, что никаких прав на квартиру Петра Александровича не прибавилось и не убавилось, Конь совершенно успокоился и уверенно повел на сделку подобранного им через Интернет денежного покупателя. Он уже подумывал о перекупке у Олег Иваныча трехсотого 1996 года выпуска «мерина» и подбирал в уме аргументы, как сбить и без того довольно низкую цену.

А Алекс уже все это из головы повыбросил. И через время продал и Сокол, и метелкинскую, и получил свой процент. И от Коня, ставшего вдруг своим, веселым и добродушным мужиком, сто баксов взял, не побрезговал.

А еще через какое-то время пришли в «Крылья Икара» разом аж четыре лося-предпринимателя, охранника чуть по стенке не размазали. И орали, и матерились в кабинете у Олег Иваныча, и Коня ловили за шкуру на лестнице и обратно в кабинет волокли. И Олег Иваныч позвонил охраннику, чтобы милицию не вызывать, дверь закрыть, не впускать и не выпускать никого.

И сидели агенты, друг на друга смотрели, а потом начали шушукаться: может, вызвать милицию все-таки? А вдруг там Олег Иваныча убивают? Телефон-то работает. Думали-думали, но так и не вызвали. Сейчас предприниматели друг друга каждый день убивают — что тут страшного? И при чем здесь милиция? Да и Конь тоже порядком всем надоел.

Но когда ушли из агентства эти четыре предпринимателя, Олег Иваныч живой оказался и по стеночке в туалет пошел, а Конь весь помятый в отдел спустился. И, глазами квадратными не мигая, спросил у Алекса:

— Ты откуда квартиру ту, на Остоженке, взял?

— С телефона... Я же в заявке указал все. Вместо Лабелкина... А что?

Долго смотрел Конь квадратным взглядом, думал чего-то.

— А в чем дело-то?

— А ни в чем. В рубашке ты родился, вот в чем. А мне теперь... — и махнул рукой Конь, и, взяв под мышку куртку свою, пошел на улицу, потому что было тепло.

И не видели агенты больше Коня в «Крыльях Икара», а Лабелкина начали живьем жрать. А про Коня узнали откуда-то, что продал он одному предпринимателю какую-то дорогую квартиру, и она оказалась левая. А что да как — неизвестно. Только известно, что деньги у предпринимателя были не свои, а *общаковые*, какой-то там организованной предпринимательской группировки. И предприниматели эти предъявили Олегу Иванычу *кидок* (а может, не ему напрямую, а крыше его — как там полагается *по понятиям*?). И повесили они на Олега Иваныча и Коня огромный долг, и *счетчик* включили.

И что теперь будет — неизвестно, говорят, заберут у Олег Иваныча за долги «Крылья Икара», а может, и квартиру с *меринком*. А у Коня неизвестно что заберут, говорят, он сам теперь, вернее всего, Мерином станет.

Агенты — кто уходит, а кто и остается: может, говорят, при новом предпринимателе даже лучше будет, чем при Олег Иваныче? Алекс — в числе последних. И он остался ждать лучших времен.

А где сейчас Андрей-фармазон и что с ним, о том ничего не слышно.

Анатолий Цирульников

Несколько ночлегов с воином, шаманом и кузнецом

Мой спутник в путешествии по Якутии, Николай Бугаев — кочевник, поэт, шаман, филолог и реформатор национальной школы. Уразуметь с первого раза, чем он занимается, трудно. В Москве, когда мы познакомились, я так понял Николая Иннокентьевича, что они там, в Якутии, пытаются применить в обучении опыт героев народного эпоса плюс древние шаманские технологии — гремучая смесь, разбираться в которой тогда мне было недосуг. Но чутьем старого волка я уловил: в этом что-то есть. А собственному чутью я доверяю больше, чем научным методикам.

Мы путешествовали в срединной Якутии, в пространстве, ограниченном тремя реками — Леной, Алданом и Амгой. Район именуется Заречьем, вроде нашего Замоскворечья. Масштабы, правда, другие. Единица измерения — кёс. Как, спрашиваешь, далеко до такого-то места? А, говорят, рядом — сорок кёсов. Потом оказывается — четыреста километров...

В первоначальном значении кёс — расстояние, на которое в течение светового дня передвигался со своим скарбом род. Якуты вообще считают не по дням, а по ночлегам. При таких расстояниях между населенными пунктами каждый человек — новость. Поэтому тут говорят не «здравствуй», а — «рассказывай». От кого твой пуп, от кого твоя кровь...

Из трех главных действующих лиц якутского эпоса — воина, шамана и кузнеца — фигура воина представляется наиболее понятной. «Эй, он был плохой человек, умер сам по себе», — сказано не про воина. Хороший человек умирает в бою, одолевает препятствия, совершает подвиги. Но во имя чего?

По одной из версий эпоса (вообще их сорок, и каждая состоит из тридцати шести тысяч строк — своеобразная «якутская Библия»), до поры до времени никаких воинов на свете не было. Земля была мирной и свободной для всех населяющих ее существ. Трудности начались, когда появились люди. Тогда обнаружилось, что игравшие до этого в свои игры жители небесного и подземного миров, «абаасы», на самом деле — свирепые одноногие чудища с завистливыми глазами и медными клювами. Мало им своих миров, хотят «приватизировать» наш. И начинаются бесконечные разборки, от которых, как говорится в эпосе, «трещат укрепы вселенной и шатаются опоры миров».

Чтобы одолеть противников, воин должен совершить ряд обязательных подвигов: суметь раскататься над бездной на огненном вихревом канате, рассечь роковой аркан, перескочить пропасть, превратившись для этого в копые длиной в три дня пути... Но, оказывается, и это не самое главное. Проблема в том, что, когда земной богатырь побеждает подземных, он на этом не успокаивается и начинает выяснять отношения с себе подобными. Дело доходит до того, что мужик-богатырь дерется с богатыршей, которая предназначена ему в жены. И так они дерутся, что у верхнего божества подошвы прожигает огнем и он клянет людей. «Недостаточно, — говорит, — было им недругов своих растоптать, собственную судьбу растаптывают они...»

Заканчивается в якутском эпосе все хорошо: небесные шаманки превращают строптивую богатыршу в прекрасную женщину, она становится женой воина-богатыря, и на благодатной земле множится, расцветает их род. Но все же воин — фигура далеко не однозначная, и существуют разные ступени, на которые он должен подняться, чтобы не разрушить вселенную.

В Якутске мы попытались переплыть через Лену на моторке, но у противоположного берега стоял лед, поэтому пришлось отправиться в Маган и ждать, пока для вертолета не наберется комплект пассажиров. Перебраться через Лену в межсезонье еще можно на чартерном рейсе, потом аэропортик заглохнет и будут летать только санитарные и пожарные вертолеты.

Вертолетик гудел, раскачивался, долго раздумывал, как якут, потом в десять минут перемахнул Лену шириной в несколько километров. На другом берегу нас с Бугаевым ждал «уазик» из Таттинского улуса, куда мы направлялись. Пошла дорога... Самая лучшая здесь дорога — на Магадан.

Дедушка Таратай

Таттинский улус, по-старому — район, в советские времена считался «националистическим», поэтому выпускникам школ не давали поступать в вузы. Были ли секретные циркуляры или нет, неизвестно, но в вузы не брали. Документы принимали, а детей нет. Целый район оказался с «пятым пунктом».

Чтобы поступить в вуз из Татты, надо было добраться до самых верхних ярусов, быть на несколько голов выше других, если использовать традиционные якутские представления о мироздании: нижний мир (преисподняя), срединный и верхний — с девятью ярусами, на последнем — «Белый Ар, господин, восседающий на престоле из белоснежных облаков». И это тревожное отношение, боязнь до сих пор сидят в сознании людей. Поэтому в школах теперь с особой гордостью говорят: наши дети поступают...

А Татта для Якутии — все равно что для России Ясная Поляна или Пушкинские горы — колыбель национальной культуры. Перед въездом в улус — скульптура: в характерной позе, заложив ногу на ногу и обхватив руками колени — давит на мочевой пузырь, чтобы добиться особенного звучания голоса, — сидит сказитель-олонхосут. Из Татты вышли все основоположники якутской литературы, первые писатели, художники, учителя. Ландшафт особенный. Кругом тайга, а здесь термокарстовая впадина, оттаявшая в вечной мерзлоте проталина, по-якутски «алас». Микровселенная, вызывающая библейские ассоциации.

Чаша озера, луга, покосы. Желтый, местами сиреневый подснежник Севера — дикий лук, табуны диких кобылиц — все дикое. Уголок райской жизни, благодатного лета, длящегося тут пару месяцев в году. Северной пространство сужается и аласов нет — сплошная тайга. За рекой, в Томпонском улусе, дети из кружка юных туристов Ивана Игошина нашли остатки сорока сталинских лагерей.

Знаков таких, из того времени, немало. Едешь по магаданской трассе и видишь какие-то блиндажи вдоль дороги. Кабельная телефонная связь между Магаданом и Москвой, прямая, еще со сталинских времен. Говорят, в отличие от местной она и сейчас исправно работает, временами появляются связисты, проверяют узлы, обрывы, прозванивают.

В Татте не было лагерей и лесоповала, поэтому сохранились священное дерево жизни Аал Лууп Мас, коновязь с орнаментом, сухие лиственницы, которые чем более причудливы, тем считаются ценнее, никто их не срубает. Стоят сухие деревья там и тут вместо дорожных знаков. Что они знаменуют? Напоминание живым о смерти? Причудливость — в смысле человеческой личности? Мощные родовые корни на могилах? «Вот еще стоит, тоже его не трогают, хотя вроде бы ландшафт портит», — показывает Бугаев огромный памятник Ленину на площади в Якутске, указывающий верную дорогу, тоже своего рода «сухое дерево»? Или вот автобусная остановка, оставшаяся с советских времен, сохранилась, хотя сейчас никому не нужна...

Да, лагерей в Татте не было, но политссылных — навалом. В селе Черкех —

уникальный музей «Якутская политическая ссылка», построен, рассказывала директор, двадцать пять лет назад методом народной стройки, полторы тысячи суботников. Все этапы здесь перебивали: декабристы, народники, социал-демократы... Много народу прибыло после польского восстания, что отразилось на здешних фамилиях: Пекарские, Серошевки, немного подальше, на Колыме, есть пик геолога Черского, тоже ссыльного. Молодо-зелено — по двадцать с чем-то лет, из хороших семей, с незаконченным университетским образованием. Здесь и заканчивали, выписывали много журналов, передавали друг другу. Просвещали местное население и сами изучали — быт, верования, этнографию...

В 80—90-е годы на средства золотопромышленника Сибирякова была снаряжена научная экспедиция. Руководил ею один из основателей террористической организации «Земля и воля», член Русского географического общества Д.А. Клеменц, а основными участниками экспедиции были проживавшие в разных местностях Якутии ссыльные, имевшие опыт научно-исследовательской, литературной деятельности или склонность к таковой.

Остались фундаментальные труды.

Просматривая их, приходишь к выводу, что созидательная деятельность может излечить человека от опасных претензий на переустройство мира. В селе Черкех я взял краткие биографии ссыльных и сделал выписки на листке против каждой фамилии: слева и справа.

Э.И. Пекарский (1858—1934). Слева: принадлежал к тайному сообществу, имевшему цель <...> ниспровержение путем насилия <...> Осужден в 21 год. Тюрма, каторга, поселение... Справа: результат самообразования — ученый-классик, якутовед, лингвист, этнограф, автор первого фундаментального словаря якутского языка в трех томах, с 1931 г. почетный академик.

В.М. Ионов (1851—1922). Слева: участник народнического движения, распространитель нелегальных сочинений. Пытался подорвать правительственный сенат. В 26 лет лишен всех прав состояния и приговорен к каторжным работам и ссылке. Это один вариант личностной реализации. Другой, справа: один из первых организаторов легальной печати, основатель газет «Якутский край» и «Якутская жизнь». Автор первого якутского букваря, создатель первой школы...

И так без преувеличения практически все 200 человек политссыльных, живших в этом районе: на одной чаше весов тайные деяния, на другой — явные. И запоминается почему-то, не в кого бросил бомбу еще один основоположник общества «Земля и воля» В.Ф. Троцанский, а то, что дети звали его «дедушка Таратай» и очень любили, он из журнальных вырезок делал для них стенды. Педагог, этнограф, автор «Эволюции черной веры (шаманизма) у якутов», очень любил охотиться, ходил по берегу реки... Район, кстати, в советское время назывался Алексеевским, по имени ссыльного рабочего Петра Алексеева, которого вождь мирового пролетариата называл «корифеем революции». Рассказывают, что в ссылке корифей любил сидеть под раскидистым сухим мировым деревом. О чем думал? Погиб рано, но не в жестокой классовой борьбе, убили из-за ревности — молодой был человек, холостой, кудрявый...

Другие обзавелись семьями, школами, учениками. «Стали серьезными исследователями якутского быта, и, может быть, в этом было их настоящее призвание», — заметил писатель В.Г. Короленко, тоже, кстати, ссыльный. Отсюда пошли и первые якутские писатели, ученые, педагоги, врачи, государственные деятели — плеяда национальной интеллигенции. Той самой, из-за которой выпускников школ не брали в вузы.

Платон Слепцов, первый руководитель советской Якутии, народный писатель, классик якутской литературы, — воспитанник тех ссыльных. Детство было голодное, дома, вспоминал, питался одним чаем, а на хлеб зарабатывал как рассказчик — пересказывал товарищам старинные предания и прочитанные романы. По свидетельствам учителей, схватывал быстро. Закончил одноклассное училище, продолжил образование в Якутске. Занимался в кружке «Юный социал-демократ».

На фотокарточке 1917 года видно, что состав кружка напоминает малокомплектную школу, компания разношерстная, один, с седой с бородой, держит на руках младенца. В формировании политического облика будущего якутского классика (на

фото он во втором ряду первый справа) сыграли видную роль ссыльные большевики Ярославский, Петровский, а также меньшевик Охнянский.

Писательство шло параллельно революционной работе. Или параллельно не шло? (Кстати, нынешний ученик черкехской школы Рома Обоюкин написал работу под названием «Изучение влияния якутских пассионариев на развитие якутской государственности», изобразив графики политической и литературной деятельности Слепцова — подъемы и спады на них не совпадают.) В двадцать пять лет Слепцов напишет одно из своих лучших произведений — «Красный шаман».

Жил здесь шаман... Нет больше здесь шамана.
Жертв и даров не будет небесам...
От ложной мудрости,
От жгучего дурмана
Отрекся сам он,
Он отрекся сам...

Прототипом главного героя пьесы был Николай Протасов из села Чурапчи. Его считали великим шаманом, самым знаменитым в Якутии. На сохранившейся фотографии, видимо, его последних лет (короткая стрижка, странная блуждающая улыбка, мешки под глазами, да и глаза какие-то страшноватые: один вверх смотрит, другой вниз), видно, что человек не от мира сего. Говорят, личность была феноменальная: выдающийся певец-импровизатор, плясун, музыкант, иллюзионист, врачеватель, провидец, силач и бегун... Но и трагическая: первый шаман, публично отрекшийся от шаманства.

О нем все советские газеты трубили, торжествовал Агитпроп. Пьесу «Красный шаман» Протасов знал, хотел даже сыграть главную роль, но ему не дали, боялись, что на сцене начнет камлать по-настоящему. В тридцать четвертом году Протасов перерезал себе горло.

Прочь колдовство! Сгинь! Рухни!
Пусть пропадет камлание!
Молитв не ждите, духи, —
Молчат уста шаманьи.
Мой дымоход забудьте...

Следует заметить, что литературный псевдоним, имя, под которым Платон Слепцов остался в истории якутской культуры, — Ойунский, от слова «ойун» — шаман. Загадка. Почему он выбрал такой псевдоним? Зачем? Что хотел этим сказать? Предвидел ли собственную судьбу или отрицал ее, отрекался, как красный шаман, от духов, от предков, от старого мира?

Многим тогда казалось, что это просто. Шла яростная борьба миров, но в отличие от богатырей народного эпоса тогдашние богатыри считали себя, наверное, представителями верхнего, светлого мира, и не было «трех стражей смерти», чтобы растащить сцепившихся в схватке.

Товарищам большевикам запомнился маленького роста смысленный, даровитый молодой человек, заступник угнетенной якутской массы. В 1918-м его принимают в члены РКП(б), в 20-м он становится членом Якутского областного ревкома, в 21-м — председателем губернского революционного комитета.

«Еще раз повторяю, что наша последняя задача — бить бандитов, и бить беспощадно», — эта цитата уже не из пьесы, из жизни. Вот он на фотографии тех лет, среди нагло-самоуверенных и, признаемся, красивых героев Гражданской, лежащих на полу и стоящих — так было принято тогда запечатлеваться для истории. Вот в президиуме, вот идет за гробом. А вот — с экипажем невиданной железной птицы, залетевшей в Якутию. «Товарищи! За свои трудовые копейки построим первый якутский аэроплан!..»

В обычные времена человек растет долго-долго, как в эпосе. А в революционные — вырастает мгновенно, до небес, как в бреду. В двадцать восемь лет Слепцов—Ойунский становится в Якутии первым человеком. Председатель ЦИК и член ВЦИК... Считается, что он сделал немало: добился автономии Якутии в

составе России, организовал строительство новой светлой жизни, где, по убеждениям тех лет, «на распаханной пашне и удобренной почве ревкомов вырастет строй автономного народа».

Прошел век, а мы все спорим, посланниками какого же мира они были, нижнего или верхнего?

«...С осени 1925 года и по сию пору я исключительно занят созданием якутской сказки...»

В 30-е годы Ойунского удаляют от дел, он пребывает где-то на периферии — в Якутиздате, Институте языка и культуры. Но еще — член Верховного Совета СССР, ездит в Кремль. Поздно женился, у него маленькая дочка, и жена ждет второго ребенка... В тридцать седьмом под Новый год уехал в Москву и не возвращается. Вдруг газета: «Арестованы... Ойунский и другие, подобные им. Воздух стал чище».

Семью переселяют в одну комнату деревянного двухэтажного дома напротив музея. И разрешают — невиданный случай — свидание. Оно очень выразительное, по воспоминаниям жены.

Его ввели. Хозяин кабинета подал портсигар и спички, налил в стакан воды. Тот поблагодарил, торопливо выпил. Жена сидела, не оборачиваясь, ей почему-то было страшно увидеть его. Наконец он спросил: «Как живете? Как чувствуют себя дети?» Она вскипела, гневно выпалила: «Да живем уж. Почему ты спрашиваешь о детях? Неужели не думал до этого про нас? Почему стал врагом народа, предателем? Чего тебе не доставало?» Платон помолчал, потом глухо ответил: «Вот так. Слыл сыном народа, а нынче стал врагом народа...» И вдруг заплакал.

Вскоре ей сообщили, что он умер в тюрьме.

В общем-то, это совсем не якутская сказка. Основной сюжет у нее везде один и тот же, различаются герои, интерпретации. Эпос длинный, я слышал только отрывок.

Неподалеку от бывших юрт политэзков трещали в камельке поленья, и сказитель говорил: «Бог только руководит, а ангелы исполняют». — «А они есть в сказке?» — спрашивал я. «Есть, есть...» — «Как к этому относятся люди?» — «Как к сказке». — «А вы?» — «Я уже старый человек, я немного верю...»

Спустя десятилетия понимаешь, что трагедия Слепцова—Ойунского, как и других из той плеяды, закономерна — они сами вызвали к жизни силы, которые с ними расправились. С другой стороны, все мы так или иначе — ученики эзков, политссылных, а те — ученики страны, где интеллигенция происходит от сыльных. Где подъем просвещения — следствие поражения в правах и каторги. Где родина — это место, в котором не странствуют, не путешествуют, а сидят. Был такой Манчары — благородный разбойник, якутский Дубровский, в начале девятнадцатого века грабил богатых, его сажали, убегал. Спросили: почему ты убегаешь? Там, ответил, моя родина. А если, сказали, посадим в Якутске, убежишь? Нет, это моя родина.

Сидел, прикованный кандалами, на своей родине.

Страницу Слепцова—Ойунского тоже надо бы поделить надвое: незадолго до своей гибели он совершил подвиг — перевел на письменный язык «Олонхо».

Я слушал его в исполнении учеников черкехской школы и завидовал: им не нужна «национальная идея», замена ленинских принципов какими-то другими. У них есть «Олонхо» с его вечным сюжетом и меняющимися героями. Есть родная речь, а в ней жесткие слова и такие — это относится к описательным, объяснял мне филолог Бугаев, — у которых общий корень, а остальное — импровизация. Каждый может придумать свое слово...

Мы сами — вольные или невольные творцы всего с нами происходящего.

Авторы «методики зачаровывания», как выразилась одна учительница, утверждают: один человек должен превратиться в сказителя, зачаровывать, а другой — в слушателя, зачаровываться. Без слушателя нет «Олонхо», без ученика нет школы, а мы нередко считаем, что есть...

Еще из педагогики Черкеха.

Технология изготовления мяча из конских волос, о которой мне рассказали девятиклассница Эльвира Богатырева и ее мама. Оказывается, когда скручиваешь

мячик, внутри образуется твердый ком, спираль, связанная с той же силой Кариолиса, которая вызывает в природе мощные вихревые циклоны.

Традиционный мячик и разрушительные вихри — результат действия одних и тех же сил. Лучше их не трогать.

В этом представился случай убедиться. С Николаем Бугаевым и Геннадием Решетниковым — заместителем начальника Таттинского управления образования — заехали в уникальный в своем роде музей-усадьбу П.А. Ойунского. Совершенно безлюдная местность, никто не охраняет. Та самая школа-юрта 1906 года стоит на том же самом месте: шесть парт, доска, стол с чернильницей, на столе «Русской букварь для обучения чтению и письму» Вахтерова. Правда, только обложка, а внутри что-то, написанное по-якутски. Свет из маленького окошка падает на парты, живой свет, так что кажется, будто живы и те ученики. «Это парта, за которой я сидел, — говорит Геннадий Решетников, — привезли из нашей школы».

Глядя на этот лучик света в маленькой деревенской школе, невольно думаешь: что же значат упорные попытки закрыть ее? Разве можно «закрыть» основоположников, закрыть эпос, закрыть культуру? Родной язык трудно обмануть, есть сходство, не правда ли, в звучании слов — «реструктуризировать» и «репрессировать». «Революция» и «регенерация»...

«Ре» — изменения. Куда? Обсуждаю со своими спутниками. Они говорят: в обратную сторону, наверное...

Через речку Татту ходит паром, который сам двигаешь: тянешь трос, натянутый между берегами, и переплываешь реку. На одной стороне школа, а на другой дом, где жил Ойунский. Коновязь, узоры, сухое дерево. Один мой спутник встал на паром, тянет: «раз-два» — тяжело. Другой встал. Потом я. Паром лязгнул, сдвинулся с места.

Надо сдвинуть... Собственно, тут ничего и не было другого при Ойунском: одна юрта на этой стороне реки, другая — на той. И все, птицы поют. Местность называется Делбэрийбит, можно перевести как «треснуло», можно — «разродилось». И какое совпадение, говорят мне, что разродилось таким вот человеком...

Ворота к нему открыты — в прямом смысле. Якутские ворота — просто жердь; вынул, вставил — вот и все ворота. Только выехали, лопнула шина. И на запасном колесе — тоже. Мимо на полувоенном «Урале-вахтовке», будто из старого времени, проехали «блиндажисты» — те, что прозванивают связь между Москвой и Магаданом. Мои спутники удивились: сколько тут ездят, никогда их не встречали. Что за бесовщина? Сидим... «Духов не покормили», — вспомнили мои спутники одну из возможных причин происходящего.

С озера слышится утробный звук. Выпь, наверное. Места тут хоть, по якутским меркам, и оживленные, но засесть можно надолго. Берем лепешку с маслом и кидаем в овражек — духам.

Скоро на безлюдной дороге показывается «уазик»: по необъяснимому совпадению обстоятельств зять одного из спутников едет по этим местам на охоту...

А мы отправляемся на ночлег к кузнецу.

Почему к кузнецу? Потому что он делает воину меч, а шаману побрякушки. В иерархии ценностей кузнец стоит на первом месте (выше только горшечница, но она женщина и демиург), «кузнец сильнее шамана», утверждает мифология, «шаман сильнее воина».

Хотя вообще-то все не слабые.

Мирный, умудренный жизнью кузнец — ловит стрелы руками.

Если воин благороден (выстрелив из лука, кричит противнику: «Эй, летит оружие, берегись!»), его отношения с другими персонажами эпоса складываются хорошо. Но если воин бесчестен, его ждет возмездие. Один воин убил сына старого кузнеца, а потом пришел к отцу заказать новый нож, да еще усомнился в искусстве кузнеца. Кузнец выполнил заказ. Воин положил на колени мерзлое мясо самца-оленья с костью, рубанул, и нож, перерезав воину колени, вошел до середины в брус нары. Убийца сына кузнеца остался без ног и без головы. Мы едем-едем... Мимо

места, которое называется «Где бык пописал». И другое оставляем в стороне, под названием «Где ночевал русский».

Может быть, место, где проезжаем мы, — тоже как-нибудь назовут?..

Мой горн уже горит

Не знаю другого такого случая, когда взгляды рядом живущего человека, односельчанина, его жизнь и деятельность, протекающие по соседству, кладутся в основу концепции школы, образования и воспитания. А в Баяге, как я понял, пытаются это сделать, опровергая утверждение о том, что нет пророка в своем отечестве.

Удивительно, не Ян Амос Коменский, не Монтессори, не Эльконин-Давыдов. Обыкновенный человек, сельский кузнец.

Правда, не рядовой, а достигший, согласно существующей в якутской мифологии табели о рангах, самого высокого уровня мастерства — «уус». Народный мастер Якутии, художник, этнограф. Свои книги, переведенные на разные языки мира (в Японии с его фотографией вышел перекидной календарь нового тысячелетия), он неизменно подписывает: «Кузнец Мандар».

Мандар Барыс, по-русски Борис Федорович Неустроев. На пророка похож мало. Худенький, прыгучий, чемпион по ходьбе на длинные дистанции.

Ходить есть где. Территория Баягинского наслега — по-нашему, сельсовета — две с половиной тысячи квадратных километров. Леса, охотничьи угодья, озера. «У меня свое озеро, — сказал кузнец-пророк, когда мы познакомились поближе, — приедете, будете селиться, мы вам тоже озеро дадим».

Просторное село на горках... Запомнилось: костер горит, полная луна, ветерок метет, как пургу, белую пыль. Племянница Мандара, десятиклассница, написала работу о восприятии цвета народом Саха. Двадцать оттенков белого. Дядя поправил — сорок. Белый с оттенком льда. Снежно-белый. Белый, как седина. Белый снег на широком поле в степи. Белый, как масть лошади. Белый, как лебедь. Как облака. Небесно-белый... Черного меньше.

Здесь его родина. Имя предка — когда он жил, неизвестно, только имя сохранилось — Сойуппат, означает что-то вроде «никогда не гасите огонь в горне» или «не позволяйте ему остыть». От этого предка по отцовской линии пошел род. Луковцевы, Тордуины, Неустроевы — все были кузнецами. А Мандаровы, Чаховы, Дедюкины — краснодеревщиками. В старину ремесло было родовым занятием. В советское время традиция прервалась. Но в наши дни оказалось, что ребята любят мастерить то же самое, что их предки. Пробеушь, говорит Мандар, учить такие-то фамилии кузнечному делу — не хотят, а к столярному тянутся. В человеке продолжает жить генная сила.

Поэтому первое правило педагогики по Мандару: «Сначала изучаем предков ребенка, только потом направление даем, тогда человек быстрее развивается, не сопротивляется природе, идет по своему пути».

Когда он родился в 1945 году, весил один килограмм семьсот граммов. Мать говорила, такой заморыш, непонятно, как выжил. Но встал на ноги и очень быстро начал поправляться. Первый мужчина был в семье после отца. С девочками не хотел играть, ходил один. С собой разговаривал, с природой разговаривал.

Он с детства — путешественник. Первый раз переночевал на лесной опушке один, когда было ему четыре года. Летом ковер из листьев мягкий, очень хорошо на нем спится, только нужно, чтобы лето было в разгаре, вечная мерзлота подтаяла, — тогда тепло, уютно. По два месяца иногда путешествовал. Шесть раз ходил в большие походы. С собой ничего не брал — ни палатки, ни еды. Только удобную обувь да бумагу с карандашами. Ночевал в заброшенных жилищах, амбарах, мотельниках, срисовывал старые вещи и оставлял их на своих местах.

С животными все время разговаривал. Шел по лесу, а лисица, как собака, сбоку, немного на расстоянии от него шла — не боялась. Однажды по нему ласка бегала. Лежу, говорит, на спине, а она — по мне и в глаза смотрит. Без ружья шел,

без ножа, даже без спичек. Костра не разжигал. Если от человека пахнет дымом, это природу отпугивает. А если запаха дыма нет, животные чувствуют, что человек — их родственник.

Появляются незнакомые чувства, говорит Мандар, прикладывая ладонь к сердцу. Я думаю, говорит он, человек живет, а у него все затуплено — чувства, обоняние. В конце похода обоняние становится, как у зверя. Выйдешь на тропу, понюхаешь — уже знаешь, кто прошел, когда, какой табак курит...

После таких походов часы на руке тикают, как будильник. А про людей думаешь: зачем так громко говорят, будто не слышу?

Когда ходил в природу, все время копался в старых вещах — игрушки, хлам всякий попадает в брошенных жилищах. Гадал — что это, для чего? Привык изучать, ощупывать старые вещи. От них через руки тепло разливается по всему телу, и сразу ощущаешь своих предков.

С глубокими стариками очень любил разговаривать, расспрашивать их. Во время этих походов, начиная с шестидесяти третьего года, побеседовал с восьмьюдесятью стариками и старухами, которым перевалило за 100 лет. Свыше восьмидесяти разговоров у него записано на бумаге. Девяностолетних уже и не считал, так много их было. По всей Якутии только к старикам ходил. О мировоззрении много разговаривали, у него к этой теме большой интерес с детства. От отца перешло. Мягкий был человек, спокойный, широкий. Один из последних сказителей-олонхосутов, тогда это искусство угасало, и отец сам себе под нос пел. На повседневные темы с сыном не говорил, только на философские: о взаимосвязи человека с космосом. Даже когда на сенокосе работали, об этом шел разговор. От отца перенял он и этот свой необычный взгляд на мир — несколько свысока. Даже на себя научился смотреть свысока. Как будто, говорит Мандар, хожу по земле и сверху на себя смотрю — что там у меня получается, что нет.

Рывками работать не любил. Якуты вообще не умеют работать и жить рывками, они тянут. Долго, медленно. Чем медленней крутятся жернова, тем качественней помол. Тут и реки медленные. Быстрые не тут, а там, где эвенки.

В армии служил на атомной подводной лодке, помещение нагревалось до +50 градусов, перепады давления такие, что человек вообще не выдерживает. А он — ничего. Но жизнь — не подводная лодка... Вернулся, старики его одражли, надо было содержать. Устроился работать кочегаром, чтобы иметь свободное время. И загубил в этих кочегарках здоровье. Знаете, говорит он мне, там вода, сырость, пыль и усталость все время, в этих кочегарках. А уже пробудился в нем огонь. «Мой горн уже загорелся, — говорит Мандар, — с шестидесяти пятого года горит и по сей день».

Маленькая мастерская Бориса Федоровича Мандара—Неустроева, где горн горит. Очень маленькая печь. Очень старый дом. В кузнице постоянно кто-нибудь находится, с утра до глубокой ночи. Все время в эту маленькую комнату очередь: совхоз распался, и, кроме мастерской Мандара, других в селе нет. Приезжают и из других мест те, кто хочет вникнуть поглубже в кузнечное дело. Он учит. Живут у него неделю, месяц — сколько смогут, и учатся. Мандар смеется: бесплатное училище.

В это училище к нему приходят и маленькие дети. Кузнец Мандар учит и их, когда они начинают крепко держать молот в руке. Никакого расписания нет, когда хотят, тогда и приходят. И только те, кто хочет. У кого кровь предков играет в жилах — это сразу дает фору и формирует привычку не бояться огня, умение побороть твердость металла, закалить клинок. Маленькие ребята, кузнецы в десять, двенадцать, тринадцать лет, смотрят уверенно и с людьми уверенно разговаривают. Уже мужчинами себя чувствуют. Гордые такие, не хотят уступать. Тоненькими ручками начинают ковать металл. Сил физических мало, но азарта, силы духа — не занимать. Побороть металл — побороть себя. Здешние мальчишки большей частью расхлябанные, как везде, а начнут с металлом работать — подтягиваются. К учебе иное отношение. К здоровью. Совсем другие дети. Берут его за руку, пробуют мускулатуру. «Ну, как ты себя чувствуешь, как ты?» — спрашивают. Мандар смеется.

Если работаешь с металлом, нрав становится мягкий. А человек — уживчивый и веселый.

Петь хочется. Мандар прикладывает металл ко рту, и раздается фантастический звук. Длинный, амплитудный звук хомуса. Амплитуда колебания язычка хомуса должна совпадать с биоритмом исполнителя, тогда получается искусство.

Чудный инструмент. Самый близкий человеку, как свирель. Когда умелец играет на хомусе, его душевное состояние, состояние здоровья, то, как ему живется, — все передается инструменту. Вот такой получится звук, показывает Мандар, если только руки работают или губы. Полоска, зажата во рту, звучит, как камертон. А может греметь, как колокол. «Сейчас кончик языка будет работать», — говорит Мандар, и я прислушиваюсь: будто идет быстрый-быстрый разговор, болтают люди. «Сейчас корень языка будет двигаться, у самой гортани», — точно лебеди пролетают трубя. Ближняя гортань — звук один, глубокая, дальняя — другой, будто мотив из «Олонхо»...

Человек сам себе инструмент и может сыграть любую мелодию. Вибрация закаленной стали очень быстрая, и звук получается чистый. Очень тонкое дело — закалывать язычок хомуса. Мандар учит этому своих учеников, но до совершенства доходят не все. Он и сам не всегда достигает совершенства...

Так он уходил и возвращался, и из заброшенных старых жилищ, от стариков приносил рисунки. Много листов с изображением орнаментов, которые перерисовывал с разных вещей. На обороте каждого листа: что это такое, откуда взял, когда сделано — данные о вещи. Ее этнографически точная копия в единственном экземпляре.

Глядя на эти вещи, испытываешь гордость за предков, говорит. Тяжелые, знающие себе цену, дорогие, торжественные. Тяжелые, а в то же время — ажурные. Эти серьги — будто стоящие женщины. А по этим ступенчатым деталям считали детей, родственников, богатство. Восемнадцать сантиметров длиной, ниже плеч, в виде подковы, ключа, замка от двери. Есть даже такие (в двух видах изображено): спереди надувающаяся змея; а сбоку — ухватывающая себя за хвост вечность...

Мандар вырисовывает каждую бисеринку, бусинку и оттеняет размер, чтобы лучше можно было представить себе весь предмет. Волка ноги кормят, а его — память и руки. На один рисунок иногда уходит полмесяца. А у него их тысячи...

Издавал 400 рисунков на дереве, ждут своей очереди орнаменты на одежде, металле, кости, бетоне, глине...

Кажется, что через эти якутские орнаменты на нас смотрят глаза предков. В силу психологического эффекта видишь то одно, то другое, узор превращается то в театральные занавесы, то во взявшихся за руки людей. Как будто он обучает нас, идет от простого к сложному: от детской берестяной игрушки, ягоды малины, завитушки и сердечка — к солнечному кругу, вселенной и жизни человека в ней. А может быть, нет ничего простого — все сложно. Или все просто, но как прочесть и понять то, что написано?

Когда-то предки Мандара имели письменность, а потом утратили. Существует легенда: прародитель якутов плыл на корабле, плохо привязал книгу, она утонула. Теперь только на скалах вдоль Алдана и Лены встречаются те письмены, тюркские рунические знаки... А когда письменность пропала, стали говорить орнаментом. Ведь орнамент — мать письменности, каждая закорючка что-то значит, каждый вид орнамента — это отдельный смысловой рассказ. Благодаря своему смыслу орнамент и сохранился, считает Мандар, а если бы был только украшением — вряд ли.

В советское время, это я уже думаю вслед за Мандаром, все эти «сухие деревья», орнаменты, ритуальные танцы и шаманские пляски власть принимала за фольклор и — слава богу. Поэтому сохранилось. И хотя мало кто мог прочесть эти идущие из глубины веков послания, даже не понимая смысла, люди что-то ощущали, испытывали другие чувства, чем должен был испытывать «весь советский народ».

Может быть, поэтому остались этносом, у которого под ногами не только вечная мерзлота, но и культурная почва. Символы, знаки, образцы поведения,

нравственные ограничения. Мертвый язык, на котором, считается, народу заговорить невозможно, — но ведь заговорили же.

У Мандара — десять собственных книг, еще к двадцати он сделал иллюстрации. Оформляет книги поэтов, которых любит, близких по духу, философских. Иллюстрировал переведенную на русский и английский книгу Алексея Кулаковского, якутского Нострадамуса.

Рисунки Мандара очень выразительны.

Разинутый рот, зубы как огромные ледяные сосульки, и туда, в эту разинутую пасть Бога, идут звери, птицы, гады...

Космос в виде шаманского бубна. Капля, с которой начинается жизнь. Человечество, качающееся, как на маятнике, на обрывающейся веревке. «Все никак не опомнися, а наша жизнь висит на волоске, — комментирует Мандар, — и Бог, видите, смотрит на человечество, на веревку...»

У основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского, который написал свои знаменитые «Сновидения шамана», есть несколько пророчеств: о Первой мировой войне — лет за десять до нее, о большевиках (он умер в 1926 г.), о судьбе народа... Анализируя взгляды, характеры разных народов Запада и Востока, Кулаковский в своих пророчествах указывает, что якутам надо жить вместе с русскими. Дальше идут примечательные строчки: «Якутам легче всего будет выжить с русским народом, который такой же отсталый полудикарь, как и мы, наивный добряк, неспособный обижать нас...»

Кулаковский считал, что слишком высоко развитая нация может растоптать маленькую, последней проще существовать возле добродушного народа, стоящего на близкой к ней ступени развития. Не знаю, справедливо ли это утверждение сегодня, время меняет характеры народов. Но есть якутская пословица про драку больших народов, из-за которой больше всего страдают малые народы и дети.

Мандар это проиллюстрировал. Вихрь Гражданской войны, голод в образе гигантской саранчи, великий Ленин, указывающий путь к коммунизму, но только путь все уже и уже. «Это вид сверху, — объяснил Мандар, показывая рисунок, на котором зияет здоровенная лысина, а под ней идут человечки. — Я смотрю оттуда, откуда никто не смотрит», — смеется он.

Человечество идет путем дальнейшего развития в темноте, с лучиной. Душа якута, связанная с духом огня. Боги, услышавшие мольбу и не дающие упасть ковшу благословения. Все кончается хорошо, в якутской палитре жизни оттенков белого цвета больше, чем черного.

Хотя жизнь, как известно, состоит из противоположностей и пересечение светлого и темного рождает серое. Серый человек, срединный мир, где живут люди. Серая земля... «У нас, — говорю я Мандару, — серый — это посредственность». Но талант, гений тоже имеют разную окраску, отвечает он. «Если творение приносит пользу людям, то оно светлое, а если гибель — черное. Даже ребята сразу понимают этот рисунок. «Где ты находишься, — спрашиваю, — тут?» — «О нет, — отвечает, — я там, наверно...»

Вот концепция кузнеца Бориса Мандара, опирающаяся на народный эпос.

Есть девять ступеней умственного развития человека.

Первая — «мать-разум», дается свыше, из космоса, от космического разума. На солнце бывают вспышки, протуберанцы, вроде этого, говорит Мандар, показывая на изображение «матери-разума», испускающей лучи и лелеющей другой тип разума, который оформляется у ребенка до семи лет. Ребенок ходит, ищет, творит — это «движущий разум».

С семи до четырнадцати наступает пора «разума спорящего». Человек спорит, истину хочет найти.

Потом развивается «вперед идущий ум», вперед смотрящий, вперед думающий. Человек начинает планировать жизнь, думать о будущем. Следующую ступень можно перевести на русский язык как «ясновидящий разум». Человек созревает, ясно видит все вокруг, впереди, туман рассеивается, колебания проходят...

Самая высшая точка развития человеческого ума, по якутской народной педагогике, — разум сказителя и кузнеца. Не только кузнеца, а любого мастера,

достигшего высшего совершенства в своем деле и приносящего наибольшую пользу людям. Реализовавшего свое предназначение.

Проявление человека как мастера — высшая точка развития его разума. Дальше, говорит Мандар, боги идут...

Но до этого посредники между богами и нами — шаманы.

Самая сильная шаманка Якутии по имени Дора живет в Мукучу, это в двенадцати часах езды от Якутска. Там же жила и самая сильная шаманка начала двадцатого века. Говорят, когда вертолет пролетает над этим местом, мотор глохнет.

Информация для меня — в связи с тем, что проезжаем село, где живет шаман, с которым встретимся на обратном пути. А пока замдиректора Института национальных школ Николай Бугаев и замначальника Таттинского улуса по инновациям Геннадий Решетников меня просвещают: «Люди с открытой плотью у нас есть». — «Ясновидцы?» — «Нет, просто люди с открытой плотью, открытые в параллельные миры», — говорит физик Геннадий.

Мы едем, сами не зная куда. То есть они-то знают, мои проводники по Якутии Николай Бугаев и К°, разработавшие сценарий этого путешествия по якутским дебрям и шаманским школам по принципу синтаксического параллелизма — кругами. Все ближе к смыслу. Все дальше от очевидности. Как в якутском календаре: в январе гадают, что будет, в июне — Новый год, октябрь — войны, декабрь — сказки перед камельком. «Что за параллельные миры?» — «Миры, с которыми пересекаемся, проходим через них, но не замечаем. А эти люди, они называются «ахагас эттэх», — открыты этим мирам». — «А еще есть люди с закрытой плотью, — добавляет Бугаев, — они вообще непробиваемы». — «Вот мы идем по тайге, — говорит Геннадий, — если пересекаем это место, обыкновенный человек ничего не ощутит, а человек с открытой плотью почувствует. Увидит нечто, обычно из прошлого».

«Не все усопшие, — поясняет зам по традициям, — уходят в мир иной. Некоторые остаются для искупления грехов. В нижний мир уходит только душа-земля, а психическая энергия может и остаться, если вы какое-то табу нарушили». — «Но даже и обычные люди, не с открытой плотью, — добавляет зам по инновациям, — могут увидеть».

«Что, не верите? Думаете — что они мне тут сказки Андерсена рассказывают?» — улыбается своей очаровательной редкозубой улыбкой Бугаев.

На самом деле, пытаются развернуть передо мной мои спутники якутскую педагогику, было время, когда взрослые жили в сказках, в эпосе, мифологии, когда философия и поэзия были едины, не существовало кризиса детства, кризиса переходного возраста. Когда возникла цивилизация, возник и кризис детства. «А мы, — говорит Геннадий, — хотим быстрее втащить детей во взрослость». — «Как будто, — развивает Николай, — нет никого, кроме Яна Амоса Коменского. Ну да, великому человеку надо отдать дань, оказать честь, как сухому дереву, не срубая. Но рядом же стоят цветущие деревья!»

Режим внутренней речи

Пора браться за леденящие душу истории, за страшную тайну, которая приковывает в любом возрасте. Верней, не приковывает, а, напротив, высвобождает творческую энергию, проникающий сквозь любые препятствия ум, необыкновенные способности — все то, на чем основана шаманская школа. Или «шаманизм как образовательная культура» — название не защищенной пока докторской диссертации моего якутского друга.

Впрочем, все по порядку.

Был в Якутии, рассказывал Бугаев, такой человек, Седалищев, псевдоним Сэсэн Боло — все его под этим именем знают. Первый якут этнограф. Уроженец Чурапчинского улуса, из села Ожулун.

Среди его предков была женщина, ее звали Сьыдам Сынгалаабыт. Очень сильная шаманка — «удаганка». Женщина-шаман вообще намного сильнее мужчины, ее даже нельзя называть этим словом, про нее говорят — «старшая сестра». Так вот, до поры до времени эта удаганка сама не знала, кто она. Была дочерью очень богатого человека, беззаботно жила, гуляла с подругами, наряжала деревья. Но с раннего возраста у нее обнаружилась способность из разряда шаманских — творить чудеса. Все ее любили и боялись. А родители хотели, чтобы она была обыкновенной девушкой. Когда подошло время, подыскивали жениха из богатого рода, но старше ее, некрасивого и, как гласит легенда, не очень богатого умом. Естественно, жених ей не понравился, но ее не стали слушать. Несколько раз она пыталась удавиться, однако веревка каждый раз обрывалась — молва так свидетельствует, но кто знает, может, девушка только делала вид, что вешалась.

Наконец свадьба состоялась. В брачную ночь невеста исчезла, а наутро ее нашли мертвой.

И вот Сэсэн Боло, потомок из ее рода, этнограф — это уже не легенда, а совершенно реальная история, — задался целью найти и раскопать ее захоронение. Он предполагал, что в нем должны находиться очень богатая одежда и убранство. Расспрашивал отца про место захоронения, но тот хранил тайну, не раскрывал.

Однажды, в тяжелые для себя времена, Боло заключил договор с Институтом истории языка и литературы о том, что к определенному сроку представит наряд женщины XVII столетия, и вернулся на родину. Срок договора истекал, деньги были потрачены... Незадолго до отъезда в Якутск Боло устроил прощальный ужин, и во время этого ужина, когда у отца развязался язык, сумел-таки выудить у него место захоронения прародительницы.

Позвал трех человек, своих родственников, и они уехали на алас, где оказалась похоронена «удаганка». Очень быстро нашли место, раскопали. Гроб был обернут берестой и запаян березовым дегтем. Когда покрытие сняли, выяснилось, что он очень хорошо сохранился, — сделан из лиственницы. Попытались вскрыть — не смогли. Попробовали топором, не выходит — от мореной древесины все отскакивает. Они начали крушить и ломать. В конце концов разломали, и на миг их взорам предстала молодая красивая женщина в полном якутском убранстве. Но тотчас, прямо на глазах, труп почернел, стал разлагаться и через несколько минут... превратился в скелет. Это произвело на Боло и его спутников такое жуткое впечатление, что они буквально остолбенели и сочли, что это очередное колдовство «удаганки».

Трое из этих людей, в том числе сам этнограф Сэсэн Боло, в течение короткого времени умерли. А четвертый, который в этом деле активного участия не принимал, но был с ними, — свихнулся.

А ее обратно закопали. В селе, где учительствовал Бугаев, из уст в уста передавалась такая история: когда, мол, началась Великая Отечественная война, многие перед тем, как идти на фронт, ходили на место захоронения «удаганки» — прощаться с ней. И якобы те, кому показалось, что она предстала их взору, кто «видел» ее, — вернулись живыми, а те, кто не видел, — погибли. Не знаю, говорил мне Николай Бугаев, может, это правда, а может, сказка. Но такому факту сам был свидетель. Однажды в конце 70-х годов, когда устраивали «пал», поджигали прошлогоднюю траву, чтобы удобней было сено косить, огонь неожиданно охватил лес, все кругом сгорело. Только могила «старшей сестры» осталась нетронутым островком. Может, случайность, но так было...

У Николая Иннокентьевича в роду по линии отца есть шаманка и три шамана, как он выражается, «средней руки». Дед просто лечил травами. Все это, говорит Бугаев, его не очень интересовало. Но в начале 90-х в Институт усовершенствования учителей, где он тогда работал, приехал из Ленинграда молодой аспирант. Привез с собой восемьдесят текстов шаманских заклинаний — камланий. Видно, что старинные, многое испорчено. Писаны латинскими буквами, но тексты якутские, переведены на русский, переписывал, видно, человек, не знакомый с якутским языком, — в общем, тарабарщина. Аспирант попросил Бугаева заняться переводом «с якутского на якутский».

Сорок текстов было на одну тему — описание обряда, помогающего женщине

избавиться от бесплодия, — в нее как бы вселяют душу будущего ребенка. Сорок вариантов одного и того же обряда. Ну, Бугаев согласился. Считается, что первые поэты Саха — шаманы, и он надеялся лучше узнать родной язык. Постепенно работа его заинтересовала, и он стал заниматься этой темой.

А аспиранту, его звали Егор Малышев, Бугаев посоветовал: сделай литературоведческое исследование, структура текста заклинания очень интересная, это художественное произведение. Но тот полез, куда лезть, по мнению Бугаева, не следует, — в культовую сторону. Купил в Заложном районе «засыпнушку», как тут называют домики, сколоченные из досок, между которыми засыпаны опилки. Один там поселился, говорил, что по ночам кто-то приходит, что вообще не спит, стал водиться со всякими личностями, которые объявляли себя шаманами. А однажды под Новый год исчез.

И нашли его, только когда сошел снег. Причем абсолютно без следов надругательства. На окраине Якутска, в нескольких километрах от последних домов. Ничего с него снято не было. В сидячем положении находился, просто завалился набок. В кармане початая бутылка водки. Но одна странность, говорит Бугаев. Знаете, если человек замерзает, он раздевается. «Как это?» — удивился я. «Когда человек замерзает, у него начинается бред, его жар мучит, и он раздевается, во всяком случае, делает попытку. А этот — не делал».

Просто остался под снегом. Таких тут называют «подснежниками»...

Поздней, когда у Бугаева возникла идея создания национальной якутской школы по способу мышления и деятельности, а не по набору предметов и он стал вникать в структуру языка, он вспомнил про эти шаманские тексты. И стал, по его собственным словам, заниматься шаманизмом «в педагогическом плане». «А почему все-таки шаманизмом?» — спросил я Бугаева. И вот как понял его объяснение.

Извините за маленькую лекцию. Структура речи проявляется в структуре языка. Один заикается, другой шепелявит, у третьего богатый словарь, у четвертого — лексический запас, как у Элочки Любоедки. И языки бывают разные: естественные и искусственные (на основе естественных, но гораздо проще — например, дорожные знаки), вторичные моделирующие (на основе естественных, но гораздо сложнее — художественная литература, искусство) и т.д.

Бугаев взял язык художественной литературы (он же филолог, занимался структурой поэтического текста) и стал дробить дальше.

Художественные тексты делим по времени написания. Стал думать, какие тексты взять — современные или из прошлого? В современных очень сказывается влияние других культур, а ему нужен был более-менее «чистый» — значит, прошлое. А там опять двоеение: народные тексты и «писательские».

В писательских — много личностного, субъективного. А в фольклорных текстах любых народов — жесткая структура и сюжетные вариации, по Веселовскому — «сюжетная импровизация».

Взял героический эпос «Олонхо» — как вершину, синтез всех фольклорных жанров. Но когда начал разбирать, оказалось, там десять вариаций. А он искал базовую структуру, вот тут-то и вспомнил про те тексты Малышева, шаманские заклинания. И стал углубленно ими заниматься. Но поставил себе жесткое условие: ничего магического — только структура.

Его рабочая гипотеза: если по этим шаманским текстам смоделировать структуру родного языка, то получится, что мы смоделировали этнический тип мышления. И если к этой модели прибавить нечто личностное — интерпретации предметов учителями, плюс мировое, общечеловеческое, и из всего этого вывести некую педагогическую технологию — получится национальная школа по способу деятельности, а не по набору предметов.

Потому что школа, хоть сто часов изучай в ней родной язык, не будет национальной, если в ней нет особого способа деятельности...

Искал и другие, параллельные ходы. Обращался к этнокультурным, этнопсихологическим исследованиям. Смотрел, как изучали национальный характер: через психические процессы, адаптивные механизмы, эмоциональные установки, институ-

циализированное поведение... Его-то интересовала вполне практическая проблема: первые социальные институты, куда приходит ребенок, — детский садик и школа, а они не соответствуют его этническому типу мышления. Необходимо создавать другие, которые соответствовали бы.

Размышлял о мышлении западном и восточном.

«История — результат проявления универсального закона, а не результат творения, как в европейской традиции.

...Мудрецы — это носители и хранители высшего знания, этических идеалов.

...К высшему знанию ничего нельзя прибавить по существу. Его можно лишь бесконечно истолковывать...»

Это из его рабочих тетрадок.

На кого опирался? Бахтин, Библер, Хайдеггер (прозванный «коренным зубом европейской философии»), в какой-то мере, говорит, Камю и, может даже, Сартр как экзистенциалист. Из русских: библиофил Николай Александрович Рубакин. Конечно, окружение Льва Гумилева и те, от кого он пошел, — Вернадский, Чижевский... Окружение психолога А.А. Леонтьева и те, кто занимался этнокультурной основой речи. «Для меня же, — говорит Бугаев, — важна речь, понимаете...»

Родная русская речь... Столько плотного, всеобъемлющего мата, сколько за последние годы, я не слышал за всю прожитую жизнь. На всех уровнях, во всех слоях, все возрасты ему покорны. Мат, заменивший любовь и ненависть, игру и дружеский разговор. Деткам сделаешь замечание, удивляются — а что такого?

Мат пришел в колыбель. Бугаева зовут в президентскую администрацию в Якутск, руководить политикой в области родного языка. Он на распутье, не знает, как поступить: уйдешь в аппарат, а как же эти путешествия, школы? И в то же время можно будет создать государственную программу, принимать решения.

У него, как у многих тут, это засело в подкорке, в генной памяти — кто такие якуты, «урангхай-сахалар», откуда пришли? Из Туруханского края — остроумно заметил один ученый незадолго до своего ареста... Версий много. Одни указывают на древних тюрков, на жаркие монгольские степи. Другие подмечают, что ландшафты эпоса «Олонхо» напоминают предгорья Памира и вершины Гималаев.

Якуты — это беженцы, вынужденные переселенцы. Они бежали от конфликтов и войн. Возможно, в течение столетий перемещались на север и восток, обживали новые территории и двигались дальше, приспособляясь к огромным расстояниям и длительным усилиям, к глухой тайге и вечной мерзлоте. Уподоблялись лошадке или олешку, разбивающему в кровь копыта, чтобы достать из-под земли пропитание. То, что предстоит большому народу, можно увидеть на примере малого. Потеря письменности, речи, мучительная попытка обрести себя снова. И, напротив, малый народ отражается в зеркале большого, как ребенок в глазах взрослого.

Семейная история.

Отцовский род охотников, шаманов и «легавых» (отец Бугаева работал в угро) столкнулся в революцию с родом матери «Тыгын» — первым и последним царским родом. «Царек» — называли бугаевского предка русские, он был князь, «дархан», объединявший до прихода казаков якутские улусы. Род, связанный с мамлюками, что царствовали в Египте, а поздней служили в гвардии Наполеона.

Во времена Гражданской войны остатки тех родов именовались «конфедералистами», выступали за демократию без большевиков и, конечно, все были расстреляны, включая дедушек Бугаева. Это была якутская аристократия. «С другой стороны, — говорит Бугаев, — я благодарен Ленину, без него мать и отец не встретились бы, я бы не родился».

Ходили и другие истории. В советское время в Якутске шла очень популярная пьеса «Братья» — о дядьках Бугаева. Якутский вариант «Хождения по мукам»: один дядька истинно красный, а другой — в жизни это был не дядька, а дедушка — «перекрасившийся». В Великую Отечественную на фронт пошел добровольцем — скрывался от репрессий. Погиб в первом же бою под Ржевом. В пьесе это не вошло — он переводил приказы командиров землякам, не понимавшим по-русски.

И свое «сах-урангхай» не помнили, или было спрятано глубоко-глубоко...

В конце 80-х — начале 90-х годов все это, национальное и не национальное, выплеснулось. В спокойной Якутии было вовсе не спокойно, толпы молодежи в Якутске образовались раньше, чем в Алма-Ате. Волнения удалось погасить

благодаря... «Концепции развития национальной школы Республики Саха (Якутия)», в девяносто первом году утвержденной правительством.

Так что проблема эта не только филологическая.

Структура поэтического текста. Поэтика. Язык. В языке скрывается все.

Отсутствие ударений. Долгий звук — за счет удвоения гласной: «сылгы ытар» — место, где лошадей отпускают на волю. В русском географическом атласе в названии села одно «ы» убрали для краткости, и теперь молодые якуты читают измененный вариант — «место, где лошадей отстреливают».

Хотя якут никогда этого не делает.

Странно, вспомнилось о шамане. «Человек, бывает, говорит вслух, а потом, — сказал Бугаев, — переходит в режим внутренней речи. Вот шаман для меня — это не изгой, а человек ушедший... перешедший в режим внутренней речи».

Бугаев занимался архитектурой, ритмическим строем стихотворения, пытаюсь объяснить его на языке физики (физтеховская школа пригодилась). Волны... Звуки речи как волны. Знакомое каждому школьнику явление резонанса.

На языке физики Бугаев объяснил, почему большая культура поглощает малую, не давая ей возродиться, — затухающие колебания, не больше.

...Интонационный контур традиционного русского языка понижается к концу строки. А якутского — повышается. Так было раньше. А потом — Бугаев на эту тему много материала перелопатил — якутский начинает, как русский, понижаться к концу строки (Бугаев показывает, резко опуская руку). А ритмическое, интонационное спрятано внутри. Вроде бы на якутском говоришь. А уже не совсем на якутском. Много личных местоимений появляется. А якут не привык «якать». Порусски: «Я пойду туда-то». Якут скажет: «Пойду туда-то». Сейчас и якуты стали «якать». Но все это, говорит Бугаев, наверное, страшней, чем видится на поверхности...

В 90-е, во времена «парада суверенитетов», якутская интонация чуть приподнялась, но, скорее, за счет подражания старым формам.

Традиции нарушены не на поверхности, а на глубинном уровне. Какой процент школ в Таттинском улусе пустил корни? Процентом шестьдесят. А по Якутии? Некоторое время назад все пели, танцевали, потом энтузиазм стал затухать. Почему? Почему сначала выплеснулось по всей России, а сейчас уходит? Бугаев говорит, что ему близка такая позиция: культура иерархична и ее верхний уровень выходит на школу («функция освоения и преобразования мира»). А есть еще функция «перспективной разрядки» — она как бы дремлет до тех пор, пока человек одной культуры не начинает ощущать угнетения со стороны другой. Тогда он принимается что-то делать: одеваться в национальные одежды, искать отдушину. Если не находит, получают Карабах, Чечня... Помните, как там начали бить в барабаны, бубны... «Вы не согласны?» — спрашивает Бугаев.

Он изучил разные религии с точки зрения отражающегося в них типа мышления, проекции на педагогику и учебные предметы, типы деятельности. В иудаизме неожиданно обнаружил связь со структурой деятельностных образовательных технологий — так называемым развивающим обучением. В христианстве Закон Божий сомнению не подлежит, а в иудаизме, если верить Штайнзальцу, иудей обязан подвергать закон сомнению, только в этом случае он может прийти к вере. Так это же и есть развивающее обучение!

Но иудаизм же вышел из язычества. И тут я за уши, говорит Бугаев, притягиваю его к шаманизму. И прихожу к выводу: язычество всех народов мира имеет общую структуру.

То есть получается, что, разрабатывая якутскую национальную школу, я разрабатываю *общечеловеческую*... «Впрочем, этого я, — замечает Бугаев, — своим учителям пока не говорю. Пусть идут от своего, национального, потом сами поймут...»

Как к этому или к чему там приходит шаман во время тяжелой инициации, именуемой «болезнь посвящения»? В старинном заклинании о ней говорится: «Трижды умрешь и трижды воскреснешь...»

Интересно, что шаман-учитель никогда не обучает шамана-неофита. Он лишь создает ситуации («проблемное обучение?»), в которых тот сам сможет почувствовать, что его призывают духи. Это не звуки ангельских труб. В дошедших до нас камланиях есть невероятные по горечи, отчаянию признания шаманов относительно своей мучительной участи, которую, если принял, обратно не отдашь: «Трижды пытался покончить с собой — веревка рвется, уходит вода и гаснет огонь. / Убедился: на муки вечные обречен...»

Но если человек все-таки решился ответить на зов духов, он должен переболеть «болезнью посвящения». Несколько дней его не трогают, он не ест, не пьет. Его расчленяют, раздирают духи. И он должен себя сам в результате этой «болезни» собрать на новом уровне. Есть девять ступеней шаманства, и человек сам определяет для себя, на какой уровень подняться. Если ему предназначен некий уровень, а он поднял планку выше и не справился, это может для него плохо кончиться. А если занизил, придется опять переживать болезнь и собирать себя снова.

А что там, в этом «новом»? «Невидимое увидишь очами чародея. Неслышимое услышишь ушами колдуна...»

Я вспомнил про «метод зачаровывания», который разрабатывают в черкекской школе. «Мы не воспринимаем шаманизм как религию, — сказали мне учителя, — для нас это техника вхождения в экстатическое состояние, то есть в творчество».

«Эта шаманская технология, — говорил мне Бугаев, вычерчивая очередную схему, — не глупость. Они что говорят: что у человека два центра — разума и воли, не чужой (пойди туда-то), а своей собственной. Центр разума связан с речевым центром, и это круг управления разумом, так живут большинство людей. На основании личного опыта, с помощью логических умозаключений они находят единственно верное решение. Этому учат формальная наука, школа. А другой круг — центр моей воли, связанный с эмоциональным и генетическим центрами, с интуицией. Это круг сердца. По нему живут творцы — у якутов это кузнецы, шаманы и богатыри. И дети до пяти лет».

Из эпоса «Олонхо»: «Люди племени солнца с поводьями за спиной...»

У шамана за спиной обязательно должны быть поводья, ими же духи управляют, говорит Бугаев, поворачивая голову. «Весь наш народ — шаманы. И нам, — мило улыбается он своей редкозубой улыбкой, — грех не создать шаманскую школу».

Еще раз о том же самом, упражнение для закрепления. Что же получается? Шаманизм как средство преодоления противоречия, разрешения проблемы?

Человек уткнулся лбом в проблему. Шел, шел, а там — разрыв. Как его преодолеть? Надо перепрыгнуть через разрыв. В шаманизме то же самое: человек сталкивается с проблемой: быть или не быть ему шаманом и вообще личностью (он ведь идет почти на смерть, инициация — опасная болезнь). Когда же он решается перепрыгнуть из обычного состояния сознания в экстатическое (уйдя от людей, находясь в бреду, при этом никто не должен ему мешать — иначе умрет), он делает прыжок и потом, возвращаясь в обычное состояние сознания, начинает осознавать, кем стал. Шаманом.

Изучая психологию шаманизма, я вспомнил — о, дивный остров Валаам! — беседу о пострижении в монахи.

Человек поднимается постепенно на разные уровни, прежде чем достичь «беззлобия, равного младенческому». Сначала он просто рабочий монастыря. Потом, если укрепился в намерении, получил благословение, становится «трудником». Одежда может быть обыкновенной, как в миру, но не яркой, облик меняется постепенно, отращаются борода, длинные волосы... После «трудника» — «кафтанник», потом «послушник», «инок»... Пока — не монах. Имя еще сохраняется, он еще брат Иван, брат Михаил, еще не начал другую жизнь, это еще не бесповоротный шаг, можно вернуться...

Наконец — решается. Наступает момент пострижения и обретения нового имени. Обряд, во время которого человек меняется коренным образом. Таинство.

Говорят, иногда даже за несколько минут до пострижения никто, включая игумена, который должен произнести новое имя, не знает его. Но когда имя произнесено: «Нарекается отныне раб Божий...», когда званный назван, он, по признанию прошедших через эту инициацию, испытывает особое состояние — просветления и благодати (что-то вроде «болезни посвящения», но со знаком «плюс»). Благодать держится несколько дней, по прошествии которых человек возвращается в обычное состояние и осознает, кем стал. Не то же ли самое — «по технологии»?

«Да, — говорит Бугаев, — есть фундаментальное исследование по истории шаманизма румына Мирчи Элиаде. Основной его труд: «Шаманизм как техника экстаза». Там он вводит термин «иерофания»: «иеро» — святой, «фания» — фанатизм. Он говорит, что состояние иерофании имеет обыкновение повторяться, и каждый раз как бы расширяясь. Существуют архетипы этих иерофаний, и по прошествии тысяч лет они все равно повторяются. Он говорит, что культ поклонения, структура его всегда одна и та же. Сюжеты разные...»

Сын шамана

В селе Уолба две достопримечательности: бюст В.И. Ленина в местной школе и изготовленный на средства односельчан памятник Ф.П. Чашкину (1878—1965) — местному шаману.

У оставившего о себе добрую память шамана — два сына: Фома и Михаил, один из них продолжает дело отца, который предсказал, что шаманом будет другой. У дома Чашкина — очередь приезжих на автомобилях, ждем, когда кончится прием.

Ландшафт точно по Кастанеде: холмы, озеро, поросшее желтой травой и какими-то колючками. Шаман Чашкин-младший — копия Дон Хуан, только сильно располневший: темное до черноты, расплывшееся лицо латиноамериканского типа. Интересно, что здесь это никого не удивляет — узоры якутского чепрака, что кладется на круп лошади, напоминают древние рисунки на плато Наско в Перу, сверху имеющие вид разметки посадочной полосы.

Во время нашего разговора Чашкин-Хуан чесался, где только можно, и беспрерывно зевал — шаман принимает больше народу, чем участковый. Меня этот на вид ленивый, не без чувства юмора шаман в майке несколько не разочаровал, напротив, если бы он прыгал с бубном, я бы не поверил. А ленивость, усталость, обыденность — притягивали. В доме шамана нет ничего особенного. Разве что распластанная на стене медвежья шкура и гипнотизирующий взгляд отца (портрет, очень выразительный, написан здешним учителем).

С него мы и начали разговор (шаман по-русски говорит плохо, я по-якутски — никак, поэтому через Бугаева-переводчика).

— Вас учил отец?

— Нет.

(«Он в детстве особенно шаманизмом не интересовался, — говорит «переводчик» про сына, — не обращал внимания.»)

— Школу кончили?

— Четыре класса, лень было...

— Говорят, ты когда учился, — пытается разговорить шамана «переводчик», — между партами поросенка пускал, гипнотизировал...

— Не помню. Я мало учился, ягодыцы не измозолил за партой... — Шаман смеется.

— А когда у вас возник интерес к этому? — спрашиваю шамана я.

— Где-то десять с лишним лет назад.

— Что вы почувствовали?

— Я вылечил родственницу жены, она сильно просила... из-за отца. А люди услышали, что она излечилась. Так и пошло.

— А как вы это сделали?

— Просто как будто что-то сверху пришло. У женщины был туберкулез кости.

Она сама рассказала симптомы болезни. Я ни о чем не думал, не размышлял. Просто начал как бы в шутку... И получилось.

— А что именно вы сделали?

— Траву дал, веронику серую. Берестяные идолы не давал, стал давать позже.

(Замечу для непосвященного в шаманские дела читателя, что берестяной идол — традиционный элемент шаманских мистерий. Обычно в него запечатывают изгоняемых из больного злых духов, поэтому трогать, тем более распечатывать найденного в лесу идола не рекомендуется. Иногда шаманскую фигурку дают больному вместе с травами — когда болезнь уходит, берестяной идол сморщивается и высыхает.)

— В основном, с помощью слова лечу, — сообщает Чашкин. — Словами благословляю, заклиная травы, чтобы хорошо лечили.

— С любой болезнью можете справиться?

— По-разному бывает. Иногда не получается, — признается шаман. — Если язва желудочная далеко зашла или туберкулез — новые же легкие не посажу. Но продлить жизнь могу... Если бы, узнав диагноз, сразу ко мне пришел, — недовольно говорит шаман, как врач, к которому обратились с опозданием, — можно было бы помочь. А они сначала объезжают все больницы, — говорит он и зевает.

— Когда ставите диагноз, осматриваете?

Зевает.

— Могу послушать... Иногда, когда человек начинает рассказывать историю своей болезни, могу сразу остановить — понятно.

— Насколько важна связь с духами? — задаю я не слишком умный вопрос (нашел, у кого спрашивать).

Ответ более умный:

— Точно сказать не могу. Но, конечно, — уточняет шаман не то для меня, не то для себя, — они есть, должны быть...

— А само представление о духах у него есть? — обращаюсь к «переводчику».

Тот переводит.

— Конечно, есть.

— Откуда?

Шаман удивлен:

— Сверху, откуда я знаю? Просто знаю, и все.

— Болезнь посвящения была?

Чашкин-Хуан смеется.

— Была маленько. Тогда я пьяный был, поэтому легко прошло. Эхе-хе...

«Переводчик» спрашивает от себя:

— А может быть, ты эту «болезнь» как опьянение воспринял?

— Нет.

— А кем вы раньше работали?

— Трактористом, — говорит Чашкин, вытирая мокрую шею — жаркие деньки стоят. — Днем работаешь, вечером пьянеешь.

— Есть ли у вас ученики? — спрашиваю вразнобой.

— Нет. Иногда приходят, что-то спрашивают и уходят. Невозможно повторить. Внутри должно быть, а если просто повторять, как я действую, это манипуляция.

Чешет задницу. Зевает.

Садимся за стол, жена накрыла.

— Много народу приезжает?

— Как в советское время за хлебом очередь. Некоторые от этого дела печатся... — Чашкин делает характерный жест. — Поэтому я еще живой. Это не настоящая болезнь, ее убрать просто.

— Отец тоже лечил?

— Он еще кровь пускал. Если бы я даже захотел, сейчас таких людей нет. Сейчас в основном сужение сосудов. И раньше к отцу приходили психические больные. А ко мне алкоголики.

— За то время, что вы этим занимаетесь, произошло какое-то развитие? В чем?

— Конечно, я развился, но как я могу рассказать, — удивляется он, — в чем развился? — Подумал. — Ну, могу, не пуская в дом, диагноз поставить.

— Проверить можно?

— Почему нет?

— А сами лучше стали чувствовать себя от целительства или появились проблемы?

— Конечно, проблемы. Уставать стал гораздо больше. Трактористом был — пришел после работы, поспал, больше ничего. Сейчас некогда. А здоровье такое же, как может улучшиться? Устаю по мере возраста.

Зачем я его обо всем этом расспрашиваю? Зачем приехал? Из любопытства? Не только. Хочу понять, что такое шаманская школа, не только из теоретических схем, а из опыта четырехклассного образования шамана Чашкина, народного целителя.

Меня уверяют, что двенадцатилетка лучше, чем одиннадцатилетка. Для кого? Сделает ли она человека здоровее? Счастливее? Откроет ли ему какие-то тайны? Даст ли возможность путешествовать? Изменит ли массовое сознание? Включите громкоговоритель, там сплошные объявления целителей и экстрасенсов, которые давно открыли свои школы. Похоже, что в этом государство заинтересовано: чем бы дитя ни тешилось...

— Заговорами, наговорами не занимаетесь?

— Нет. Это как только приедут из России, сразу про сглаз, порчу... — Шаман оживляется.

— У нас это национальная черта, — объясняю я, — многие испорчены.

— Да, — говорит он, — еще есть такие, что ауру расширяют пассами, а потом меряют линейкой — на сколько увеличилась.

Смеется.

За столом жена рассказывает: детей четверо, три сына. Все — студенты, один учится на стоматолога, другой будет учителем информатики, дочка — биологом. Спрашиваю, нужно ли шаману образование или трав достаточно. Хуан-Чашкин удивляется: конечно, если бы образование прибавить, была бы польза. Почему нет?

— Отец тоже не занимался пророчеством?

— Пророчество не любил. Конечно, можно, если бы было время. Для этого надо уединиться. Он тоже, — говорит «переводчик» про сына, — немного пророчествовал, но интереса к этому не почувствовал.

— Когда человек едет ко мне с тяжелой болезнью, я это чувствую. А этих пьяниц — нет, — говорит шаман.

— Ясновидением занимаетесь?

— Э, зачем мне это... Если все чувствовать, ум за разум зайдет. Себе дороже. Я ограничиваю поток информации. Только то, что мне самому нужно.

— Энергию откуда берет?

— Точно не скажу. Скорее всего, из жизни. Выходит на природу, откуда еще можно брать?

Чашкин слушает перевод и вносит коррективы.

— Я когда излечу, обычно выхожу покурить. Что вы мне хотите сказать, что из дыма беру?

— Говорят, что твой отец, когда лечил, немного подремывал, — напоминает «переводчик».

— Он не только это делал, он иногда и выпивал. На самом деле это самообман. Вы думаете, что я курю, чтобы набрать энергию? По идее, если по-нормальному, мне бы надо побольше по лесу гулять, по полю, но когда гулять, если в сени ломаться? Сейчас еще хорошо, тепло, на улице курю, все ближе к природе.

— Зима, лето для работы имеет значение?

— Зимой, конечно, хуже. Самое подходящее время — июнь. Когда начинается активное пробуждение природы, цветов. Ряд болезней можно вылечивать весной. Но в основном — в июне.

Времена года в России и Якутии не совпадают. Интересно, учитывает ли это

модернизация? В Интернете нет времени. Что это, бегущая река или стоячее болото?

— А по фотокарточке лечить получается? — спрашиваю шамана.

— Да, и, по-моему, неплохо. Но должно быть качество фотографии, чтобы глаза видно было. А если через одежду — нужно исподнее.

— Зачем?

— А, — зевает Чашкин. — Болячка-то к исподнему пристаёт.

Все время зевает.

Его отец, памятник которому установлен рядом с больницей, сказал перед смертью односельчанам — можете ко мне на могилу приходить, будете излечиваться. Как на повторный сеанс лечения.

— И, наверное, ходят, — говорит жена, — видны следы костров.

— А себя сами лечите?

— Нет, нет.

Боль души его: ни своим кровным родственникам, ни себе пользы не может принести. Заболеет — идет в больницу. Только других лечит.

— Почему так?

— Не знает. У его отца так же было: девушку вылечил, взял в жены, а после лечить не смог. И тоже в больницу ходил.

Так что формула «шаман, излечи себя сам» — не верна. А мне говорили, что три уровня шаманства доступны каждому. Может, имеется в виду духовное самоизлечение?

Прошу шамана поставить мне диагноз.

Мы удалились в другую комнату, шаман принес табуретку, велел сесть к нему спиной. Постучал по спине слева, справа. Послушал. Сказал переводчику: легкие отличные, сердце хорошее, печень нормальная. Человек твой вполне здоров. Чего ему еще надо?

— Как что? — взметнулся я. — А депрессия, а в глазах темно, а голова болит, только когда уеду путешествовать, проходит. Отчего болит?

— А, — сказал шаман за спиной и зевнул. — Это у всех, как грипп, остеохондроз...

Перед последним ночлегом за нами приехал на «уазике» Руслан Терентьев, директор гуманитарной школы из Майи. Проскочил через огонь — горит тайга. Якутск в дыму и отчасти — менгино-кангаласский улус, куда мы направляемся. «Менге» — вечность... Дорога, ночь, ни огонька. Завтра лекция, что я расскажу учителям? В середине ночи останавливаемся, шоферу надо вздремнуть. Тайга, какая-то избушка. Заходим — лавки, стол, горячий ужин, место для машины, как раньше для коня, — постоянный двор. Хозяйка, родственница бывшего ученика Терентьева, удивляется: «Профессора никогда не видела. Можно, потрогаю?»

Утром — гостиница, чистое белье, мобильник работает. Районный центр, село Майя, по-эвенкийски — «большое дерево». Что видел и слышал? Водку «Слезы русского». В десяти кёсах отсюда по Лене — самую древнюю в мире стоянку первобытного человека. Следы Витуса Беринга, отправившего экспедицию в здешние края — для ремонта после кораблекрушения.

Вообще-то мне повезло с Бугаевым и К°. У якутов не принято столько говорить, а тут вон сколько наговорили.

Вернусь домой, сяду писать, и это будет моя якутская ходьба. Я напишу книгу, и мне будут сниться обнаженный берег реки, вечная мерзлота и слой почвы — глубиной в рост ребенка.

И сухое причудливое дерево, на которое шаман прикрепил стрелу, указывая направление, а она упала.

И неизвестно, куда идти.

На севере — бедность.

На западе — чудовищные наводнения.

На Ближнем Востоке — терроризм.

А в себе самом такая каша...

Разброд, шатания, глухая стена...

И слабое утешение, что существуют, может быть, как у Лобачевского, параллельные миры, которые пересекаются. Обыкновенно мы этого не замечаем, но некоторые из нас чувствуют, а есть такие, кто видит.

Но когда человек умирает, он переходит в мир иной в зависимости от того, как жил в этом. Если, говорят, чересчур грешил, душа не находит покоя и, пытаясь вернуться туда, где уже живут другие, стучит, скрипит, требует, чтобы освободили ей место. А если человек был в этом мире не ангелом, а просто человеком, оставившим о себе добрую память, его тело уходит в землю, а душа — в верхние миры, где нет памяти о прошлой жизни, но есть слияние с высшим духом, из которого мы выходим и в который возвращаемся. Только сгусток энергии, данный нам от рождения, отделяется от нас, чтобы когда-нибудь воплотиться во что-нибудь другое — может быть, в цветущее дерево или в подснежник.

А пока этот сгусток в тебе, он должен реализоваться.

Превратиться в энергию. Осуществить то, ради чего ты появился на свет, — не для жизни же в потемках, искривления природы и собственного позвоночника.

Надо научиться, говорил учитель физкультуры, держать равновесие, когда стоишь и когда ходишь. Научиться падать по-человечески и вставать.

Кукушка кукует, ах, лето какое, погляди. Земля по утрам так быстро крутится: только край солнца показался — и уже вот оно, высоко в небе. Идут куда-то люди племени солнца с поводьями за спиной. И мне бы с ними.

В меру своего понимания и своих возможностей. Пружинистой якутской походкой, рассчитанной на длительные напряжения и большие расстояния. Преодолевая боль, вялость, безверие, крест, поставленный на себе. Открывшись ветрам странствий. Кочуя. Чтобы от туманов и костров в глазах появилась сумасшедшинка, которую так любят женщины и дети.

Еще не вечер. Ну, давай, мой друг, поднимайся. Ноги на ширину плеч. Вот так, держи равновесие. Вытянись, как на перекладине. Подними голову, не горбись. Вдох — глубже. Палку в сторону.

Пошли.

Владимир Лакшин

Последний акт

Пока мы говорили — Миша позвонил и сказал, с чьих-то слов, что в «Социалистической/ индустрии» готовится едва ли не полоса откликов рабочих на письмо Захарова. Выдумка, наверное. Это старается некто Высоцкий — автор повести, обруганной Дементьевым¹, теперь редактор отдела в этой газете. Но я смотрел за лицом Трифоновича, пока он говорил по телефону: тысяча глаз в одну минуту; внимание, растерянность, гнев, угроза, презрение, смех — все это мгновенно сменялось в его глазах — голубых, могущественных и беспомощно-детских.

То, что Трифонович узнает в Кунцеве от добродушных собеседников, мало его веселит. 500 инструкторов не имеют права заказать пропуск, его подписывает заведующий/ или заместитель/. И в случае нужды — выбегают на свидание/ к памятнику героям Плевны. Титов — бывший/ секретарь/ — кто его помнит? — дома в Москве и Казахстане/, «юрта с паровым отоплением». Но все это частности, «искажение», а как понять в целом? Сац, не задумываясь, отвечает: «Пролетарская/ революция/ без пролетария/та/». Но как же быть с теорией — там есть пролетариат, но нет революции/, у нас есть революция/, но нет пролетария/та/? Такие ответы/ никого не удовлетворяют.

Рассказывают: срезаны фонды продовольственные/ по областям. Местные/ руководители/ недовольны — и сильный нажим с их стороны может дать большие перемены.

21.VIII. Годовщина¹. На совещании/ редакторов две недели/ назад дано указание/ — стараться не писать об акции 5-и стран. Это проверка — ведь прошел год. Год! В речи Гусака сказано: «Как в культурном/ государственном/ мы не будем убивать несогласных с нами».

Райкомы дали распоряжения — в учреждениях/, на предприятиях круглосуточные дежурства 20 и 21. На улице/ Горького — много дружинников, милиции. Боятся, а чего боятся?

Заходил Мустай². Просил говорить/ с Трифоновичем/ о встрече народных/ поэтов 15 сентября/, где ему предложат выступить. Не надо отказываться от такой возможности появиться на людях и сказать свои слова.

Философия времени: что мне, больше всех нужно? «Рабочему человеку одна радость — поесть повкуснее», — говорит/ Валя. Боюсь, что и эта радость под сомнением. Год — неурожайный. Мяса нет, холодильники пусты, колбасные/ фабрики закрывают, из-за отсутствия мяса закрыли некоторые/ столовые и т.п. Вот единственное, что может заставить одуматься.

25.VIII. Понедельник/. Приехал из деревни вечером — встретиться с Пилар¹. Собралась 4-я французская/ группа, спустя 14 лет.

26.VIII. Вторник/. Эмилия/ приехала в редакцию/ сама. «Не обошайтесь, Михаил/ Андреевич/ (Суслов. — С.Л.) все читал и на все дал санкцию. По его инициативе запрашивали — отпечатаны ли листы. И указание такое: если не отпеча-

таны — снять, отпечатаны — бог с ними». Ставка в этой компании — расколоть ред/акцию/, раз уж не удалось заставить Тв/ардовского/ самого уйти или как-то поступиться. Психологическая атака. Ненависть ко мне — и желание снять меня и Алешу.

«Лит/ературная/ газ/ета/» будто бы приготовила статью, аморфную и бездарную. Писал Чапчатов, а Чак/овский/ правил собственноручно, но правки своему наемнику даже не показал. Статья будто бы такова: сильный удар по «Мол/одой/ гвардии», слабее — по «Огоньку» и резко против Дем/ентьева/ и «Н/ового/ м/ира/». Впрочем, статья будто бы увяла и, м/ожет/ б/ыть/, печатать не будут — все недовольны ею, и с разных сторон.

Приходил некто Лещинский, журналист — то ли сумасшедший, то ли провокатор, а вернее — то и другое вместе. Во всяком случае — вестовщик, переносчик, бывающий в ред/акциях/ «Октября», «Соц/иалистической/ индустрии» и проч. Гов/орил/, как ненавидят Тв/ардовского/ «октябристы», а с ними Сычев и еще кто-то. В № 10 «Окт/ября/» будет будто бы пасквильная пьеса, где Тв/ардовский/ узнает себя. И вообще пусть осторожно переходит ул/ищу/ Горького, возможны наезды машин. Мне показалось, что цель его — запугать, внести панику.

К вечеру — звонок. «Л/итературная/ г/азета/» все же выходит со статьей, притом по «Мол/одой/ гв/ардии/» удар ослаблен, а по «Н/овому/ м/иру/» — усилен. Это чья-то оргработа.

Литфонд отказал мне в путевках в Ялту — все одно к одному.

27.VIII. Среда. «Л/итературная/ г/азета/» вышла. Самое смешное, что наш № лежит в листах уже неделю, но до сих пор не сброшюрован, и ни один читатель, ни один подписчик его не имеет. Тираж будет завтра. Мы посудили-порядили и составили протестующий запрос Чак/овско/му. Но я позвонил на дачу Трифоны/чу, и он отсоветовал посылать. Видно, история с «Соц/иалистической/ индустрией» научила его осмотрительности в общении с гангстерами. Кроме того, статью «Л/итературной/ г/азеты/» он воспринял как-то благодушно. Видно, силенок нет, если «Мол/одую/ гв/ардию/» — тоже не одобряют, а упрек в высокомерии «Н/ового/ м/ира/» — трогателен. Гов/орил/, что чувствует себя неплохо — «косил, пахал», — но беспокоится за здоровье Мар/ии/ Ил/ларионовны/, да и Оля на носях.

Советовал позвонить Мел/ентьеву/, Алеша, собравшись с духом, набрал № — и вот что из этого вышло. Алеша начал вежливо, робко, что-де беспрецедентный случай, газета опережает с критикой выход журнала. Тот свое: «Вы бы задумались лучше, как вы работаете. Зачем печатали «От редакции»? Ведь были на совещании, слышали Яковлева?» Ал/еша/ гов/орит/, что когда выступал Яковлев — тираж в листах был уже готов. Что же, надо было его уничтожить? Мел/ентьев/ гов/орит/, что вроде бы можно и на это пойти. «Тогда дайте указание, еще и сейчас не поздно». Чтобы свернуть с этого разговора, Мел/ентьев/ набрасывается на 8-й № — так составлен, что такого он, Мел/ентьев/, еще не читал. А что? Во-первых, статья о Платонове — а ведь за Плат/онова/ из партии исключали. Белов, словно специально, издевается над колхозн/ой/ демократией перед съездом колхозн/иков/. Потом — письма в бутылках... Какие бутылки? (Выяснилось потом, что речь о стих/отворении/ Антокольского.) Тон все повышался, но и Алеша донимал его своими грозными: «Ну, ну...»

«Куда вы прете? На все махнули рукой». Дальше уж ругань: не угрожайте мне — и вы не угрожайте и т.п.

«Давно пора от вас потребовать как следует».

«Так и требуйте, требуйте, но не кричите». — «Зачем вы мне позвонили?» — «Чтобы сказать о беспрецедентном в нашей печати случае, когда...» — «Я не желаю с вами разговаривать», — и бросил трубку.

Ал/еша/ был на этот раз в форме и провел весь этот трудный разговор отлично. Но настроение похабное. Очевидно, что на нас будут жать теперь еще втрое.

Распили с тоски бутылку коньяку, что привезла мне вчера читательница из Баку, — и разошлись по домам.

ПОПУТНОЕ

В № 8 «Нового мира» (1969) были напечатаны «Бухтины вологодские (Завиральные, в шести томах)» Василия Белова, статья И.Крамова «В поисках сущности» о творчестве Андрея Платонова. В своей статье Крамов привел следующую цитату из

Андрея Платонова: «Для отдельного человека и для целого народа нет стыда или ущерба в том или другом веке — сто или две тысячи лет назад. Но есть преимущество и абсолютная ценность в том, куда человек или решающая часть народа обратит фронт своих сил: если в правильно понятое будущее, то такой народ (и даже отдельный человек) останется современником, товарищем и собеседником всего человечества на все время существования последнего на земле. Забудутся лишь те, кто пытался прервать или бросить во тьму лабиринта «нить Ариадны», кто хотел оставить нас амебой».

Может быть, и эта цитата вывела из себя Мелентьева?

В своей беседе с критиком Владимиром Бондаренко Валерий Ганичев говорит о существовании «Русского ордена в ЦК партии: мифы и реальность» (газета «Завтра», № 23, 2002): «Русский дух уже засел в головах некоторых наших лидеров. Первый, кто меня поддержал, это главный редактор журнала «Молодая гвардия» Анатолий Васильевич Никонов. Его я считаю предтечей всего русского движения... Я перешел к нему заместителем главного из ЦК ВЛКСМ в конце 1963 года... В этот период, 1962—64 гг., фактически начинало утверждаться русское национальное мировоззрение... Журнал «Молодая гвардия» в тот период был главным очагом русского духа... Дальше умелый селекционер Анатолий Васильевич Никонов двинул меня обратно в ЦК ВЛКСМ заведующим отделом пропаганды... Был там у нас и Хасбулатов, занимался экономикой, был и Альберт Лиханов, возглавляющий сейчас Детский фонд. Как-то сам собой возник центр людей, занимающих определенные должности и владеющих русским национальным самосознанием».

То есть: Хасбулатов владел «русским национальным самосознанием», а поэт Твардовский — нет, не владел, не сумел.

Бондаренко спрашивает Ганичева: «Были ли мифический «русский орден в ЦК» на самом деле, о котором пишет Александр Проханов в своем последнем романе «Господин Гексоген»? Все знают о пятой колонне ЦК, работавшей на ЦРУ: Шеварнадзе, Яковлев, Горбачев. Но была ли в противовес им русская колонна меченосцев?»

Ганичев в ответ рассказывает, как они писали «знаменитое «Письмо одиннадцати»... Начинать его писать у меня в кабинете, потом перешли в кабинет к Софронову. Мне сказали: ты не подписывай, ты занимаешь важное место. Его нужно сохранить».

Вот после этого письма одиннадцати Яковлев повел ответное наступление... Это русское патриотическое направление проявлялось на самом высшем уровне в Политбюро ЦК и было связано с такими громкими фамилиями, как Шелепин, Мазуров, Машеров, Полянский. Поговаривают, что был близок к «русскому ордену» Кириленко. Ну и Романов, ленинградский, тоже. Они противостояли космополитическому крылу в Политбюро и одновременно закоренелым догматикам марксизма, отрицающим любое национальное начало в жизни общества. Для меня не ясна роль Сулова во всем этом движении. Или он был чистый аппаратчик, и не более. Человек буквы. Иные считают его масоном. Не знаю... Вот Пономарев и все советники генсека были наши явные враги».

Любопытно, что имя «Нового мира» вообще не упоминается, а ведь письмо называлось «Против чего выступает «Новый мир»?» («Огонек», 26 июля, 1969, № 30).

С. Л.

29.VIII. Тр/ифоныч/ был, но вертелся все время хмельной Ухсай¹ и не давал поговорить. Все же Тр/ифоныч/ настроен неплохо. Гов/орит/, что Мел/ентьев/ мог подумать по неуступчивому тону Кондрат/овича/, что у того в кармане ханский ярлык.

Нат/алья/ Павл/овна/ (Бианки. — С.Л.) разузнала о том, какое предательство совершили вчера типографшики. Все листы лежали не сшитые, когда им позвонил зам/еститель/ Степакова из Агитпропа. Через час было готово 3 тыс./ячи/ экз/емпляров/, и их немедленно вывезли в киоски. Так что когда Медведев из «Л/итературной/ г/азеты/» позвонил, где можно достать № 7 «Н/ового/ м/ира/», ему сказали — пожалуйста, в киосках. Хороши бы мы были с нашим письмом.

Щербина², обругавший меня недавно в «Коммунисте», так говорит в дружеском кругу: «Н/овый/ м/ир/» — еврейск/ий/ журнал, единств/енная/ их цель, чтобы евреям в паспортах не ставили нац/иональнос/ть. Да и понятно, там все — жиды, Лакш/ин/ — еврей, Кондр/атович/ — еврей, а Тв/ардовский/ тоже наполовину польский еврей».

«Вообще у нас не КГБ, а богадельня. Приходят в ИМЛИ и говорят, съездил бы ваш представитель к Син/явско/му, узнал бы, что он делает, чем собирается заняться после освобождения. Это вместо того, чтобы прибавить ему срока».

«Говорят — разболтанность, шатания — расстрелять какой-нибудь миллион человек, все будет тихо, никакого беспорядка не будет».

Ко мне он кипит ненавистью: «Л/акшин/ свои статьи из американских журналов списывает. Читал о Щеглове — ну что ж — видны два обывателя — один Л/акшин/, др/угой/ — Ш/еглов/».

Откровенность этого фашистского ненавистничества меня изумила, но я не имею основ/аний/ не верить З., передавшей мне это на др/угой/ день после обеда у Щ/ербины/ и его любовницы.

Важны люди, а не идеи. Чалмаев, Палиевский, что бы они ни думали про себя, — «соц/иально/ близкие», а я — «соц/иально/ далекий». Ведь главное покорство. В разного рода идеол/огических/ статьях давно уже лишь одна идея — дисциплина и порядок. Все сводится к этой добродетели, а самое большое зло — непокорство. Думать можешь все, что хочешь, но на словах покорись — и ты наш.

Приехал к вечеру Хитров из цензуры. 8 № — в развалинах. Он разговаривал с новым замом Романова — Фомичевым. Это мужчина тертый, когда-то референт Козлова. Говорит уверенно, не глуп, не чета Назарову, за полной безнадежностью отправленному в общ/ест/во «Знание». Разносчики просвещения и его гасители — одна номенклатура. Видимо, Ф/омиче/в имеет указ/ание/ Мел/ентьева/, говорил безапелляционно: Шарова — снять, стих/отворение/ Антокольск/ого/ «Художник» и «Письма в бутылках» — снять, письма читат/елей/ о Драбкиной — снять. Белова и статью Крамова тоже не подписывают: замечаний множество и неясно, сможем ли мы даже после изрядной правки удовлетворить их аппетиты. Переформировали с М/ишей/ № — и решили, что к пон/едельнику/ он посмотрит еще раз Белова, я — статью о Платонове.

Если так пойдет дальше — жизнь журнала невозможна.

31.VIII. Перебрались в Москву из Витенева.

1.IX. Похороны Волынского¹ на Введенских горах. Я сказал неск/олько/ слов от «Н/ового/ м/ира/». Потом, когда стали все расходиться, заглянул к деду² на могилу. Статью Крамова я перепыхал, но не уверен, что и на этот раз цензура будет сыта.

Обманывают или обманываются — вот вечная проблема.

«Слоганы» на городск/их/ улицах — характерный знак. «Здравствуй, родная школа» — висит над ул/ицей/ Горького (к 1-му сентября). Что это значит? Кто здоровается со школой? Кто называет ее «родной»? Все мы, все без исключения. А вдруг я не люблю свою школу? Но такие реакции не берутся в расчет.

Все кричат хором, все принуждены к единому мнению, не согласный с ним чувствует себя отщепенцем или он тоже должен приспособиться. Вот что такое «слоганы»!

«Гос/ударственный/ эмоционализм», — откликнулся Тр/ифоныч/.

Мел/ентьев/ гов/орил/ Эм/илии/: «А чего вы так торопитесь их подписывать?»

Говорят, у Некрича³ вознамерились отнять ученую степень. Инициатор этой акции — человек, избалованный Некричем же в плагиате. Теперь он, как водится, в ВАКе. Некрич решил возбудить встречные дела против авторов, восславлявших Берую и проч. Кажется, отстали.

2.IX. С А/лександром/ Т/рифоновичем/ гов/орили/ о прошлой войне, о союзниках и их тушенке.

«У журн/ала/ — летальное состояние, а все же потянем». 8-й № подписывают — с исправл/ениями/ у Белова и Крамова.

Сим/онов/ рассказ/ал/ об обеде в Абхазии в честь отдохнувшего там Шелепина. Он провозгласил тост за писателя Шинкубу, не зная будто бы, что он и предс/едатель/ Верх/овного/ Совета, сидевший за столом, — одно лицо. Когда это разъяснилось, Ш/елепин/ спросил: «А зачем вы печатали свою пов/есть/ в «Н/овом/ м/ире/»?» — «Да если бы я напечатал ее в др/угом/ месте, вы бы ее и не прочли», — ответил Шинкуба. Шел/епин/ согласился и вдруг стал хвалить журнал: «Не понимаю, что они нашли в

ст/атье/ Дементьева. Правильн/ая/ статья». Он, конечно, хотел понравиться и даже предлагал обсудить вопрос о бóльшей независимости Абхазии.

Ис/аич/ был. Со статьей Дем/ентьева/ он не согласен, хотя и поддерживает общую нашу позицию и наш ответ: «Вехи» — это великая книга, всех людей делю на читавших и не читавших ее». И принялся срамить меня и требовать, чтобы я достал эту книгу для А/лександра/ Т/рифоновича/. Все это было как-то высокомерно и неприятно. Через месяц обещает роман о 14-м годе. Впервые говорит, что не уверен в нем, потому что приходилось не с натуры писать, а выдумывать.

Под вечер пришел Расул (Гамзатов. — С.Л.), и Тр/ифоныч/ сгоряча выругал его — почему-де он еще подписывает как член редколлегии «Лит/ературную/ Россию». Р/асул/ обиделся и пришлось его утешать. Утешали мы втроем с Мишей и Сацем в «Урале».

Он рассказ/ал/, что Мел/ентьев/ звонит Патимат (жена Гамзатова. — С.Л.) и пугает ее тем, что Р/асул/ совершает оскорбит/ельный/ для России поступок, выходя из редакции газетенки Поздняева.

Читали стихи, по-русски, по-аварски, возвращаясь ночной Дмитровкой.

Р/асул/ припомнил, как на Лен/инском/ комитете, когда обсуждали Солж/еницына/, Харламов взывал ко всем: почему все так боятся Твард/овского/, что у нас, культ личн/ости/ Тв/ардовского/? — если он приходит — все боятся слово сказать против Солж/еницына/.

Солж/еницын/ хвалил стихи Возн/есенского¹, поздравлял с этим Тр/ифоныча/, а тот сказал: «Что вы, мы его Христа ради напечатали».

4.IX. Тр/ифоныч/ перечитал Драбкину и под большим впечатлением. Почему 2-ю часть не пускают? «Я думал, неточности. Но это как раз «точности». Ленин — широкий, гуманист, задумывающийся, примеряющий 7 раз, прежде чем отрезать. Но такой он нам не нужен». Я напомнил ему о словах вел/икого/ инквизитора Христу: «Зачем ты пришел к нам? Уходи», — и это запало, видно, ему.

Гов/орили/ и о нов/ой/ рукописи Бека¹. Главное там — молодой Ст/алин/, написанный оч/ень/ достоверно. Ленин — скучнее, традиционнее, с плохим журнализмом. Хитрец Бек — главы для «Н/ового/ м/ира/» переложил главами для «Окт/ября/». И бьет то холодная, то горячая вода — без смесителя.

«Тайна — это то, что знаешь ты один. Когда знают двое — это уже не совсем тайна», — удивит/ельная/ психологическая черта у Сталина.

Тр/ифоныч/ неожиданно стал накаляться и взрываться яростью. Видно, нервы все же никуда.

Травля дает свой результат.

Говорят, в декабре будет отмечено 90 лет Сталину. Предполагают издать 4-х томник, в «Правде» — дать портрет и отдельно для продажи изготовить цветной портрет и бюст.

Так все сначала?

С утра я был на похоронах Салахяна² — отвезли с Мишей венок.

Потом приходил Шатров³, я познакомил его с А/лександром/ Т/рифоновичем/, и мы говорили о его пьесе «Брестский мир». Шансы ее невелики. Недавно он был у Шел/епина/ и услышал разочаровывающий ответ: «Это не моя епархия. Не знаю, как вам помочь».

Вечером — партсобрание с инструктором из райкома, глупой и самоуверенной особой. Все мы выступили, Тр/ифоныч/ председательствовал.

«Нужно больше про/оизведен/ий в связи с юбилеем». Тр/ифоныч/ отвечал, что лучше брать качеством, чем количеством, а наша наставница: нет, и качеством, и количеством. Но зачем же количество, будто это чулки или масло?

Дорош сказал, когда домой шли: обычно поп для мирян старается, а тут миряне для попа.

«Самое смешное», что в конце концов у инструкторши пропала сумка с рыбой. Надо же — журнал с такими идейными промахами, а здесь еще и рыбу смыли. Рыба, верно, хорошая, не «городская». (Так называют продукты, кот/орые/ едим мы все, те,

кто пользуются пайками и распределителями. «Не городской ли колбасой ты отравился?» — гов/орит/ дамочка своему мужу.)

Л.Карпинский⁴ заходил к Тв/ардовскому/ знакомиться и с предложением по-мочь, чем может.

С нами поступили, как комендантша в «Кап/итанской/ дочке», кот/орая/ посылала поручика рассудить солдата с бабой, подравшихся из-за шайки в бане: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

10.9. Тр/ифоныч/ прочитал прозу Евт/ушенко/¹ и хотел учинить ему гражд/анскую/ казнь. Но я не пошел, чтобы облегчить это объяснение. Тр/ифоныч/ высказал ему все резко: «Прожекторный луч убегает от Вас, а Вы опять гонитесь за ним, чтобы под него попасть». «Если сразу сказал, что думаешь, — дальше разговаривать легче».

8 № — печатают.

Евт/ушенко/ — А/лександру/ Т/рифоновичу/: «В прошлый раз Вы довели меня до слез, сейчас я едва сдержался, но следующую вещь опять принесу Вам».

11.9. Слухи о том, что у Демич/ева/ на столе лежат три годовых комплекта «Н/ового/ м/ира/» с подчеркиваниями и закладками. Сообщившие об этом тревожатся — не ждут ли журнал нов/ые/ неприятности. Может быть. Но пока тихо. Критика словно устала и отхлынула.

В «Правде» — вялая статья, отдаленно намекающая на посл/еднюю/ дискуссию. Ни нашим, ни вашим.

Записываю мало, занят статьей о «мудрецах».

14.9. Передают, что Машеров¹ заявил на одном из последн/их/ совещаний: «Н/овый/ м/ир/» выпустил 7-й № — и все, больше он под этой редакцией выходить не будет. На работу мы их устроим, но вместе работать они уже больше никогда не будут».

Завтра, однако, ожидается сигнал № 8.

Историю человечества следовало бы делить на три великие эпохи: палеолита, неолита и Главлита.

15.9. Сигнал № 8. Были с Тр/ифонычем/ и М/ихаилом/ Ф/едоровичем/¹ в Сандунах. Тр/ифоныч/ очень огорчен разговором с Козловским² о своем одностомнике в сер/ии/ «Всем/ирной/ лит/ературы/». Этот одностомник дорог ему — он единств/енный/ из живущих ныне поэтов, кот/орый/ вошел в это изд/ание/. Но из книги хотят выбросить «Геркина на том свете». А «чтобы не было заметно» — заодно и «Дом у дороги». Тр/ифоныч/ спросил у Козл/овского/ его собственное мнение. «Лично я не в восторге», — сказал этот пошляк.

Гов/орили/ о Пушкине, о кот/ором/ Тр/ифоныч/ хочет писать для двухтомника, о Розанове³, кот/орого/ он впервые прочел.

Коль собрался ты в шалман,
Загляни сперва в карман —

с этим двустистишем мы отправились в Столеш/ников/ и посидели немного там.

О Казакевиче⁴ вспоминал с нежностью, как о добром товарище.

17.9. Ездил на исполком, витийствовать за Буртина. Но все было предreshено заранее. Ему отказали в квартире — нагло и грубо. Было впечатление, что просьба Тв/ардовского/ вызвала обратный эффект.

18.9. Миша ездил к А/лександру/ Т/рифоновичу/, сказал ему о Бурт/ине/, и А/лександр/ Т/рифонович/ приехал специально говорить с Воронковым. Тот пообещал сделать, что возможно, а потом просил остаться Тр/ифоны/ча для разговора наедине.

Звонил пом/ошник/ Кириленко¹ и просил дать отчет о том, какие изменения проведены в редколлегиях журналов. Вор/онков/ трясется и прямо говорит, что боится лишиться места. Тр/ифоныч/ снова заявил ему, что делал свои предложения — «они отвергнуты»: «Тогда пусть делают выводы сами».

В воспитательных целях показал Трифонычу статью в «Экспрессо». А потом — письмо Фебина по поводу проекта статьи в «Литературной газете». Фебин, хотя и с ужимками, пишет, что не считает статью объективной, что нельзя столь явно брать сторону «Огонька» против «Нового мира». Но с этим письмом не посчитались — Мелентьев сам был занят этим и сделал по-своему.

Поехали с Мишей и Александром Трифоновичем к Сацу. Трифоныч, который редко дома пьет с тостами, — тут торжественно провозгласил: «За старую редакцию «Нового мира» — как за старую «Искру». И второй тост — «против новой редакции «Нового мира».

Говорил: «Теперь я никого не отдам, даже Марьямова, самого далекого от нас». Радовался, что если мы кончимся, то хоть с объяснением в 7 №, почетно, не молча.

Боюсь, он теперь задует, но да ведь не остановишь. Расцеловались на прощанье, я поехал домой, где несчастье у мамы. Завтра, наверное, кладут ее в больницу.

Трифоныч читает письма Цветаевой² к — чешке Тесковой и говорит: «Она пишет, что зачитывается Лесковым. Это для меня — улика. Любовь к внешности слова».

Маршак: «Это какое-то надувательство, голубчик. Мне уже 70. Я же на это не соглашался, ну, 30—35».

Корней лукав³. Сказал Трифонычу про книгу Вали: «Из нержавеющей стали». А Ильиной эту же книгу бранил. Тогда я понял, как двусмысленна его похвала. Наверное, он саркастически улыбнулся, когда придумал это: не из золота-серебра, а из нержавеющей стали, из какой делают вилки для столовых. И я подумал — не зря ли писал ему так торжественно и высокопарно. Ну, да ладно.

25.IX.69. Александр Трифонович одержим идеей библиографического указателя к «Новому миру». Об этом мы давно говорили, но ничего не сделали. А сейчас он вдруг очнулся: самое время делать указатель. Перебирает на даче старые журналы, хочет составить 2-й комплект. Вообще занят приведением в порядок того этапа жизни, кот/орый/ связан с журналом.

Собирается вернуться к поэме — что-то там еще сделать, подлатать. Дементьев тоже жужжит под ухом: я тебе покажу некот/орые/ строчки — подумай еще над ними, а потом можно заново подавать на Секретариат. В самом деле — ответ, в сущности, не получен, а поэма потоплена.

Трифоныч выглядит скверно, шеей едва вертит.

27.IX. Составил «проект» «Принципы указателя». Это, конечно, сложнее, чем казалось Александру Трифоновичу, и едва ли Грачев¹ согласится делать такую объемистую книгу.

Послезавтра я уезжаю в Ялту, и по этому поводу решили мы сойтись к вечеру у больного Саца.

Александр Трифонович посмеивался над Дементом, как он боится крамолы, в крови это у него, и только мычит. «М-да. Да?.. М-да!» А Трифоныч ему говорил, что есть ли другая такая идеология, кот/орая/ с таким презрением относится к своему содержанию. Говорил, что «мы не догматики», «хорошо, коли бы были догматики, тогда хоть можно крикнуть: у Лени/на так, и баста». Дементьев же: «М-да... Да? М-да...»

Столяр у Александра Трифоныча работал 3 дня, сыпал цитатами из Теркина, жулик, но мастер. «Да бросьте вы этот гвоздь — кривой, перекрученный», — говорит ему Трифоныч. «Нет, нет, а мы его заставим войти, добровольно войти заставим».

О голосовании. Дементьев боялся, что не взял открепитель. А слесаря всемером посылают в обед за водкой и дают сразу 7 паспортов — проголосуй там за нас, чтобы не взыались.

О белке рассказ/ал/, совсем по Паустовскому: жила во Внукове на сосне — и Оля подманивала ее орехами. Белка грызла орехи на шкафу в доме, там и припасы у нее были. Она бегала в лес, но всегда возвращалась. Однажды не вернулась. Прошло

время. И вот в сырую, холодную осеннюю ночь она постучала лапой в форточку. Трифонич/ ее увидел, но, чтобы открыть ей фортку, встал и зажег свет. Белка убежала — испугалась, видно, — и больше не возвращалась.

А/лександр/ Т/рифонович/ гов/орил/ с досадой о расск/азах/ Некрасова², о сочин/ениях/ Евтушенко. С/офья/ Григ/орьевна/ уговорила казнить его наедине, это уже вроде помилования. Но ведь «что он пишет, фанфарон!». «Я целое утро потратил, читая эту ерунду, а много ли у меня этих утр?»

Обнялись на прощание, расцеловались троекратно, он просил написать ему, коли скучно станет.

С 29.IX. по 25.X. — в Ялте.

Каверин и Т/амара/ В/ладимировна/ (Иванова, вдова Всеволода Иванова. — С.Л.) рассказ/ывали/ интересно о молодых своих годах, о Горьком, «Серапионах», Бабеле. В/ениамин/ А/лександрович/ — поверхностный, но милый, легкий, доброжелательный.

Н/адя/ (Надежда — Дина Филатова-Лиходеева работала в «Огоньке». — С.Л.) рассказала, какое волнение было в «Огоньке», когда на совещании в ЦК сказано было — прекратить полемику. Софр/онов/ приехал расстроенный, снял две статьи из №, а на др/угой/ день отправился к своему меценату Пол/янско/му¹. Вернулся успокоенный, статьи вернул на место и сказал: сейчас больше не будет спорить с «Н/овым/ м/иром/» о письме 11-ти, но мы найдем др/угой/ случай... Видимо, ради этого и поместил «Огонек» постыдные письма о Быкове. Говорят, Василию плохо, травят его энергично — я просил Кав/ерина/ написать ему дружеск/ое/ письмо.

Смысл этих писем «Огонька» — в величайшем презрении к народу: все было предусмотрено и организовано заранее, случайностей быть не могло — и это в партиз/анской/ войне!

С А/лександром/ Т/рифоновичем/ гов/орил/ по телефону. Он рад был моему письму: «Стоицизм оптимистич/еский/» нам годится». В посл/едний/ день получил от него короткий и печальный ответ.

Миша рассказ/ал/, что 9-й вышел. Там снимали ст/атью/ Лациса², на этот раз окончательно, и Лисичкина. Зато неожиданно прошел многострадательный очерк Можая³.

Некрасовск/ие/ записки поверхностны до безобразия, а прочитав «вводку», я за голову схватился — так пошло. Это они поправляли по замечаниям разгневанного Трифонича.

Море было холодное, ветры, шторм. Купался не больше 10 раз. Не повезло на этот год с отпуском.

На пляже в Ливадии, пузом вниз на лежаке, муж читал жене вслух Кочетова.

27.X. В ред/акции/ все по-старому, только утомление у всех еще больше.

Трифонич/ «заходил», но теперь опять в норме. Очень он переживал роды Ольги, даже привиделось ему, что она умерла, и он с криком пришел на дачу Верейских: «Умерла, все кончено, и я погиб, и журнал...»

Рассказ/ал/, что дня три назад было собрание в ЦДЛ. В докладе Васильев сказал: «Тов/арищи/ Лакшин, Виногр/адов/ и Рассадин! Задумайтесь, почему вас так хвалят на Западе?» Жаль не было меня, я бы ответил. А может, хорошо, что меня не было. Гов/орят/, честил еще Лид/ию/ Корн/еевну/ Чуковск/ую/ и угрожал исключением из Союза.

Трифонич/, однако, светил глазами в Президиуме. Шев/еле/ва¹ хотела выступить против Кочетова — не дали. Передают ее разговор с Дем/ичевым/ об этом. Он позвонил Поном/ареву/² и сказал: вот у меня писат/ельни/ца Ш/евелева/, оказ/ывается/, не только положит/ельные/ отзывы о романе Коч/етова/, с кот/орыми/ приходили Софр/онов/ и Грибачев; есть и др/угое/ мнение». Сказал, будто бы с удовольствием.

Я все больше думаю, не заняться ли мне этим «романом века».

Вечером у Н/еонилы/ Вас/ильевны/ (матери Марка Щеглова. — С.Л.). 44 года Марку (было бы).

28.Х. А/лександр/ Т/рифонович/ — скучный, хмурый, но мне обрадовался. Гов/орил/ часа два с Бурт/иным/ о его статье к трем поэмам. Потом пересказывал мне смысл этого разговора. Юра — радикал, но изрядный схематик и нехотя ранит А/лександра/ Т/рифоновича/.

Тут в мое отсутствие Б.Рассел¹ прислал А/лександру/ Т/рифоновичу/ письмо с выражением сочувствия «Н/овому/ м/иру/» и т.п. Тр/ифоныч/ отослал копию Демич/еву/, но без отзвукa.

Еще с первого дня приезда в Москву я знал, что плох Чук/овс/кий. Он стал жертвой своего желания лечиться. Совсем здоровым пошел в клинику Кассирского на проверку, там ему брали кровь из вены и занесли шприцем инфекц/ионную/ желтуху. Гов/орят/, он в полной памяти приводит в порядок все дела, дописывает что-то, отдает распоряжения, как печатать.

Попросил вдруг у Клары² почитать ему «Обломова». Послушал молча страниц 10 и сказал вдруг: «Хватит. Достаточно. Значит, я был прав, что никогда не мог его прочесть».

Вот так, хотел рассчитаться со всеми земными долгами, прежде чем уйти, — и вспомнил вдруг, что не удосужился прочесть «Обломова» и не смог уйти, не проведя для себя этой проверки.

Мы сидели у Тр/ифоныча/ с Мишей, когда вошла без стука Калерия и на пороге сказала: «Сейчас К/орней/ И/ванович/ скончался».

Мне остается только клясть себя за то, что не побывал у него, прособирался...

Тр/ифоныч/ о нем одно твердит: «знал что почем», и вспоминает снова историю с «Ив/аном/ Ден/исовичем/». Да и когда «Страна Муравия» вышла, Корней написал ему неожиданно письмо: если критики достойно не откликнутся на вашу поэму, то я сам тряну стариной. И последнее его письмо А/лександру/ Т/рифоновичу/ — о стихах («в предсмертной моей тоске» — стало быть, не слова). Впрочем, я-то знаю, что это инспирировано С/офьей/ Гр/игорьевной/ через Каверина, чтобы поднять Тр/ифонычу/ настроение тогда. Ну, да ладно. Я сам благодарен ему за необыкновенно доброе письмо и слова приветa, кот/орые/ разные люди то и дело этот последний год передавали мне.

Поколение людей, еще державших живую связь со старой культурой и традицией 19 века, уходит окончательно, и страшно подумать, что за паяцы остаются на сцене.

29.Х. Собрали редколл/егию/ с Гамз/атовым/ и Айтм/атовым/ для того, чтобы крепче привязать их к колеснице. Утром был Комитет по премиям. Абрамову¹ премии не дали, и, конечно, лишь потому, что печаталось у нас. Теперь такой порядок: даже до голосования тайного не допускают; снимают кандидатуры заранее, открытым голосованием. Так что баллотировался один Малышко², на кот/орого/ всем наплевать.

На редколлегии — «взгляд и нечто», итоги прошлого года и планы на 70-й. Тр/ифоныч/ говорил о пронесшемся над нами летом «цунами», о письмах читательских. «Мы не только не чувствуем себя обиженными, но как бы не впасть в гордыню». Сказал, что роман Кочет/ова/, о кот/ором/ кричит вся Европа, нам замечать не следует, ибо он вне искусства.

Я возразил ему, что вне искусства — это так, но как явление обществ/енное/ — это весьма заметная вещь и уклониться от ее обсуждения нам нельзя. Гов/орил/ и о том, что вся наша жизнь временная, но из временной жизни незаметно складывается «жизнь вечная». Так что, как бы трудно психологически ни было, надо держать журнал как можно дольше.

Айтм/атов/ нехорошо говорил — и сказал задевшие меня слова: если и писать о Кочет/ове/, то это не должен делать Л/акши/н, а какой-нибудь «свежий» автор. А я-то вчера шепнул уже Мише и Алеше о моем желании написать эту статейку. Вышло противно и конфузно, и никто не возразил Айтм/атову/ и даже как бы с ним согласились.

А я подумал: выходит, что и на друзей моих в «Н/овом/ м/ире/» подействовал этот вой. Если я не могу писать то, что хочу, в своем журнале, то не конец ли это для меня как для критика? А о чем я должен писать — и кто будет мне рекомендовать темы? Если

я считаюсь скомпрометир/ованным/ и журнал молча соглашается с этим, — пути мне нет.

Пошли с Расулом, Мишей и Сацем в Эрмитаж обедать, потом на выставку дагестанских промыслов, оттуда к Сацу — и все это время во мне тлела жестокая обида, и в какой-то миг у Саца я неожиданно для себя взорвался. Было это глупо и произвело, наверное, впечатление неприятное: самолюбие, видишь ли, взыграло. Но тут был с утра маленький толчок, подготовивший все это. В.Иванов³ в «Коммунисте» разнес мою невиннейшую академичнейшую статью о критике в «Лит/ературной/ энциклопедии». Теперь ругать меня — хороший тон, и бранят не за то, что написано, а за то, что моим именем подписано. Ну, да ладно. Ныть смешно, и я корю себя за дурацкую выходку у Саца. Все привыкли, что я никогда не говорю об этом, и теперь изумились.

Айтм/атов/ гов/орил/, что не получил верстки стихов А/лександра/ Т/рифоновича/, посланных ему заказным. Но Тр/ифоныч/ обиженно сказал мне: что бы ему тут сказать — «ну, дайте мне их почитать хотя бы сейчас». Нет, молчит.

31.X.69. Похороны Корнея Ив/ановича/. Поехали в ЦДЛ с Тр/ифонычем/ и Буртиним. Внесли венок, постояли в карауле и ушли. А/лександра/ Т/рифоновича/ семья просила выступить, но Ильин¹ подскочил, сказал: «8 человек записалось. Нужно ли вам, А/лександр/ Тр/ифонович/?» Тот ответил с облегчением: «Да нет, коли так». Но мне сказал потом: «Всюду хотят меня песочком посыпать».

В Переделкино мы не поехали.

Эм/илия/ звонила. Предупрежд/ает/, что все взволнованы в кабинетах тем, что по Москве ходит много списков поэмы Тв/ардовского/, а теперь она уже и напечатана на Западе. «Пытаются прекратить тираж» — что это значит? Где? Кому это может быть под силу? Всем темно и неясно, очевидно лишь, что паника. Звонил еще вчера Ф.Овчаренко, спрашивал Тв/ардовского/ по «интересующему и его и нас делу».

Не хотят спешить поэтому с подписанием № 10. А ну как редакция переменится?

Читал главы «Августа». Романист такой, что руками развести, и похоже, что подбирается к главному, не только в романистике.

Вечером Дем/ентьев/, Арт/ур/, Миша и Маликов² — мальчишник в «Урале». Снова разговор, кому писать о Кочетове, — и опять то же. Глупо и смешно так волноваться из-за ненаписанной статьи. Обычно я считал даже, что это плохой знак — говорить о своем замысле заранее, — а тут поневоле нарушаю это святое правило. Нехорошо.

Анекдот о Жукове. Его посетил корр/еспондент/ АПН с вопросами. Жук/ов/ сказал: «Вопросы написали? Ну уж сразу тогда и ответы напишите. Только прежде чем приносить мне на подпись, заверьте, где следует, а то я их знаю, политруков. Что случись, мгновенно на меня и сошлются». «Если танки стреляют, значит есть враг и идет война, а если танки молча занимают город — это не война, а оккупация» (о Чехословакии).

Интересен вопрос Ильи См/ирнова/: почему ни одна наука не имеет при себе дисциплины, подобно той, какую имеет при себе иск/усств/о в виде самостоя/ельного/ рода занятий — литерат/урной/ критики. Наука даже в фактологич/еской/ части систематизирует знание. Иск/усств/о передает жизнь в непосредственной образной форме, со сложностью живого. Критика должна объяснить мир художника, его законы восприятия, по каким он осваивает жизнь, и т.п. Но об этом надо написать лучше, точнее и подробнее.

1.XI. Ильина рассказ/ала/, как бегали, волновались организаторы похорон Чук/овско/го. Что за страх перед самыми невинными сборищами! Нилин еле получил слово у Ил/ьи/на.

Под секретом. Обидевшись на то, что мы отвергли многострадальный фельетон Н/атальи/ И/осифовны/, Корней распорядился печатать свою посл/еднюю/ статью не в «Н/овом/ м/ире/», а в «Лит/ературной/ Рос/сии/». Ну, и глупо. Вообще рассказ И/льиной/ — разочаровывающий.

Слухи, что Чук/овский/ завещал половину наследства Исаичу, — несправедливы. А жаль.

Не хотели, чтобы выступали на похоронах С/олженицы/н, Балтер, Копелев¹ и я. Эти фамилии И/льин/ прямо назвал как нежелательные.

4.XI. Бесконечно печальный А/лександр/ Т/рифионович/. Его тревожит рассказ/анная/ Эмил/ией/ история — недели полторы назад «Figaro litteraire» напечатала изложение «Триптиха» с цитатами, подтверждающими достоверность текста. В кабинетах взволнованы. Тр/ифоныч/ чувствует себя неуютно, хочет ехать к Воронкову. Я боюсь, как бы он не сделал какого faux pas*.

Ему кажется, что он поставлен в ложн/ое/ положение, хотя я уверяю его, что его позиция безупречна, он поступал до сих пор так, как только и можно было.

Часов в 5 зашла Анна Сам/ойловна/ (Берзер. — С.Л.) с неприятной вестью — в Рязани исключили из С/оюза/ П/исателей/ Солженицына.

Мы сидели как пришибленные. Надо что-то делать, а сразу не сообразишь. Но в сущности — это катастрофа. Требуют, чтобы он завтра же ехал в Москву «исключаться». Он переложил на после праздников. Тр/ифоныч/ мрачно оделся и уехал. Я заезжал к Вале Гов/алло/, вернулся домой сам не свой и думал о письме.

5.XI. Утром Тр/ифоныч/ звонил — деятельный, бодрый, гов/орил/, что поедет к Воронкову, а потом зайдет домой ко мне. Но человек предполагает, а бог располагает. Воронкова поймать нельзя. С утра он поехал на Секр/етариат/ РСФСР, где, видимо, исключают Ис/аича/.

Днем сидели в ред/акции/ и вели неторопливый, невеселый разговор. 11-го собирается прийти к нам Овчаренко из Агитпропа.

Нужны подготовит/ельные/ работы для евангелия III тысячелетия. 3 источника — марксистск/ая/ социология, христ/ианская/ нравственность — и научно-технич/еская/ революция. А не шутя, XXI век может стать веком нового расцвета этики, задавленной ныне соц/иальным/ бытом и «точными» науками едва ли не во всех странах света.

Читал очередную статью Дем/ентьева/ и понял, почему на него так сердятся: он догматический ревизионист.

Иннокентий (шофер, который возил Твардовского. — С.Л.) рассуждал о Тр/ифоны/че с неожиданной стороны: «Скучно живет. Никуда не ездит. Гостей, смотрю, у них не бывает. Я бы на его месте — пожил в свое удовольствие. Ведь каждый день — к смерти ближе».

6.XI. День предпраздничный, а у нас невесело. Вчера Тр/ифоныч/ звонил мне — бодрее и энергичнее, потому, конечно, что протопопица М/ария/ И/лларионовна/ его переломила. «Иди на Секрет/ария/т и разгромай их». — «Да меня не зовут». («Она все еще думает, что я в прежней силе».)

Воронк/ова/ по телефону/ Тр/ифоныч/ не мог добиться в течение дня — скрывается где-то, где его инструктируют или он инструктирует. Я сказ/ал/, что как-то стыдно теперь состоять в Союзе. «А вы думаете, я этого не думал?»

Днем сегодня Тр/ифоныч/ попал все же на аудиенцию к В/оронкову/. Приходил Можаяев — «правда ли все это? как реагировать?». Надо подождать приезда Ис/аича/ (он придет после праздников). Раньше, чем Тр/ифоныч/ вернулся от Вор/онкова/, пришел Миша из Главлита. Завел меня к себе. Вчера на вечере, возвеселившись, Ром/анов/ шепнул Эм/илии/, что с «Н/овым/ м/иром/» вопрос решен и после праздн/иков/ объявят: выводят Кондр/атовича/, Л/акши/на и Вин/оградо/ва. Тв/ардовского/ трогать не будут.

Тут приехал А/лександр/ Т/рифионович/ от Вор/онко/ва. Тот был нежен, лез целоваться. Когда Тр/ифоныч/ сказ/ал/ ему о С/олженицы/не, театрально закрыл лицо руками: «Что делается... и не говорите... Меня 19 раз вызывали в КПК¹ по делу Кузнецова». Когда я сказ/ал/ о наших новостях, Тр/ифоныч/ промолвил: «Похоже», — хотя, по его словам, о персоналиях речи не было, но Тр/ифоны/ча В/оронко/в снова звал в Союз на «повышенный оклад».

* Ложный шаг (франц.).

С утра мы сговаривались побывать у Ив/ана/ Серг/еевича/, но Тр/ифоныч/ не в силах уже был. Позвонил только и сказал: «Корабль получил страшную пробоину. Вероятно, придется открыть кингстоны. Ждал-ждал К/онстантин/ А/лександрович/ (Федин. — С.Л.), чтобы ответить на мое письмо, и вот через 1 1/2 года это, видно, его ответ».

Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем... —

вспомнил А/лександр/ Т/рифонович/, когда стали гов/орить/ об отставке. Он уехал, сказавши, что есть печальная услада так вот трезво и горестно встречать праздники. А мы — с Мишей, Мож/аевым/ и Сацем пошли рюмку выпить — в «Урал». Можаяев гов/орил/ добрые слова — искренно и серьезно, но не знал, не знал того, что знали все мы. Журналу, верно, остались считанные дни.

Утром была у меня Серебрякова² — кокетливая в свои 60 с лишним лет — и льстивая. Конечно, хочет предложить рукопись, и только в мои руки лично. Сказала о романе, вышедшем за границей, что он, без сомнения, передан туда нарочно, ради ее компрометации («Я это и Сусл/ову/ сказала»). Текст явно был препарирован у нас, вырезаны наиболее острые места о Ст/алине/ и проч. Начала будто оправдываться передо мной за посвящение Хр/уше/ву. «Я его и не знала, знала только жену — Н/ину/ П/етровну/ и Адж/убея/³. А вопрос о посвящении романа решало П/олит/ б/юро/».

«Ш/ауре/ и Мел/ентьеву/ я сказала: вы — единственный критик, меня интересующий. Они смеялись и негодовали».

Вспомнил о Некрасове ужасную историю. Он пригласил с Алтая своего Валегу⁴ в гости. Поезд опоздал, и Некр/асов/ ожидал его в буфете. На перроне он обнял Валегу и потребовал идти в ресторан. Тот сказал, что он с женой и дочкой. «А пошли ты их всех...» — и проч. в Викиной идиотской манере. Валега повернулся и ушел. Напрасно Виктор с утра разыскивал его по всем гостиницам.

9.XI. У Е/лены/ С/ергеевны/ со Светой. Глени — переводчик Булгако/ва гов/орил/: «Я вам завидую, у вас идут такие лит/ературные/ бои (это он о моей полемике с Гусом), какие у нас были только в 18 веке». Нашел чему завидовать!

Рассказы Ел/ены/ Серг/еевны/ были занимательны. Запишу кое-что. Есть слова Булгако/ва о Гоголе в п/исьме/ к Попову: «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Так и вышло.

До начала 50-х годов на могиле Булгакова/ ничего не было — газон, цветы. Е/лена/ С/ергеевна/ заходила в сарай к гранильщикам — и подружилась с ними. Однажды видит, среди обломков мрамора в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень: а это что? — Голгофа. — Как Голгофа? Объяснили, что на могиле Гоголя в Донском монастыре стояла Голгофа с крестом. Теперь сделали новый памятник, а Голгофу — бросили в яму. «Я покупаю», — сказала сразу Е/лена/ С/ергеевна/. Так-то так, да как его поднять? — Что угодно. Нужны мостки — катить, делайте мостки, 10 рабочих? — будет 10 рабочих. Камень привезли, и глубоко ушел он в землю над гробом. «Теперь разве что атомная война, а то никакая бомба до него не достанет».

Камень оказался — черноморский гранит. Аксаков сам выбрал его где-то в Крыму, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. Гранильщики гов/орили/: как железо крепко. Стесан/ный/ верх без креста, строка из еванг/елия/ некрасиво. Тогда глыбу перевернули.

Однажды в готич/еском/ зале рест/орана/ в ЦДЛ М/ихаил/ А/фанасьевич/ сказал Е/лене/ С/ергеевне/, схватив ее за руку: смотри, Коровьев. В дверях стоял он с глумливой улыбкой в своем клетчатом пиджаке.

М/ихаил/ А/фанасьевич/ все говорил прямо, как думал и писал. Фад/ее/в волновался: может быть, что-то в дневниках неподходящее. Да нет — все то же, что и везде.

У Булгаковы/х был свой «сурок»¹. Когда он, насытившись вкусным обедом, рано уходил, М/ихаил/ А/фанасьевич/ нервничал, смотрел на часы: как ему не стыдно так

рано, это вовсе недобросовестно. В разговоре с ним любил ходить по самому острию. «Больше ноги его здесь не будет, — сердился М/ихаил/ А/фанасьевич/». А через две недели звал снова.

Рассказы о смерти Ст/алина/ — булгаковские подробности. Когда он заснул навеки у себя в Волынском, взломали дверь, убедились, что он мертв. Берия первый крикнул: «Наконец-то. Тиран умер». И все враз заговорили, соревнуясь в усердии. Перенесли его на стол. И вдруг — он вздохнул. Бывает такой вздох у покойников — воздух выходит из легких. Все помертвели. А вдруг — жив?

Когда приехали врачи, у входа в длинный коридор охрана играла в кости.

По первому мужу Е/лена/ С/ергеевна/ была близко знакома с семьей Уборевича², жили в одном доме.

Его судьба. В Смоленске проводил учения. Внезапно прилетел Микоян, убеждал куда-нибудь скрыться, улететь на самолете. Уб/оревич/ отказался: «Я честный коммунист, ничего за собой не знаю». М/икоян/ улетел, и на др/угой/ день — срочн/ый/ вызов в Москву. (Уборевич был команд/ующим/ Моск/овским/ округом.) Жена приехала на вокзал, нашла «вагон командующего», оттолкнула двоих вооруж/енных/ людей, не пускавших ее в вагон, и побежала по коридорчику. Навстречу — Иероним под конвоем. «Недоразумение», — сказал он. Она с вокзала помчалась к Ежову. «Все выяснится, идите домой спокойно, накрывайте на стол, он придет ужинать».

Потом и ее с девочкой выслали в Астрахань, затем в лагерь, девочке в туфлю она положила портрет отца. В Ташкенте во вр/емя/ войны год почти дочь Уборевича прожила у Ел/ены/ Серг/еевны/. Когда в 56 г. вернулась 2-й раз, и окончательно, — писала ей письма о своей жизни и жизни отца.

А теперь анекдот др/угого/ царствования. Освобождают Никиту. После конца заседания/он спрашивает: «А из дома выезжать?» Мик/оян/ сказал: «Не торопись, что ты». Но к вечеру — комиссия, во главе с кремл/евским/ комендантом. Описывали вещи, Никита отставив подарки. Один шкаф был заперт: жена в Чехосл/овакии/ и ключи увезла, объяснил Н/икита/ С/ергеевич/. В тот же день он ушел позвонить Раде³, та — матери в Карловы Вары. Сказала: папа уже не секретарь. Та: «Как не секретарь? Какие глупости! Стоит на неделю уехать — и на тебе!»

(Это со слов портнихи и камеристки Ст/алина/, кот/орая/ шила одно время Ел/ене/ Серг/еевне/ и у кот/орой/ был муж — комендант.)

Ан.Вильямс о Шост/аковиче/. Его позвал в больницу добрый знакомый. «Я умираю, прости, я всю жизнь писал на тебя. Волнуюсь только, кого теперь к тебе приставят. Ведь я тебя любил». Ш/остакович/ успокаивал его, как мог. Самое смешное, что он выздоровел. Готовый сюжет для Мопассана.

10.XI. 10-й № все никак не подпишут. Возня вокруг Гинзбурга¹. Я кончил статью о «Мудрецах». Бел/яев/ и проч. на праздниках обсужд/али/ в своем круту посл/едние/ события. Смысл акции с Солж/еницыным/ — выманить Тв/ардовского/ из берлоги. Ставят в вину «Н/овому/ м/иру/», что известие об исключ/ении/ мгновенно достигло Запада: сопоставляют — в 5 ч/асов/ вечера звонок С/олженицы/на в ред/акцию/ «Н/ового/ м/ира/», а на др/угой/ день в 6 ч/асов/ утра уже об этом гов/орило/ ВВС (Би-би-си. — С.Л.). Меня особенно ненавидят, но о разгоне ред/акции/ говорят уже с меньшей уверенностью, чем накануне праздников.

Все теряются в догадках — почему надо было исключать С/олженицы/на именно сейчас, когда он уже год с лишним тихо сидит в Рязани. Я связываю это с недовольством, какое вызвал роман Кочетова. Его влиятельные дружки взялись немедленно его спасать. Решили запалить пожар в др/угом/ месте, чтобы отвести угрозу от своих. Факт несомненный — тут неспровоцированная агрессия. Логика же вообще такова, что если писатели ведут себя тихо-смирно, надо вызвать их на неосторожные акции, чтобы было о чем кричать.

11.XI. Приглашали на «кругл/ый/ стол» критиков в «Журналист», но я не пошел. В 1 час дня была назначена редколлегия — собирался приехать Овчаренко из Агитпропа, как он гов/орил/, «потолковать, познакомиться». Мы ждали, что, может быть, он и привезет в кармане пакет о нашем увольнении. Но не тут-то было. В час

он не явился и позвонил предупредить, что из-за серьезнейших заданий вообще не приедет в ближайшие дни. Значит ли это, что наше дело решено или, напротив, что в нем все еще полная неясность?

Когда я вошел, все читали по листку стенограмму рязанск/ого/ заседания, на кот/ором/ исключали С/олженицы/на, стенограмму, сделанную им же самим. Документ сильный. А/лександр/ Т/рифонович/ сердит, недоволен — «вечно он со своими прокламациями». Но в душе — страшно маяется сам и все обдумывает, видно, не самый ли подходящий момент — уйти. Он говорил тут как-то, соглашаясь, что не надо торопиться, что было бы ошибкой и пропустить момент.

Вдруг появился Ис/аич/, мы вышли, оставив их вдвоем с Тр/ифонычем/. Потом он нашел меня — оживленный, борода взъерошена, подбежал, буквально прижал к стенке в каморке Хитрова — и лицо в лицо, глаза в глаза, зашептал горячо: «Тр/ифоныч/ не должен уходить. Журна/л должен остаться. Я его убедил. Даже когда ничего нет, в каждом № — нечто. Ст/атья/ Лихачева! — превосходна. В случае нужды — отмежевыв/айтесь/ от меня. Журна/л — это не один С/олженицы/н. И это правда. Только в случае полн/ого/ разорения, Ваш/его/ ухода и др/угих/ двух — нет выхода». Я сказал, что выход и тут есть, лишь бы не добавляли новых. «И успокаивайте, пож/алуйста/, А/лександра/ Т/рифоновича/, если будет на меня сердиться, я вынужден отвечать ударом на удар. С лагерными уголовн/иками/, с урками можно поступать только так, я это знаю, иначе забьют». Он убежал, как всегда, сверкая улыбкой, глядя на часы.

Тр/ифоныч/ после встречи с Ис/аичем/ был какой-то веселый, благостный, будто камень свалил с души.

Я сказал ему, что его хотят выманить из берлоги, и чтобы он не давался. «А если берлога будет разорена?» «Вы дум/аете/, нам вдвоем с Хитровым плыть на льдине — будет больше чести?»

Днем были какие-то обольщения: известие об исключении в «Лит/ературной/ газете» отчего-то затормозилось. Слухи, будто подбирают более весомую формулировку — за связи с НТС, что ли. Проводив Тр/ифоныча/, мы решили выпить по чарке, не выходя из редакции. Шел тихий разговор, собирались по домам уже, как пришел кто-то с известием: в готовые полосы «Л/итературной/ г/азеты/» срочно поставили сообщение об исключении — и только в моск/овский/ выпуск, потому что тираж опечатан. Какое-то новое коварство.

12.XI. Утром в «Л/итературной/ г/азете/» составл/енное/ наспех, беспомощное извещение об исключ/ении/ Ис/аича/. Только пришел на работу — явился какой-то француз с аппаратом — требовать интервью с Тв/ардовским/. Я прогнал его.

Можав заходил встревоженный — «что-то надо делать»: «Исаич апеллировать не хочет». Тр/ифоныч/ мрачен.

Сегодня Овч/аренко/ был в «Др/ужбе/ народов». Но недаром он вчера отказался от посещ/ения/ нашей ред/акции/, недаром.

Рассказ/ывают/ разговор с зав/едующим/ отд/елом/ «Правды» Потаповым: если в марте, как говорят, состоится очередной съезд партии — до этого надо будет решить с «Н/овым/ м/иром/». Нельзя же допустить, чтобы делегаты 2-й раз безрезультатно этот журнал критиковали. Ищется чисто чиновничий аргумент — но все к одному.

Гов/орят/, что в П/олит/б/юро/ один Брежнев говорит, Митька Полянский поддакивает.

13.XI. Миша позв/онил/ мне, просил срочно приехать. В комнате у Кондр/атовича/ я застал всех в сборе, запершимися на ключ. Передавали из рук в руки нов/ое/ письмо С/олженицы/на. У Тр/ифоныча/ глаза белые — от ярости и обиды. Это катастрофа — «болн/ое/ общ/еств/о», «пока вы носитесь с клас/совой/ борьбой...», «вас затопит льдами Антарктиды», смешн/ая/ защита Копел/ева/ и Лид/ии/ К/орнеевны/. Миша опрометчиво передал записку, адрес/ованную/ ему и мне, — А/лександру/ Т/рифоновичу/. В записке — просьба понять его, не сердиться, успокоить А/лександра/ Т/рифоновича/ и какие-то сумасш/едшие/ надежды «переменить воздух». Это — бунт. Тр/ифоныч/ в отчаянии и клеймит его за неблагодарство. Ни слова не сказал вчера, все берет на себя, ни в чем не советуется и все губит. Для нас «концы» и для него — вот первое впечатление. Тр/ифоныч/ хотел тут же звонить Вор/онкову/, извещать его о письме. Я держал его за руку, боясь, что сгоряча он наделает бед. Коварство В/оронкова/ известно, и он легко сможет осрамить А/лександра/

Трифоновича/. Пробовали найти Ис/аича/, он как сквозь землю провалился. Хотели остановить его, если п/ись/мо не разослано. Разослано. Веронике¹ Трифони́ч/ с пылу сказал по телефону: «Это предательство». «А разве там сказана неправда, А/лександр/ Трифонович/?» «Нет». Час спустя он гов/орил/ мне: «Может, я зря сказанул насчет предательства». Трифони́ч/ снова порывался куда-то звонить, но я уговорил его ехать в деревню: утро вечера мудренее.

Рассказ/ывают/: Гранин один на Секр/етариате/ РСФСР голосовал против исключения Ис/аича/. Ходят слухи, что Кав/ерин/ переслал билет в Союз (я позвонил ему, спросил осторожно — это неверно). Мож/аев/, Тендр/яков/, Антон/ов/, Трифонов, Максимов, Войнович, Окуджава ходили к Воронк/ову/ и требовали собрать Пленум или собрание и дать высказаться не согласн/ым/ с исключ/ением/ Ис/аича/.

Вечером — Рой. Уже видел письмо, читал его. Считает, что Ис/аич/ деспот в своем окруж/ении/, кот/орое/ тоже на него скверно действует, подзуживает — «ты гений, ты вправе им ответить» и пр. Черт бы подрал всех этих тщеславных Штейнов! Сколько вреда от балаболок и вспышкопускателей. Ведь погубят, погубят ни за понюшку табаку великого писателя. Заигрались. Сам Ис/аич/ тоже стал индюком порядочным — никого не видит, не слышит, кроме себя, и считает себя вправе действовать в одиночку, чтобы все подлаживались к нему. И жалко его бесконечно, и противно, и обидно. Главное — обидно, неумно как-то все получается.

Его диктаторство в своем кружке — смотрит на часы, дает поручения — рассылает всех по своим делам. Может ни за что обидеть человека — «выполнили то, что я просил? Остальное мне неинтересно». При такой великости — и такая малость.

А/лександр/ Трифонович/ протянул мне прочитанную им статью о «мудрецах». Говорит: 50%, может быть, успеете получить².

15.XI. У братьев (Роя и Жореса Медведевых. — С.Л.) — день рождения. Друг отца — Ив/ан/ Павл/ович/ вспоминал Колыму и встречу там, когда из шахт шел «отработанный» поток и отдавал «свежим» одежду и сапоги. «За этих мальчиков я готов на всё». Лев Матв/еевич/ — со своим чаем и колот/ым/ сахаром.

Дост/оинст/во научной работы, когда автор гов/орит/ не только о том, какие проблемы им решены, но и о том, что решить не удалось, какие проблемы остались на будущее.

Неосознанность симпатий и антипатий. Я не люблю бузину, но не знал этого, пока случайно об этом не подумал. А сколько вещей несравнимо более важных, к кот/орым/ наше сознание индифферентно, но уже не индифферентно чувство.

17.XI. 10-й № подписан и матрицируется.

Ром/анов/ спрашивает: «Знают ли Л/акши/н и Кондр/атович/, что их снимают?» Заходила Ильина — о письме.

М/ария/ Ил/ларионовна/ звала нас на дачу. Я не понял сразу — вызов ли это А/лександра/ Трифоновича/ или он ослабел и она зовет на помощь. Оказалось — второе. С пятницы А/лександр/ Трифонович/ не выдержал — загулял. <...>

Антонов забежал — растерянный. Воронк/ов/ с Бровкой и Баруздиным с утра вызвал его. Бровка: «Мне дорог талантл/ивый/ писатель, но родина мне дороже». Воронк/ов/ проделал трюк с вызовом секретарши и требованием письма, «кот/орое/ уже передают по всем станциям». «Надо объясниться писателям». «Это вы правы. Мы им объясним».

Вечером заходили Каверины. В/ениамин/ А/лександрович/ — растерянный, несчастный. Выпивает, чего с ним никогда не было.

Слухи: до января вопрос с «Н/овым/ м/иром/» будет решен.

ПОПУТНОЕ

Вот текст Открытого письма Солженицына от 12 ноября 1969 года Секретариату Союза писателей РСФСР:

«Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что решение предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придется выделить мне десять минут на ответ? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держат и не пущать»!

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы, вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! никому не давать читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виновного в том, что заступает за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведете вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить *открыто*?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что бы вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую» борьбу? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира *мыслью* и *речью*. И они естественно должны быть *свободными*. А если их сковать, — мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная *гласность* — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

«Слово пробивает себе дорогу.
Сборник статей и документов об А.И.Солженицыне. 1962—1974».
Составили Владимир Глоцер и Елена Чуковская.
Изд-во «Русский путь». М. 1998. С. 396—397.

20.XI. Гов/орят/, что заседает Секрет/ария/т. В/оронко/в звонил: «Где А/лек-сандр/ Т/рифонович/? Пусть позвонит в люб/ое/ время. Важн/ый/ документ насчет Ис/аи/ча».

М/ария/ Ил/ларионовна/ позвала врачей.

Получил письмо из Норвегии — приглашают на март читать лекции. Вряд ли поустят. <...>

Сегодня сдал в набор статью о «мудрецах» в чайники половинного гонорара.

21.XI. Заходил Кузькин-Можаяев. «Обнажил пупок Ис/аи/ч». Подтвердил, что его подталкивают Штейн и К°. Мож/аяев/ думает, что толчком к исключ/ению/ С/олженицы/на были слухи о завещ/ании/ Чук/овско/го. Люшу¹ вызывали в некое учрежд/ение/ по наследным правам, где четверо мужчин допытывались, кому именно

велел помогать Чук/овский/. Она сказала, что это семейн/ые/ тайны, деньги оставлены ей, а она уж знает, кого он имел в виду.

Продолжают вызывать заступников С/олженицы/на. Бакланова — в отдел, Булата — в райком. Говорят при этом, что остальные уже признали свою ошибку. Страшают письмом С/олженицы/на, но не выпускают его из папки, только говорят о нем, как о дьявольским писании, на кот/оро/е православным и смотреть грешно.

С Дем/ентьевым/ неутешительно разговаривал об А/лександре/ Т/рифоновиче/. Нервы его истрепаны и кончаются. Дома он последние два месяца кричит по любому пустяку — звон стоит в ушах, гов/орит/ М/ария/ Ил/ларионовна/. Даже трезвый — нехорош. Его бы могло восстановить лишь коренное изменение ситуации. А так — надежды нет.

22.XI. Заезжал к Ив/ану/ Серг/еевичу/ (Соколову-Микитову. — С.Л.). Лид/ия/ Ив/ановна/ (его жена. — С.Л.) — в больнице, он один как сын, и я звал его к нам на недельку. Сидит в темноте, с зеленой лампой и в темных очках — и съедает его одиночество. Просил рассказать о Солж/еницыне/. «Вот сидишь во тьме и одиночестве, а какие-то волны доходят из мира, и такая, по правде сказать, муть оседает на душе, что жить не хочется».

Посидели мы с ним за рюмочкой, поговорили, он разошелся немного, рассказал, как встретился с Куприним в гост/инице/ «Метрополь» в 37 г. — и тот спросил: «А трактир Веревкина в Петергофе цел? Замечат/ельная/ там надпись была: «распивочно и раскурочно». Потом вспоминал своих учеников в Дорогобужской прогимназии, Крым 18-го года. Там, под Алуштой, он работал на виноградниках, там же ходил к Шмелеву, негодовавшему на жадность своего верхнего соседа Сергеева-Ценского. У того была молочная ферма, но стакана молока своему товарищу ни разу он не предложил.

Ю.Черниченко выступал на летучке в «Пр/авде/» и гов/орил/, что морозы на целине уничтожили всю озимь и т.п. Кто-то его поправил: «Гов/ариш/ Черн/иченко/, не сейте панику». «Да разве на такой невсхожей земле что посеешь», — отвечал Ч/ерниченко/.

23.XI. На «перевозочном средстве» (Н.Ильиной) ездили в Пахру. Первый денек подморозило, иней и солнце, а то все слякоть была.

Ходили с А/лександром/ Т/рифоновичем/ и Дем/ентьевым/ по осеннему леску. Тр/ифоныч/ вчера гов/орил/ с В/оронковы/м. «Не отпирайтесь, вы мне звонили». «Да, я хотел познакомить вас с неким докум/ен/том». «Каким? Не открыт/ым/ ли письмом?» «Да». «К несчастью, я его знаю». «Почему же к несчастью?» «Потому что, хотя я не могу изменить своего отнош/ения/ к написанному С/олженицыны/м, это письмо я решит/ельно/ отвергаю». Не знаю, что еще наговорил Тр/ифоныч/, но Вор/онков/ радостно подхватил, что письмо «анти» и т.п., что он рад парт/ийной/ позиции Тр/ифоныча/. А Тр/ифоныча/ все это мучит.

24.XI. Без перемен. Говорил с Е/леной/ С/ергеевной/. Она считает, что у Ис/аича/ посл/еднее/ время — *mania grandiosa*. Беда в том, что думает об одном себе. А может случиться, что он-то выживет, а Тр/ифоныч/ — погибнет. Вот где ужас.

Вечером был на бенефисе несчастной нашей Киры (Головки. — С.Л.) в Доме журналистов.

25.XI. Принесли письмо от С/олженицына/ — А/лександру/ Т/рифоновичу/. Ис/аич/ болел гриппом, теперь, говорят, нигде не показывается. Письмо Миша открыл (посланный так и передал, что мне или ему). Когда я пришел и Алеша уже прочитал и впал в транс: новое ужасное письмо. Прочел и я. Письмо показалось мне искренней попыткой объясниться. Ис/аич/ пишет, что он ч/елове/к другой эпохи, человек лагеря и на многое смотрит иначе. Повторяет, что должен ответить ударом на удар. Гов/орит/, что когда был в ред/акции/, текста у него еще не было, а потом *инстинкту*ему-де подсказал, и письмо складыв/алось/ 11-го. Гов/орит/, что помочь ему нельзя, что он решенный ч/елове/к, что за ним из ред/акции/ увязались двое, и это *твердо*, т/ак/ что едва от них отделался и т.п. Письмо ч/елове/ка загнанного, затравленного, но и уверенного в своем до фанатизма. Он гов/орит/, что Тр/ифоныч/ ему бы отсоветовал бы пускать по рукам и «Корпус» и «Круг» — а верно ли это? В свою

непогрешимость он верит, и сам несчастный, слепой — рассуждает о счастье освобождения, возможности сказать все — не чувствуя, что он уже под копытами коня. Словом, письмо-разрыв, письмо-объяснение и письмо-прощание. Его дружеский, сердечный характер только резче обозначает несогласие в существе. Сейчас он готов идти до конца, не ведая, какие еще предстоят муки.

К вечеру стало известно о статье, кот/орая/ появится завтра в «Л/итературной/ г/азете/».

26.XI.69. Статья в «Л/итературной/ г/азете/». Уже пр/оизведени/я С/олженицы/на названы антисоветскими, уже не стесняясь, ему говорят, что он пытается «выдать себя за жертву несправедливости». В эти как раз дни 7 лет назад был его триумф. Его загоняли в угол планомерно и постепенно. А он, огрызаясь и отбиваясь, становился все озлобленнее и вышекомернее. Главное в статье — приглашение уехать за границу. Бул/гако/в просил об этом как о милости, С/олженицы/ну этим же грозят. Что это — провок/ационный/ ход — или в самом деле попытка отделаться от него? Все обратили внимание, что в статье даже с фактич/еской/ стороны — вранье громоздится на вранье. Письмо отправлено 12-го, а газета пишет 14-го, чтобы эффектнее сопоставить с появлением письма в «Нью-Йорк Таймс» — 15-го. Ну, да что уж там... Дело ясное. «Луб/янские/ пассажи», — как гов/орит/ Ира Дементьева¹.

Ал/еша/ занемог. Мы с Мишей/ отправились в Пахру. Александр/ Т/рифонович/ не пьетуже, но с утра лежит в постели, ослабевший, ничего не ест, без сил совсем. Вышел к нам — вялый, печальный. Вчера В/оронков/ прислал с курьером под вечер газету и письмо, просил дать письм/енный/ ответ в любой форме. Тр/ифоныч/ выходил из дому, встретил посланца в саду — и что говорил, непонятно. Письмо же В/оронкова/ следующее (написано от руки, на конверте — «только лично» и с просьбой порвать) — приведены слова, кот/орые/ В/оронков/ записал сразу после разг/овора/ по телеф/ону/ с Александром/ Т/рифоновичем/, слова такие примерно: «Это вопрос политич/еский/ и тут не может быть двух мнений. Не меняя оценки С/олженицы/на как писат/еля/, я решит /ель/но отвергаю его позицию, направл/енную/ против партии, гос/ударст/ва и моей лично». Далее В/оронков/ спрашивает, верно ли он записал эти слова, и просит их письменно подтвердить. «Мы гордимся Вами, Вашей принципиальностью...» — и что-то еще в этом роде. Сообщает, что Фед/ин/, Леонов, Марков, Полевой и др/угие/ члены Секр/етариата/ уже решит/ельно/ осудили письмо С/олженицы/на — теперь-де нужно закрепить свое отношение в письм/енной/ форме.

Тр/ифоныч/ растерян, а слабость физич/еская/ не дает ему собраться и сообразить, как себя вести. Первый его вопрос, когда он прочел п/исьмо/ С/олженицы/на, был: «Надо ли его посылать В/оронко/ву?» Сумятица в мозгу страшная — и обида на С/олженицы/на, и досада, что все валится, и смутное сознание, что ловцы душ наготове. Я его умолял только не спешить, не делать ложного шага. То, что журн/ал/ погибает — неделей раньше, неделей позже, — это ясно. Но надо избежать срама, кот/орый/ перечеркнет все, что сделано. Тут нужна железная выдержка. Его не спрашив/али/, когда исключали С/олженицы/на, а теперь им нужна подпись под его осуждением. Было бы ужасно, если бы он запутался в этой воронк/овской/ сети. Ведь видно, видно невооруж/енным/ глазом, как они ее на него набрасывают. И ведь все равно его погубят, выкрутят руки и Тр/ифонычу/ и нам всем, только прежде еще хотят осрамить и обесславить. Сидели долго за столом, говорили, пили чай. Тр/ифоныч/ больше молчал, обхватив голову руками. Я хотел, чтобы он посмотрел на дело шире, с какой-то дистанции и напомнил раскол «Совр/еменника/» с Толстым, Турген/евым/. Кто прав, кто виноват? Со временем становится ясно, что дело сложнее, чем казалось в ту пору. И оставаясь на стороне Щедр/ина/, я признаю в чем-то и правоту Дост/оевско/го, кот/орый/ спорил с ним. Но ведь здесь к тому же примешан Вор/онко/в и то, что за ним стоит.

Тр/ифоныч/ просил, несколько раз повторив, хотя это не было нужно: «Приезжайте, пожалуйста, завтра. Надо все еще раз обдумать».

Теперь нов/ая/ версия исключ/ения/ С/олженицы/на. Говорят, Нобел/евский/ лит/ературный/ комитет проголосовал за присуждение ему премии. Шведская же академия при оконч/ательном/ голосовании переменяла кандидата. Во-первых, слишком много-де лауреатов русских. Во-вторых, не было бы ему от этого плохо в России. У нас же ждали и, как только выяснилось, что не дают, решили забить его до конца.

27.XI. Вчера Вас/ильев/ в Моск/овском/ отд/елении/ уже как будто провел актив с выкриками: «Долой предателя», «пусть убирается» и т.п.

На днях у нас должно быть отчетное собрание. Требуют написанный доклад — в райком, волнение чрезмерное и вокруг дня, когда будет собрание. Не попытаются ли пристегнуть «дело С/олженицы/на»?

Втроем ездили к А/лександру/ Т/рифоновичу/. Он еще слаб, но сказал, что принял решение — уходить. Я не возражал ему даже. Конечно, придется теперь уходить, пока нас прежде не убрали. Но спешить и здесь не надо. Дни, м/ожет/ б/ыть/, неделю-другую надо еще выждать.

События с С/олженицыны/м этим не кончатся. Наверняка ведь он строчит какое-то письмо в ответ на посл/еднюю/ «Литературную г/азету/». И надо ему решать, как быть — если требование, чтобы он покинул страну — всерьез.

Я Тр/ифоны/чу еще раз оч/ень/ настойчиво говорил, чтобы он ничего не писал В/оронко/ву, сейчас каждый шаг по заминированному полю.

28.XI. В редакцию заходят, спрашивают: верно ли, что Тв/ардовский/ написал письмо, в кот/ором/ отрекается от С/олженицы/на. Были Вознес/енский/, Можаяев. Слух пошел оттого, что В/оронко/в, видимо, читал запись телефон/ного/ разговора с А/лександром/ Т/рифоновичем/ на активе.

Ис/аич/ болел гриппом, и вообще все его хвори взбунтовались, но, кажется, теперь здоров. Говорит: «они хотят, чтобы я из своего дома ехал в Англ/ию/ или Америку, нет уж, пусть-ка они из моего дома едут в Китай».

Оч/ень/ доволен тем, что его письмо так широко цитировано в «Л/итературной/ г/азете/». Думает, что молодежи это будет интересно. Гов/орит/ еще, что его насильственно оторвали от его занятий историч/еской/ темой и повернули к современности (так бы он еще 3—4 года тихо просидел за работой). В С/оюз/ С/оветских/ П/исателей/ его не возвратят, да и не надо. А он спокойно возвращается к своей работе. М/ожет/ б/ыть/, он их и приседит?

Сегодня апелляцию Р/оя/ отклонили на бюро горкома. Гришин сказал ему: «Не понимаю, зачем вам надо быть в партии, если вы пишете антипарт/ийную/ работу. Ее вы можете продолжать и вне партии». Имя Ст/али/на не упоминалось вовсе, как будто рукопись не о нем. Гов/орили/ о каких-то пустяках, неточных акцентах и т.п. Вытащили эмиграц/ионный/ журналчик, напечатавший провокации ради статьи Р/оя/. Гришин/ сказал: «Даже если ни вы, ни ваши друзья не передавали, это безразлично — вы все равно несете ответственность за публ/икацию/».

НВ. Как раньше говорили: «...у нас зря не сажают», так теперь говорят: «у них зря не опубликуют».

30.XI. Нат/алья/ (Ильина. — С.Л.) рассказ/ала/, что Ис/аич/ показ/ал/ свое письмо Тв/ардовско/му — Чуковским. Это уже неблагородно. Ему все же неймется показать свое превосходство, и он не стесняется кинуть на Тр/ифоныча/ какую-то тень.

1.XII.69. Звонил снова Овч/аренко/, извинялся, спрашивал, когда он может приехать: что сон сей значит?

Ал/е/ша был на торж/ественном/ обеде с Драгунским¹. Снова повторяют версию — «Л/акшин/ всем крутит в журн/але/, Тв/ардовский/ — пьет». Поэма А/лександра/ Т/рифоновича/ напечатана в «Посеве». Ром/анов/ сказал на последней летучке под хохот своих сотрудников: «Что касается «Н/ового/ м/ира/», то у них следует снимать все талантливое, пусть печатают одни серые пр/оизведени/я».

О мемуарах Жукова и «романе века» запрещено писать — и в позитивн/ом/, и в негативн/ом/ плане.

2.XII.69. Назначено было партсобрание (отчетно-выборное), но вдруг звонок из райкома — отменить. Вокруг этого собрания давно идет возня. У М/иши/ затребовали доклад в письм/енной/ форме. Потом долго обсуждали, годна ли выдвинутая нами кандидатура Виногр/адова/, можно ли менять Хитрова — с той комической серьезностью, как будто тут решается вопрос, кому доверить руководство — Дубчеку или Гусаку. Теперь секр/етарь/ райкома Пирогов просит перенести соб/рани/е, т.к. хочет лично на нем присутствовать.

Тр/ифоныч/ — желтый и болезненный, заезжал в ред/акцию/, а отсюда нанес визит Вор/онко/ву. В/оронко/в хотел обрадовать его: «Знаете, как все довольны были наверху вашим заявлением. Узнаем Твард/овского/». «Вы думаете меня этим обрадо-

вать?» — спросил Тр/ифоныч/. «Но ведь я сказал — «к сожалению». «С/олженицы/на жали, жали и дожали, так что он потек, а как потек — возликовали». В/оронко/в снова предлагал А/лександр/у Т/рифоновичу/ переходить работать в С/оюз/ П/исателей/.

Потом А/лександр/ Т/рифонович/, приехав, говорил со мной, странно устроившись на креслах в коридоре. С.С.Смирнов принес пародию на Кочетова, думал повеселить, а Тр/ифоныч/ спросил мрачно: а про С/олженицы/на у тебя не написано? Мне рассказал, что вчера темным вечером, света не было, гулял с Симоновым по дорожкам Пахры и гов/орил/ ему: ты что все ухмыляешься, думаешь, тебя не коснется? Это роковое событие для всего С/оюза/ П/исателей/. Ну что ты будешь делать? Писать? А зачем? И где, между прочим, печатать? И начал катать его, как котенка. Сим/онов/ помрачнел и сказал: «Если всерьез, то я, м/ожет/ б/ыть/, смотрю еще безнадежнее, чем ты».

Настр/оение/ Тр/ифоныча, как я и ждал, резко изменилось в пользу С/олженицы/на. «Борьба с талантом — безнадежное дело», — гов/орил/ он сегодня.

Я поздравлял сегодня Гронского¹ на юбилее в «Известиях». Прочел две цитаты из его речей 32 г/ода/. Гнедин² сказ/ал/ мне: «Когда вы вышли — наступила мертвая тишина, и я видел, как разевались пасти, чтобы вас проглотить». Я и сам это чувствовал — и как всегда после таких «публичностей» — огорчение, недовольство самим собой.

4.XII.69. Мишу вызывали к Пирогову. Я предчувствовал и боялся этого вызова. Дело в том, что в Л/енингра/де уже провели собр/ание/ с осуждением С/олженицы/на. Есть опасение, что и дальше будут практиковать это старое правило — каждый должен расписаться кровью, — проголосовать, выступить и заклеить. В таком случае нам конец. Если задумали использовать для этого наше партсобрание — тут и будет окончат/ельный/ расчет.

Но все пока обошлось благополучно. Беседа была мирная и касалась лишь вопроса о секретаре: не хотят они менять М/ишу/ на Вин/оградо/ва.

Тр/ифоныч/ приехал — его, видно, мучает, бездействие, и он обдумывает, не написать ли письмо по поводу Ис/аича/. Вчера перечитал «Ив/ана/ Ден/исовича/» и вспоминал, как впервые прочел его, и пошел читать на кухню второй раз — вслух, М/арии/ Ил/ларионовне/. Она мыла посуду, но скоро бросила, не могла. Потом месяцы борьбы за эту вещь — и звонок В.С.Лебедева, что Н/икита/ С/ергеевич/ слушал чтение и на 3-й день остановил все дела, чтобы дослушать повесть. Тр/ифоныч/ гов/орит/, что плакал с телеф/онной/ трубкой в руках. И теперь перечитал придиричиво, абзац за абзацем. Никаких пустот, написано сжато, как скрученная и мелко исписанная арестантская записка. «Но я сделал открытие, хотя, м/ожет/ б/ыть/, вы меня осудите. Это вещь «анти» — с <нрзб.> тех, кто сейчас гонит С/олженицы/на/. 2 мира: лагерь и охрана, и он до конца и навсегда лагерьный человек.

Умер Ворошилов. Сутки не объявляли о его смерти, спорили, как хоронить. Решено: по высшему разряду, и на заводах и в учреждениях объявлено: кто пойдет в субботу хоронить — получит отгул в понедельник.

Тр/ифоныч/ вспоминал в связи с этим 22-й съезд — и что там говорилось о Вор/ошило/ве.

Теперь все ждут — что скажут нам 21 дек/абря/ — в день рождения Ст/алина/.

8.XII. Тр/ифоныч/ занят архивом. У него, по его словам, около 100 писем Ис/аича/. «Подобрал их, сложил в одну папку — и как покойника вынес».

Притча: «А вы откуда? Из Тьмутар/акани/. Вот где отдыхать хорошо!»

9.XII. Собрание, приехал секрет/арь/ райкома Пирогов. По его настоянию Миша оставлен еще на один срок. Вел себя тихо и благожелательно. Гов/орил/, что 420 организ/аций/ в р/айо/не, 47 тыс/яч/ ком/мунис/тов, а он вот к нам приехал (утром был на партсобр/ании/ в район/ном/ КГБ, там 11 чел/овек/ вся организация).

Тр/ифоныч/, кот/орый/ не умеет лгать даже в чрезвычайных/ обстоятельствах, устало и трудно гов/орил/ о письмах читателей.

Мы боялись П/ирого/ва, не будет ли он нас приводить к присяге, заставляя расписываться кровью в связи с делом С/олженицы/на, ну а он, кажется, боялся нас. И все были счастливы, что обошлось без эксцессов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В своей статье «О традициях народности» («Новый мир», 1969, № 4) А.Г.Дементьев подробно разобрал позиции «молодогвардейцев» — литературную критику (прежде всего статьи В.Чалмаева, А.Ланщикова), прозу и поэзию.

Повесть Сергея Высоцкого «Спроси зарю» напечатана в «Молодой гвардии» за 1968 г. № 11. По словам Дементьева, она «соотносится с критикой «Молодой гвардии» и представляет собой беллетризацию» ее мотивов.

В «Новом мире» верили в социализм и считали возможным и необходимым уничтожение на нем всех вредных наростов, полагали, что социализм как форма общественного устройства выше капитализма. Вероятно, это и составляет суть шестидесятничества.

31 июля на страницах газеты «Социалистическая индустрия» было опубликовано «Открытое письмо» токаря Подольского машиностроительного завода Михаила Егоровича Захарова главному редактору «Нового мира» Твардовскому о том, что «Новый мир» критикуют все газеты и знакомые его.

Твардовский написал ответ, где просил предоставить ему фотокопию письма Захарова и сообщить «хотя бы самые общие анкетные сведения об авторе». В ответ газета опубликовала фотокопию письма, письмо Твардовского и ответ редакции с негодованием по поводу «неэтичной просьбы» Твардовского и того, что «Новый мир» и «его работники» «так мало знают о лучших представителях рабочего класса» («Социалистическая индустрия», 9 августа 1969 г.).

21.VIII.

¹ Речь идет о годовщине событий в Чехословакии.

² Карим Мустай (Каримов Мустафа Сафич), башкирский поэт. В № 5 и 10 за 1969 г. были подборки его стихов.

25.VIII.

¹ Пилар Гарсиа Мартинез, соученица по университетской 4-й французской группе, из «испанских детей», сейчас живет в Испании.

29.VIII.

¹ Ухсай Яков Гаврилович, чувашский поэт.

² Щербина Владимир Родионович, литературовед.

1.IX.

¹ Волынский Леонид Наумович, искусствовед. Брат Исаака Наумовича Крамова, литературного критика.

² Введенские горы — московское Немецкое кладбище, где похоронен дед Владимира Яковлевича — Сергей Александрович Чайковский.

³ Некрич Александр Моисеевич, историк. ВАК — Высшая Аттестационная Комиссия.

2.IX.

¹ Вознесенский Андрей Андреевич, поэт.

4.IX.

¹ Бек Александр Альфредович, писатель.

² Салахян Акоп Ншанович, критик, зам. главного редактора «Дружбы народов».

³ Шатров Михаил Филиппович, драматург.

⁴ Карпинский Лен Вячеславович, публицист, политолог.

10.IX.

¹ Евтушенко Евгений Александрович, поэт.

14.IX.

¹ Машеров Петр Миронович, с 1965 г. 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии, член ЦК КПСС с 1964 г., кандидат в члены Политбюро с 1966 г.

15.IX.

¹ Михаил Федорович Яковлев — приятель Твардовского, фотограф.

² Козловский Алексей Алексеевич, редактор издательства «Художественная литература».

³ Розанов Василий Васильевич, русский философ.

⁴ Казакевич Эммануил Генрихович, писатель.

18.IX.

¹ Кириленко Андрей Павлович, член Политбюро ЦК КПСС в 1962—1982 гг.

² В № 4 за 1969 г. уже были опубликованы письма Марины Цветаевой, публикация, вступительная заметка А.С.Эфрон. Комментарии А.Саакянц.

³ Речь идет о Корнее Ивановиче Чуковском и его отзыве на книгу В.А.Твардовской.

27.IX.

¹ Директор издательства «Известия», в типографии его печатался и «Новый мир».

² Некрасов Виктор Платонович, писатель.

С 29.IX. по 25.X.

¹ Полянский Дмитрий Степанович, член Политбюро ЦК КПСС в 1960—1976 гг.

² Лаиц Отто Рудольфович, экономист, публицист.

³ Речь идет об очерках Б.Можаева «Лесная дорога» и Виктора Некрасова «В жизни и в письмах».

27.X.

¹ Шевелева Екатерина Васильевна, писательница.

² Пономарев Борис Николаевич, в 1961—1986 гг. секретарь ЦК КПСС и одновременно зав. отделом ЦК КПСС, академик АН СССР, автор трудов по истории КПСС, международному коммунистическому и рабочему движению.

28.X.

¹ Бертран Рассел, английский философ, общественный деятель.

² Клара Израилевна Лозовская, секретарь К.И.Чуковского.

29.X.

¹ Абрамов Федор Александрович, писатель.

² Малышко Андрей Самойлович, украинский поэт.

³ Иванов Василий Иванович, член редколлегии журнала «Коммунист», работник аппарата ЦК КПСС.

31.X.

¹ Ильин Виктор Николаевич, секретарь Московского отделения Союза писателей.

² Маликов Валентин Иванович, университетский товарищ, работал в издательстве «Искусство».

1.XI.

¹ Балтер Борис Исаакович, Копелев Лев Зиновьевич, писатели.

6.XI.

¹ КПК — Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС.

² Серебрякова Галина Иосифовна, писательница.

³ Аджубей Алексей Иванович, зять Хрущева, журналист, бывший главный редактор газеты «Известия».

⁴ Герой повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», близкие звали писателя Вика.

9.XI.

¹ «Сурком» звали осведомителей-стукачей, напевая при этом песенку Бетховена «Сурок»: «И мой сурок со мной» (со слов Е.С.Булгаковой).

² Уборевич Иероним Петрович, советский военачальник.

³ Рада Никитична, дочь Хрущева.

10.XI.

¹ Речь идет о «Потусторонних встречах (Из мюнхенской тетради)» Льва Гинзбурга.

11.XI.

¹ Статья Д.Лихачева «Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления)» в № 9 за 1969 г.

13.XI.

¹ Вероника Туркина — сестра первой жены Солженицына, Натальи Алексеевны Решетовской. Ее муж — Юрий Штейн. См.: «Новый мир» во времена Хрущева. М. 1991. С. 81—82.

² 50% гонорара выплачивали за набранную, но не опубликованную статью.

21.XI.

¹ Люша — Елена Цезаревна, внучка К.И.Чуковского.

26.XI.

¹ Ирина Александровна Дементьева, дочь А.Г.Дементьева.

1.XII.

¹ Драгунский Давид Абрамович, генерал, в конце войны принимал участие в Еврейском антифашистском комитете, общественный деятель.

2.XII.

¹ Гронский Иван Михайлович, журналист, критик, главный редактор «Известий» (1928—1934) и «Нового мира» (1935—1937). В 1930-е годы был репрессирован.

² Гнедин Евгений Александрович, дипломат, журналист.

*Подготовка текста, «Попутное»,
примечания С.Н. ЛАКШИНОЙ*

(Окончание следует)

Анна Кузнецова

Берега реализма

Бабочки полет

Складывается впечатление, что премиальные сюжеты отстают от жизни — и от литературы — по какой-то очень человеческой причине. Отмечаемые имена, как правило, имеют легкий налет архаики: награжденные награждаются «по совокупности достижений», а вовсе не за «лучшее в году».

«Автор романа «Карагандинские девятины» («Октябрь», 2001, № 8) Олег Павлов с самого начала нынешней Букериады числился в фаворитах. Так с ним уже было в 1995 году, когда «Казенная сказка», заставившая высоко оценить тогда еще молодого писателя, «проиграла» великому роману Георгия Владимова «Генерал и его армия». Ясно, что это никак не было поражением — в тот шорт-лист жюри, ясно понимая, что победу одержит Владимов, ввело (единственный случай в истории «русского Букера»!) всего трех писателей. Сам Владимов в лауреатской речи с неподдельным восхищением говорил о работах своих «конкурентов» — «Казенной сказке» и «Одиссее Жени Васяева» Евгения Федорова. И сулил им премии в грядущем.

С Павловым это сбылось, хоть далеко не сразу. Его второй роман «Дело Матюшина» успеха не стяжал. Выдвижение писателя на Государственную премию было заблокировано. «Карагандинские девятины» — некоторые критики считают эту книгу лучшей у Павлова — попали в шорт-лист второго «Национального бестселлера», но дальше не продвинулись (что, учитывая, характер этой премии, пожалуй, и к лучшему).

Могло ли получиться иначе? Вполне».

Наблюдение Андрея Немзера (<http://www.ruthenia.ru/nemzer/buker-paviov.html>) легко обобщить в стихийно сложившееся правило: не дали когда-то за сильную вещь — дали сегодня за то, чем отмечился в этом году; то есть, по сути, сегодня наградили за написанное давно. Так проволоочки в исполнении закона справедливости оборачиваются ситуативной несправедливостью.

В той же заметке Андрей Немзер бурно радуется случившемуся в прошлом году награждению Олега Павлова Букером — как победе великой русской литературы над ситуативной неправдой клановых склок. Но Павлов является ярким представителем лишь одного из «крыльев» нынешней литературы, которых стало столько, что бедная из «птицы» явно превращается в «насекомое» с соответствующим уровнем полета. Правое, левое, коммерческое, авангардное, и каждое — великая русская литература, на меньшее никто из кураторов «крыльев» и критиков, обслуживающих их «полетность», не согласен.

«Посмотрим правде в глаза. Если учесть, что западноевропейская литература вышла из «Илиады», а русская началась со «Слова о полку Игореве»...»

Если учесть, что Александр Агеев когда-то сравнивал Марию Ремизову с классной руководительницей («Газета, глянец, Интернет». — М., НЛО, 2001), то следует отметить: голос ее окреп. Это уже голос пророка, не знающего никаких сомнений. Версия о происхождении западноевропейской литературы напоминает

теорию Фриче о происхождении литературы из трудовых песен. Мне была бы ближе мысль, что западноевропейская литература вышла из «Одиссеи»... Проблема датировки «Слова» преодолевается Ремизовой также с завидной простотой. Столь пламенный зачин статьи «Война внутри и снаружи» («Октябрь», 2002, № 7) к библейским откровениям, однако, не ведет. Совершенно убежденная, что в глазах правды написано только и именно то, что там читает она, в другой своей статье («Опытное поле». — «Дружба народов», 2002, № 1) со столь же многообещающим зачином: *«Если говорить откровенно, то просто придется признать...»* Ремизова обрушивается на «модернистов» с презрительным обвинением, что, дескать, исписались. Тогда как они делают своим крылышком «бяк-бяк-бяк-бяк» с тем же успехом, что ее подзащитные «реалисты» — только войны им для этого не требуется, а, по Ремизовой, без войны литературы нет. И с тем же результатом: невысоко, зигзагами, но летит насекомое, быстро и сложно взмахивающее множеством крылышек.

Концепция у Ремизовой, скажем мягко, спорная, не менее спорный и аналитический посыл: все, что критик относит к видовым признакам реализма, относится к писательству вообще:

«А «натуральная школа» меж тем знай себе пописывала. И кое-что, о чем имело бы смысл говорить, за год набралось. Высвечивается любопытная закономерность: устойчивый интерес последнего десятилетия к «документу» (мемуарам, дневникам, биографиям), кажется, произвел наконец «бархатную революцию» в прозе. Прерогатива собственно беллетристики — вымысел — плавно отъехала к низкому жанру, где он (вымысел) принял почти безудержные формы фантазии, мало заботящейся о каком бы то ни было сущностном соотношении с реальностью. В литературе более высоких задач вымыслу отводится почти служебная функция — текст складывался как результат достаточно произвольного отбора пригодных для него фактов и интерполяции присочиненных эпизодов, чтобы расширить художественное пространство и внедрить в него некие дополнительные, внеположные изначальной фактуре идеи.»

Очевидно, что при таком подходе максимально востребованным оказывается непосредственный личный опыт автора».

Кто же органику не подключает? Разве что философы картезианского направления. Может, просто органика бывает разная? Как есть несколько человеческих рас на земле, так есть, наверное, и несколько типов писательской органики, которая «питает» каждое из «крыльев» литературы в отсутствие «большого стиля», синтезирующего все. А «большой стиль» — это миф, спущенный с теоретических небес, который разбивается о каждую из живых реалий с той же неизбежностью, с какой метапоэтика игнорирует индивидуальные «неправильности» поэтики, а поэтика — обобщения метапоэтики. Именно этот антагонизм не дает слиться критике и литературоведению (университетской филологии).

Естественно, что «снизу» (от критики) непротиворечивое определение последнего «большого стиля» дать не удастся даже Марии Ремизовой, а прозаиков направления, которое она считает реалистическим (репрезентативные имена — Олег Павлов, Роман Сенчин), я отнесла бы к романтическим натуралистам вслед за Лидией Гинзбург, определившей стиль Гюго подобным образом. Все родовые признаки романтизма налицо: мировая скорбь, противопоставление себя и общества, исключительный (тонко чувствующий) герой в исключительных (страшных, безвыходных) обстоятельствах действительности... Для того и война нашим «проклятым прозаикам», а вовсе не для того, чтобы война кончилась. Для того и внешнее «подонство», в котором существует их герой при отсутствии войны: в антураже повседневной действительности, с нормальным, не опущенным ни на какое «дно», разумным и деятельным героем, обладающим свободой воли для изменения своих обстоятельств, им просто нечего делать.

«Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь», — писал Александр Блок Георгию Адамовичу в ответ на посланный юношей мэтру сборничек стихотворений, и строки эти Адамович помнил всю жизнь как слово вовремя и правильно сказанной правды.

То, что деталь у ремизовских «реалистов» реалистическая, что у их кавказских 7 «Дружба народов» № 5

пленников «колодки», а не «оковы», сути дела не меняет, меняя внешность. «Реализм» здесь не более чем прием и не уходит дальше натуралистической подробности. Миф о «большом стиле», которого якобы придерживаются эти писатели, разбивается о первую же попытку углубленного анализа. Это «крыло» нашей сегодняшней литературы не больше других.

Другая популярная теоретическая идея, пятое «крыло» (или пятая колонна?) русской литературы сегодня — филологичность как неизлечимая болезнь современной прозы. Предмет одной из последних полемики на эту тему — филологический роман Сергея Боровиков «Крюк» («Знамя», 2002, № 11) со вступительной автоапологией такой прозы и отзыв на него Андрея Немзера (http://www.ruthenia.ru/nemzer/jurnaly11_19.html).

Дело в том, что критик-прозаик (именно так, а не наоборот, при условии, что первым идет признак родовой, а видовой — вторым, как «рыба-меч») — распространенный нынче тип писателя. «Критический реализм», которым насыщает тексты этот тип органики, в качестве главной родовой черты предполагает, что автор, пишущий, к примеру, роман, исподволь начинает критиковать собственный текст еще до того, как он написан, чем подрывает или сводит на нет «энергию заблуждения» (Л.Толстой), без которой невозможно преодолеть «сопротивление материала». Первое, что теряется вместе с «энергией заблуждения», — энергия текста, или «драйв», ошибочно понимаемый частью писателей как скорость чередования сюжетных ходов. Но мельтешение событий дополнительной энергии тексту не дает: сознание читающего тут же, не рефлексируя и не формулируя, определяет прием как тавтологичный, однообразный. Процесс чтения уподобляется процессу подсчета, а результат — сродни тому, что достигается при счете до ста с закрытыми глазами. (Вот почему «Очаровательное захолустье» Валерия Попова, повесть, «внешность» у которой «органичная», а суть — планирование и расчет, — вещь столь же нечитабельная, как какой-нибудь «рассудательный» филологический роман, в котором ничего не происходит.)

Типичные черты «филологической прозы» выглядят примерно так. Эмпирическая реальность критику, пишущему в реалистической манере, сама по себе видится неполной, что ли, недостойной самой себя. Без умственных спекуляций она кажется голой, без философического «занудства» — ничтожной, собственная, как и всякая вообще «органика», «умному» писателю кажется постыдным атавизмом, который культура должна «преодолевать». Поэтому если по форме вещь совпадает с романом, то непременно наличествует утяжеленный культурный слой, подчиняющий себе эмпирические реалии и являющийся, по сути, философским трактатом, в качестве средств выражения мысли использующим не понятия, а образы.

Многие из таких авторов благодаря своей квалификации заранее понимают, что их «мессидж» в такой громоздкой форме не нуждается, а форма романа требует иного наполнения, поэтому их произведение будет проигрывать романам «органичным», к соревнованию с которыми его обяжет омонимичность формы. Поэтому так распространилось явление «подмены» романа каким-нибудь формальным «эквивалентом», кажущимся автору таковым именно потому, что прозаик в нем подчинен критику: «идея романа», «предисловие к роману», «план романа», ряд фрагментов полнокровной прозы, скрепленных поясняющими связками, и т.д.

Надо сказать, что по манере «филологическая проза» вполне «реалистична»: на уровне присутствующей в ней эмпирики и манеры изложения никакого сюр- или гиперреалистического полета фантазии, никаких «потоков сознания» и «измененных состояний» у авторов не наблюдается. И так же, как у романтических натуралистов, выдаваемых своими теоретиками за адептов последнего «большого стиля», это проза модернистическая по сути, предлагающая субъективные модели мира, укорененные в ограниченном собой сознании, определяющем бытие. Искомого синтеза, снимающего противоречие бытия и сознания в их полнокровном равенстве и единстве, ни то, ни другое «крыло» сегодняшней литературы, использующее «реалистический прием», не дало.

Интересно здесь то, что реалистическая форма у тех и других уживается с индивидуалистическим содержанием вполне нормально, противоречия не ощущается — дело, наверное, в том, что реалистическая деталь универсальна и не противоречит, в принципе, никакому содержанию. Ощущается, однако, содержатель-

ная ограниченность и натуралистического, и филологического «реализмов», острая нехватка в их «продуктах» именно правды — при полной искренности авторов. Дело не в том, что люди врут, а в том, о чем они по разным причинам умалчивают. В том, чего их человеческое сознание и писательская манера по разным причинам «не схватывают».

«Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что бывшие открытия превратились в мелкообщедоступные, механизированные приемы. Почти все эти книги ничтожны. (...) Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно открыть окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского кабулы, чтобы ощутить, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке».

Это из фрагмента LIV «Комментариев» Георгия Адамовича — публиковавшихся с 1923 по 1971 год в разных журналах и альманахах русской эмиграции небольших концептуальных откликов на различные информационные поводы, в основном — в «метрополии». Литература, как ему казалось, возможна только там, в родной ментальной и языковой среде, поскольку, как считал этот критик, без «пафоса общности», которого лишена диаспора, хотя бы и наделенная в отличие от «метрополии» безграничной «свободой творчества», литература бесплодна, сколько бы отдельных хороших писателей в ней ни существовало. То есть эмиграция — это одна из ситуаций ограниченности, в которой при наличии писателей отсутствует литература.

«Внутренняя эмиграция» каждого из «крыльев» сегодняшней литературы дает похожий результат: сильные авторы есть в каждом, литературная жизнь бьет ключом, литературный быт процветает, а литература «порхает».

Лягушки и жуки

На мой взгляд, лучший роман прошедшего года вышел в серии «Оригинал» издательства «Олма», благополучно почившей сразу после того, как проект «разогнался» и начал наконец набирать ожидаемую высоту — издавать и достойно оплачивать действительно первоклассные вещи, коих на все количество вышедшего в этой серии — примерно треть. Это хороший процент.

Лидер, о котором я говорю, — «Земля безводная» Александра Скоробогатова, выпускника Литературного института, десять лет живущего в Бельгии, но «пафоса общности» не утратившего. Думается, что географический фактор в принадлежности литературы тому или иному «крылу» — один из маловажных. Во всяком случае, никак не получается отнести «первую книгу автора на русском языке» к «эмигрантскому» «крылу» нашей литературы, опираясь на этот фактор.

В русской литературе уже был такой пример продуктивного синтеза традиционного и популярного жанров: более века назад философское наполнение преобразило детектив. Теперь настолько же продуктивным оказался синтез триллера — новейшего жанра популярной западной литературы — и романа воспитания, традиционного жанра европейской философской прозы, обретшего второе рождение в русской традиции. Перерождение детектива в триллер произошло благодаря значительному сгущению концентрации событий, относимых к категории ужасного, на единицу романного пространства-времени при том, что такая концентрация выглядит органичной — иначе эффект был бы комическим. Социологам стоит подумать о выводах, которые могут следовать из этого факта.

Генезис романа, его происхождение и отталкивание от романов Достоевского проследить нетрудно. Главных героев двое, повествование от первого лица

поделено между ними. Начинает предисловием в полторы страницы один, продолжает другой, и это становится заметно только в середине романа — там, где повествование снова переходит к первому герою и мы узнаем, как другого зовут, тогда как первый до конца остается без имени — будем называть его «двойник».

Герои — бывшие друзья, оба — выходцы из России, обосновавшиеся в Европе, похожие друг на друга каким-то неявным сходством, которое теряется при взгляде на более пристальном. Так похожи непохожие один на другого китайцы в европеоидной среде, так отличаются от массы европейцев люди русского происхождения и от массы русских в «метрополии» — эмигранты, много лет не навещавшие Россию и вдруг приехавшие по делам. Мотивированное таким образом, двойничество оказывается ненамерочным, нефилологическим.

Несомненное сходство героев — в их естественной совестливости, особой углубленной вдумчивости, обычно являющейся результатом редкой, красивой, но опасной для носителя, заставляющей «искать неприятностей» выделки души, которую дает человеку причастие великой русской литературе. Если герой с именем попадает в беду волей судьбы, то двойник, получивший свидетельство невиновности героя и имеющий все основания свидетельству в отличие от доказательств не верить, просто не может не попытаться помочь выяснению правды — и попадает в ту же беду по собственной воле, хорошо понимая, что делает, но не имея внутренней возможности отступления.

В философском плане этот роман — доказательство абсолютной ошибочности тезиса «красота спасет мир». Красота имеет свойство притягивать и задерживать. Она губит мир равнодушно и последовательно, иногда просто отвлекая от ужаса, скрытого в лучах ее сияния, утешая, умиротворяя и задерживая на тот самый миг, в который еще можно спастись.

На высшем своем представительском уровне — там, где она покоится в кристаллах, — красота губит мир, оставаясь незыблемой: люди в романе гибнут один за другим из-за алмазов, алмазы же продолжают посверкивать отовсюду. Собираясь в плеяды в отведенных для этого местах — на светских приемах, в дорогих ресторанах, — они создают особую, влекущую, эротически-гипнотическую атмосферу, в которой ужас гибели сливается с восторгом.

Там же, где красота с живым миром нерасторжимо слита — в людях, например, — красота губит мир и гибнет вместе с ним. Три части романа названы именами юных красавиц, вокруг которых «закручивается» сюжет каждой части. Все три имени — с символической «подкладкой» от русской литературной традиции: Лиза, Анна и Настя. Первые два имени фиктивные, ими называются проститутки с прекрасными актерскими данными — Россия богата и красавицами, и талантами, — подсланные к героям от мира кристаллизованной красоты.

«Лиза» играет перед ним благовоспитанную девушку из хорошей семьи. Душевно усохший в прагматичной европейской жизни герой увлекается ею за минуты «случайного» знакомства именно благодаря тому, что сыгранная в традициях школы Станиславского духовная красота окружает светящейся аурой физическую привлекательность девушки.

По адресу другой убитой проститутки, Анны является двойник героя, прочитавший его «дневник Печорина» и бросившийся «в порядке бреда» по его следам в Москву, не зная, чему верить: дневнику героя или его саморазоблачению и полицейской версии, свидетельству — или доказательству.

По обратному адресу письма от мертвой к этому времени девушки сидящему в бельгийской тюрьме герою и явился двойник. Открыла ему дверь актриса той же «школы», что и «Лиза», сыгравшая убитую Анну, как если бы она была жива, и в конце эпизода с двойником повешенная — или повесившаяся — на его шарфе.

Настей звали смуглую — «цветную» — женщину, назначенную «Ради Бога» — официальная формулировка европейского правосудия — в адвокаты герою, решившему оговорить себя и спрятаться в тюрьму от мира губительной красоты. Русское имя ей досталось случайно — мать читала в роддоме роман — при полном безразличии отца, мечтавшего о сыне, ко всему, что касается дочери.

Настя связывает героя с его двойником мертвым узлом: оба увлечены ею, из-за ее исчезновения двойник и летит в Москву — есть ситуации, когда нужно как можно энергичнее двигаться, чтобы не сойти с ума. Кем-то из них, героем или

двойником, несмотря на свое замужество и материнство, увлечена она — это видно из ее письма неизвестно кому непонятно о ком, оставленного на столе в своей опустевшей комнате, где несколько дней ждет ее появления двойник, прежде чем отчаяться и улететь в Москву.

Все красивые женщины — других в романе нет — гибнут, сначала духовно, потом физически. Духовно — обыденно и незаметно, совершая маленькие и большие повседневные предательства; физически — мучительно и безобразно. Красота мира предлагает им массу соблазнов, от которых они не имеют сил отказаться, поскольку им, кем-то когда-то преданным, опущенным на уровень вещей — с Настей это делают отношение к ней отца и ее расовая неполноценность, — нечего этим соблазнам противопоставить. Таким противопоставлением может быть только безусловный, немедленно срабатывающий в критических условиях рефлекс защиты и поддержки друг друга, которого лишены современные люди. Красота естественно притягивает к женщинам бессмысленное мировое зло: эпизод с попыткой изнасилования жены героя на испанском пляже как раз об этом. Если «Лиза», Анна, Лжеанна и Настя, как центральные героини сюжета, погибают неизбежно, то жену героя губит то ли леность, то ли жадность: приехав продать дом, она почему-то остается в нем и живет с приятелем. Там их однажды пытаются и убивают за кристаллы красоты.

Внешний сюжет предлагает версию причины, по которой все гибнут: в этой лжекомандировке герой с самого начала был «подставлен» фирмой, в которую его, художника, за тем и взяли на высокооплачиваемую должность, чтобы использовать в качестве лоха-курьера и уволить за подстроенную потерю деловых бумаг. Сам того не зная, он должен был вместо подписанных бумаг и вместо мертвой головы — или вместе с головой — привезти в Бельгию контрабандные бриллианты. Бриллианты кто-то похитил в какой-то точке этого пути, «подставив» героя еще раз — на этот раз вместе со всеми, с кем он когда-нибудь соприкоснулся.

В символическом плане развертывается свой сюжет: роман полемически перекликается прежде всего с «Книгой Иова». Героя зовут Виктор Ивлев — вариант фамилии Иовлев, имя, без сомнения, «говорящее» — и в то же время ненарочитое, обыкновенное. Этот Победитель Иов, как ветхозаветный Иаков, сразился с каким-то злокозненным богом и погиб, оставшись победителем. Он победил глумящегося над ним бога, убивающего дорогих ему людей, тем, что «вышел из игры», поняв ее логику. Он сделал алогичный, единственно спасительный ход — оговорил себя, признавшись в убийстве, которого в материальном мире не совершал. На самом деле он признался в духовном убийстве, которое совершил: «Лиза» погибла пусть не по его воле, но по его вине — он не устоял перед соблазном ее красоты, хотя и не коснулся ее тела: кто посмотрел на женщину с вождением...

Главная особенность этого романа в том, что насыщенные и ясно прочитываемые философский и символический планы нигде не «пережимают» плана реальности. Как при такой концентрации культурных аллюзий роман не становится филологическим — «развинтить» хочется именно этот теоретический сюжет, в котором двойничество не становится ходячим, библейские образы хоть и безошибочно, но лишь угадываются в живых, полнокровных героях, кроме аллюзий к Достоевскому, удивляет уместностью и элегантностью отсылка к Пушкину: в тонкий план повествования вплетена симметрия душевных движений — разумеется, сниженный вариант, в эпизодах с настоящей Анной до ее гибели, — определяющая композицию «Капитанской дочки».

Проблема «литературности» этого текста с огромной нагрузкой неэмпирических планов снимается уравниванием любой детали этих планов чем-то безошибочно «подсмотренным» в эмпирическом мире или человеческой душе, каким-нибудь точнейшим наблюдением, исчерпывающе объясняющим и «заземляющим» появление этой детали. Читатель нигде не оступится во «вторичное» — он войдет туда сам, если захочет, по хорошо замаскированным, естественно вписанным в природный пейзаж дорожкам: *«Тем очень давним, ярким, радостным, солнечным днем, до краев наполненным изумрудным, как наполнена изумрудным, если смотреть через нее на солнце, горячая капля росы, стекающая по шершавой с исподу травинке, нас было у озера четверо».*

В этот день один из мальчишек спровоцировал героя, не умевшего плавать, прыгнуть в озеро с вышки, а другой, единственный из четверых умевший плавать, нырнул за ним и вытащил за волосы. Захлебываясь, герой непонятно как поймал рыбку из стайки, проплывшей перед его закатывающимися глазами. Отпущенная из разжато уже на берегу кулака рыбка не ожила — второго чуда не произошло. Спасший его мальчик вырос — и попал в отчасти симметричную ситуацию: падающий со строительных лесов человек в падении схватился за рукав его пиджака, он выжил в отличие от виновника своей беды, но стал эпилептиком. Умер же он от отсутствия необходимой человеческой поддержки: поссорившаяся с ним жена не подошла, слыша, что у него приступ, и он задохнулся. Здесь можно вспомнить эпизод на испанском пляже, он произошел в симметричный момент: герой поссорился с женой, ушел далеко вперед — но услышал ее крик и бегом вернулся, изнасилования не произошло. Так неуклонно, систематично разворачиваясь, пружина бессмысленного мирового зла пробуксовывает только там, где ей противостоит сознательно творимое добро, и «нетворение» этого добра с равной саморазвертыванию зла неустанной систематичностью дает злу огромную фору. Изумруд в голове бриллиантовой саламандры — булавки в галстук человека, принятого двойником за «седоволосого, донельзя традиционного, правильного на все сто процентов» европейского обывателя, случайно посаженного за его столик в переполненном ресторане, — вершина иерархии этой разлитой в мире изумрудности, попавшей на траву, росу, панцирь жука, — невозмутимой свидетельницы и пособницы творимого в ее присутствии ужаса. *«Косые лучи заходящего солнца...»*

Еще одно достоинство этого романа, вводящее в обиход высокой литературы новый «низкий» жанр, — беспрецедентная диалогичность отношений автора с читателем. Проявляется она прежде всего в открытости всех — промежуточных и окончательного — финалов. Всякий эпизод оканчивается так, что вариантов его трактовки как минимум два, а правила поведения читателя в этой ситуации даны на страницах самой книги: *«Она оглянулась на открытую дверь»*.

— *Это какой-то абсурд... Господи. Это ни на что не похоже. Ну пожалуйста, я прошу вас, скажите мне, что о вас думать?!*

— *Думайте что хотите».*

Думайте что хотите, читатель. Можете вовсе не думать, а просто бежать по сюжетной поверхности — как хотите. Вы свободны. Вам нигде не придется спастись от авторского рассуждательства, перелистывая непрочитанные страницы, или усмешкой отделяться от тяжеловесной морали, которую автор хотел бы на вас навалить. Все необходимое «занудство» заложено в комбинации жестов, в их символическую «подсветку», в двусмысленные — буквально — мини-сюжеты. Можно считать, что Настя увлечена двойником, как он сам это решил, найдя ее письмо, в котором опоздание на полчаса — единственная характеристика того, о ком в том письме говорится. Но и герой-подзащитный, опоздав в другой главе на те же полчаса, застает ее за написанием письма — вполне возможно, того самого. Можно считать, что Настя оказалась на фото рядом с седым господином с изумрудно-бриллиантовой саламандрой на галстук и так страшно погибла безо всякой вины — из-за того, что двойник за ресторанным столиком в Москве проговорился о том, что знаком с адвокатом Ивлева, как раз этому самому господину, которого принял за образцового европейского обывателя, случайно посаженного за его столик по причине отсутствия мест в ресторане. Но можно вспомнить кольца на ее пальцах, ее увлечение кем-то, кто опоздал на полчаса, — то есть предательство мужа; можно вспомнить нарушение данному герою обещания не показывать его дневник никому — то же самое маленькое предательство человека человеком, делающее всех уязвимыми и беспомощными. Можно осознать детали как указания на то, что она тоже подослана и гибнет по общей для большинства смертей в этом романе причине: теперь ее очередь быть заподозренной в сокрытии привезенных Ивлевым бриллиантов, пытаемой, убиенной...

Читателю приходится рассуждать самому — либо оставаться в дураках, что неприятно, потому что интересно же связать концы с концами. А они никак не свяжутся, если не найти ключа к ошарашивающим своей неожиданностью развязкам, причем одного ко всем. Ключ этот — в детском воспоминании Ивлева, попадающем не в бровь, а в глаз любому человеку, пережившему похожий опыт.

«Быстро устав от сложного однообразия сбора ягод (или грибов), я начал развлекаться как мог.

В траве, на влажном мху, была масса быстрых, миниатюрных лягушек, серовато-коричневых, поджарых, рассыпающихся под ногами в стороны, шуршащих травой, листьями.

Кроме того, было особенно много в лесу и каких-то крупных, изумрудно-фиолетовых толстопанцирных рогатых жуков, десятками тонувших в ничейных стеклянных банках, непонятно кем и зачем с весны оставленных под березами, — дохлые лежали на дне, живые упорно шевелили лапками на поверхности дождевой воды, заполнявшей банки.

Брать этих — заманчивых своим цветом и величиной — жуков в руки было неприятно: они тут же начинали выбираться, безостановочно двигали своими жесткими, остро-шершавыми лапками. Но особенно мерзко было сжимать их в кулаке, потому что тогда движения их передних лапок, вооруженных какими-то остренькими шпорками, становились особенно настойчивы и почти болезненны.

Поймав лягушку, я — со странным чувством удовольствия и одновременно чудовищного отвращения перед своим поступком и удовольствием — всунул ей в рот жука, который уже сам по себе прополз в лягушечье брюшко, прокладывая путь железными, острыми, неутомимыми ножками.

Я бросил лягушку — та прыгнула, слабо, недалеко, повалилась на бок, задвигала лапками, выровнялась, снова прыгнула; как ни раскаивался, я уже не мог ничего изменить».

Можно не читать жука, притягательного цветом и величиной, тут же выбирающегося из сжатого кулака, как метафору драгоценного камня; а лягушку, которой этот жук влез в рот сам, стоило только поднести их друг к другу, как метафору соблазняемой души, если не хочется. И без того потрясает.

Причастие мировому злу, бессмысленному и бесцельному, переживает в детстве почти каждый, в присущей всем детям бездумной жестокости отрывая, например, мухе крылья или сильные ноги кузнечнику, пуская покалеченное существо ползти — и вдруг задумываясь о его дальнейшей судьбе. И на всю жизнь сохраняя в памяти возникшую в этот момент эмоцию, «лакмусовую бумажку» своего отношения к произошедшему — знание о том, зол ты или добр по своей индивидуальной природе, поступишь ли когда-нибудь еще подобным образом или всегда будешь содрогаться при воспоминании о содеянном.

Самое страшное, что это уже не имеет значения: зло, совершенное однажды — пусть даже ты всего лишь из шалости и любопытства неверно сочленил нейтральные детали мира, а дальше все происходило без тебя, — уже затронуло твою судьбу. Ты поднес этого жука к своему рту, и он в тебя забрался: теперь ты будешь прыгать криво и мучиться. «Как я в свое время развлекался причинением боли, получая бесовское наслаждение от страдания живого существа, — так вполне можно было допустить вероятность того, что и кто-то другой играет в ту же игру, наслаждаясь болью, развлекаясь кровью, используя вместо жуков и лягушек людей. Наблюдая за копошением на влажном мху, следя за прыжками в траве. Я так и представлял свою роль в этой игре: проглотить жука, покопощиться, посуетиться, сойти с ума от страха и напряжения на радость игрокам».

Двойник тоже рассказывает о своем вступлении в «игру», рассказывает как бы нечаянно в эпизоде, где бельгийский эквивалент ОМОНа производит его «захват» с избиением, приняв за якобы бежавшего из тюрьмы Ивлева, на самом деле бывшего на приеме в суде: «Я никогда в жизни не совершал ничего противозаконного, во всяком случае, ничего, что могло бы оправдать такого рода арест. Случалось, что переходил улицу на красный свет; случалось, что не платил в автобусе за проезд. В детстве я похитил у друга почтовую марку из Бурунди».

Не осознавая описываемого как реальности, разворачивающейся по собственной логике и проникающей из прошлого в настоящее, а также думая, что иронично сопряженные им в рассуждении наказание и преступления несоизмеримы, двойник увлекается и рассказывает в подробностях о похищении марки — таком же бездумном, как у героя, и таком же эмоционально насыщенном причастии злу. Двойник слеп, как виденный в Москве героем вороненок с фиолетовыми бельмами глаз. Так заснет всякое живое существо, засмотревшееся на гипнотический свет красоты, что запретил себе прозревший Победитель: я довольно быстро разобрался с этими метафорами — и принял единственно верное решение. Если хочешь сохранить глаза, не смотри, дурак, на солнце.

Случай с маркой и бездумным предательством друга рифмуется с другой «кражей», которую двойник сам себе не смог объяснить: встретив Лжеанну, с таким мастерством принявшую его за Виктора Ивлева, он, ошарашенный, поскольку знал, что девушка мертва, засмотрелся на ее красоту — и неожиданно для себя с таким же, как она, мастерством сыграл роль Виктора, приняв все предназначенные тому «подарки» — собственно, роль только того и требовала. Эта история тоже «раздвоена»: двойник не может вспомнить, называла ли она его Виктором, когда дарила себя. О том, что она была подослана и «убрана», говорит ему факт неотличия двойника от подлинника, вроде бы невероятный в сложившейся ситуации. И все-таки вполне возможно, что в комнате погибшей Анны поселилась другая проститутка, тоже скрывающая, что у нее есть ребенок от кого-то, кому написала письмо. Она увидела в пришедшем человеке другого, к которому привязалась и которого ждала, благодаря невяному сходству всех когда-то уехавших из России людей и присущей юности способности мифологизировать образ подзабытого на самом деле человека, когда-то вызвавшего «бурю чувств», — и повесилась на его шарфе, когда пришла с ночной работы, а его не оказалось дома, хотя он обещал ее дождаться.

То человеческое тепло, которое нечаянно возникло между Лжевиктором и Лжеанной, — единственное, что здесь было не «лже» и в этом случае могло человека спасти, причем дважды: можно было проявить решимость и не отпустить девушку на работу; потом можно было не так долго колебаться, развезжая по Москве в такси и раздумывая, его ли эта старая как мир история и должен ли он спасти эту заблудшую душу.

То, что ключ к разгадкам всех коллизий и финалов — в этих детских воспоминаниях, где кто-то нашалил, кто-то кому-то помог, а кто-то кого-то предал, делает «Землю безводную» романом воспитания. Но зачем все так неназидательно, почему акцентируется, что в детстве все делается людьми бездумно и вмешаться в это в каждом отдельном случае нельзя? И зачем в эпизоде с утопающим мальчиком дальнейшие судьбы четверых его друзей изложены в стилистике досье? Потому что именно здесь обнажается абсолютное единство мира во всех его измерениях: пространственно-временном, природно-культурном, рационально-иррациональном, материально-духовном — и непрерывное действие его целостного механизма. При таком обнажении сразу же видна причина сбоев: действие одной полярной силы не встречает столь же систематического противодействия другой, за которую ответственны мы, люди, наделенные разумом, дающим нам вторую после утраченной веры возможность не ошибиться в выборе поступка, и обязанные этот дар оправдывать. Если вера — дело добровольное, то думать мы обязаны, поскольку эта способность и ответственность за нее отличают людей от животных. Возможно, детское причастие злу — та самая точка, с которой эти способность и ответственность берет начало.

Если

Роман Александра Скоробогатова затрагивает традиционные вопросы русской литературы, как мне кажется, с той деликатностью, с какой это делали те ее представители, благодаря которым она считается великой. Христианская проповедь о непоклонении тельцу и любви к ближнему, к которой восходит ее «мессидж», звучит на языке перешедших говорящих реалий на удивление чисто. Автору не понадобилось ни малейшей натяжки, чтобы слить современную форму и традиционное содержание. Новейший материал, современнейшие коллизии, смелость в выборе жанра традиционному глубинному наполнению тут ничуть не противоречат, а, напротив, складываются в новый синтез.

По-моему, главная особенность хорошей прозы — равновесие уровней, позволяющее не рассуждать, на каком «крыле» вдруг высоко взлетела литература, доставляющая читателю удовольствие ощущения мира объемным. Это то соотношение символического и органичного в слове, которое в жизни помогает человеку преодолеть тупик ограниченности материальной реальностью, порождающий экзистенциальную тоску. И это то именно свойство литературы, которое с каких-то пор кажется утерянным крупной формой художественной прозы и которое может — и должно — противостоять ее окончательному слиянию с качественной беллетристической, давно произошедшему на Западе и набирающему обороты у нас стараниями

циничных интеллектуалов и силами больших именитых и маленьких прятких издательств. Сам по себе этот процесс ассимиляции беллетристической прозы и его результат — исчезновение прозы и повышение качественного уровня беллетристики — не неизбежен только при одном условии: если великая русская литература — не миф.

Во фрагменте LXVIII «Комментариев» Георгий Адамович описывает свою случайную встречу в кафе Ниццы с Андре Жидом, с которым не был знаком, но читал его одобрительный отзыв о себе, почему и решился подойти. *«Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе людей, которые все понимают, даже и то, что должно было бы им быть чуждо, а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал. (...) Я слушал его, и мне хотелось спросить: «Как может случиться, что вы, Андре Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая, во всяком случае, на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?» (...) Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в какой-то одной плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей дара этого наделен».*

А если русская литература — миф, если Пушкин вышел в гении простым расчетом и оборотистостью, если Толстой и Достоевский ничего особенного о человечестве не сказали — что ж, тогда я — двойник мадам Кусковой, писавшей Карлу Марксу письма с вопросами: а вдруг Россия может обойтись без пролетаризации? Ведь у нее есть «мир», крестьянская община, укорененная в «православном социализме»! И, потрясенный открывшимися обстоятельствами, Маркс отвечал: тогда, наверное, и правда может.

Иван Дзюба

Свобода и неволя Бориса Чичибабина

«Я был вправдашним поэтом»

9 января 2003 года Борису Чичибабину исполнилось бы 80 лет.

Прошло шесть лет с тех пор, как он ушел из жизни, но именно за эти годы он уверенно и триумфально вошел в поэзию: ряд заботливо и любовно подготовленных изданий его книг сделал его имя известным и уважаемым среди читателей как в Украине, так и в России. А еще не так давно, в эпоху «гласности», он с горьковатой иронией писал:

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

И даже в 1991-м: «...на поэтической бирже/ моя популярность тиха». Или еще печальнее:

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

.....
И кровь, и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней —
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

И вот уже доходят до нас его стихи «пролонгированного действия», уже долетает его глубокое дыхание, и появляется все больше его друзей, а заодно и новых недругов, иногда неожиданных. О нем много пишут и говорят (ежегодно проходят «чичибабинские чтения» в Харькове), и ему уже никуда не деться от диссертаций, которые защищаются «по нему». Но мне кажется, что познанию его особенно много дали три тома («Раннее и позднее», «В стихах и прозе» и «Письма»), выпущенные в минувшем году харьковским издательством «Фолио», проявившим свое понимание и значения поэта, и — одновременно — собственной миссии. Это могло состояться благодаря неустанной заботе Лилии Семеновны Карась-Чичибабиной, Богом данной Музы поэта, образ которой он воплотил в своих лирических жемчужинах. Не о том ли его слова: «Я Господом Богом навек

обречен/ Тревожить и мучить Тебя... Покойники в землю уходят, а я/ В тебя после смерти уйду...»?

После выхода этих трех книг можно говорить о Борисе Чичибабине как об одном из величайших — после Гоголя и Короленко — посланцев Украины в русскую литературу. Мне могут возразить, что в отличие от Гоголя и Короленко Чичибабин не был этническим украинцем. Но ведь и сам Чичибабин знал, что говорил:

С Украиной в крови я живу на земле Украины,
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.

Теперь можем сказать: не «шалашу», а парадной горнице.

Но вернемся к чичибабинскому трехкнижию. Оно впервые показало истинный масштаб поэта, представить который трудно было даже тем, кто давно знал, что Чичибабин — один из самых крупных русских поэтов второй половины XX века. Оно же показало, что Чичибабин шире, сложнее и, при всей своей цельности и последовательности, противоречивее, чем тот образ, который сложился на основе публикаций последнего десятилетия его жизни, — образ просветленного духовным опытом гражданина и мыслителя в поэзии, эмоционально богатого, но этически строгого. Он такой, но он и шире, а в чем-то и другой. И его — как всякую крупную личность — нужно видеть в становлении, в самосозидании, которое продолжалось у него до последнего дня.

Можно условно обозначить несколько этапов его самосозидания — или «ступенек» на пути к самому себе.

Первый — юношеский, солдатско-студенческий. 18-летним пареньком в конце 1941 года он был мобилизован в армию, служил в частях Закавказского военного округа, в 1945-м, демобилизованный по состоянию здоровья, поступил на филологический факультет Харьковского университета; писать начал в 1942 году. Не знаю, быть может, среди стихов этого периода (1942—1946) были и слабые, и неумелые, может быть, потерялось и развеялось «ненастоящее», может, составители и редакторы отобрали лучшее — но из того, что опубликовано, создается впечатление, что у Чичибабина не было периода ученичества, что уже в ту юношескую пору он обладал уверенным собственным голосом. И никакого инфантилизма. Можно по-доброму улыбнуться, услышав из уст этого юнца наивную похвальбу собственной бывалостью:

Много в жизни я странствовал,
Много весен прожил,
И трудился, и пьянствовал,
И солдатом служил.

А «весен» этих — всего-то двадцать с хвостиком, а «странствий» — передвижение с армией по Закавказью, а «пьянства» — в пределах солдатской казармы или студенческого общежития. Однако иллюзию опыта и зрелости, по-видимому, давало ему книжное зелье — из позднейших признаний самого Чичибабина мы узнаем, что книги с малых лет компенсировали ему недостаток отцовской заботы, а потом и серость солдатского, зэковского, служебного быта. В его стихах раннего периода чувствуется книжная выучка: хорошая дисциплина письма, культурный антураж, традиционное причащение к экзотике Кавказа, со всей юношеской серьезностью сбалансированное ностальгией по «русским выюгам», с привкусом нехитрой молодецки-солдатской бравады: «Затянуться крепким самосадом, / В матерщине душу отвести». И внезапно — трогательная естественность первой романтической любви:

С того ль, что явилась ты славы случайней,
с того ль, что покамест в глазах не темно,
ни людям, ни далям, ни счастью, ни тайне
тебя у меня отобрать не дано?

С всегдашним наивнейшим призывом:

... Это я, Неизвестный.
 Пусть новым Петраркой мне в жизни не быть,
 я — юный и гордый, я — чуткий и честный,
 попробуй за это меня полюбить.

Интересно, что уже в тот юношеский период возникает мотив, который не смолкнет в его поэзии полстолетия:

Украина — Укрѣина, —
 Полевые цветы, —
 Я такой же отчаянный,
 Я — такой же, как ты.

И запомним его самоотжествление с «казак-непоседаю, озорным кобзарем». Оно не случайно, а «озорной кобзарь» — это что-то совсем неожиданное в кобзарском иконостасе, даже в бажановских «Слепцах» такой разновидности кобзаря не обнаруживается...

И еще одно — в ранних стихотворениях уже ощущается «упоение» ритмомелодической стихией и игрой в ситуационно самовозникающие рифмы («спросонышка—солнышко», «каково тебе — оттепель», «весь тот — деспот», «право так — проводах», «обнявши ночи ствол — одиночеством» и т.д.), которые, как у Маяковского (а им Чичибабин увлекался в юности), часто подталкивали воображение, выстраивали поэтическую фразу, в чем поэт сам признавался: «И в строки странные слагаются/ мои случайные слова». «Случайные» — это, конечно, условно; это означает — самопроизвольные, самопроизнесенные, подбрасываемые неконтролируемым вдохновением, это, возможно, то, что позднее Чичибабин противопоставит подконтрольности как непоэзии...

Трудно сказать, что питало бы поэтический талант Чичибабина в дальнейшем, если бы не событие, круто переломившее его жизнь (хотя — странным образом — мало повлиявшее на его внутренний мир). В 1946 году его, студента первого курса, арестовали по обвинению в антисоветской агитации и присудили к пяти годам заключения. В своих автобиографиях и интервью Борис Алексеевич всегда подчеркивал: он так и не понял, за что его посадили, наверное, за какие-то разговоры или невинные стихи. Может быть, «органы» выполняли разнарядку. Во всяком случае, юноша не чувствовал за собой какой-либо политической вины перед советской властью, и этот момент самоотстранения очень важен для понимания всей будущей судьбы и творческого образа поэта. Позднее в стихотворении «Гармония» он попытается подвести черту под этим прошлым:

Сказать ли пару слов об органах?
 Я тоже был в числе обогланных,
 сидел в тюрьме, ишачил в лагере,
 по мне глаза девичьи плакали.

Но, революцией обучен,
 смотрел в глаза ей, не мигая,
 не усомнился в нашем будущем
 и настоящего не хаял.

А еще в лагере у него рождается, к примеру, такое:

Чтоб в каждом доме было чудо и смех,
 пусть мне одному будет худо за всех.

И всегда о бедах других людей, а не о своих.

Если не брать в расчет тяжести жизни в неволе, пять лет лагерей как будто и не затронули его отстраненной от случайных обстоятельств духовной сущности и почти не отразились ни в поэзии, ни в воспоминаниях. Редкий и поразительный

случай, но это можно понять. Борис Чичибабин живет не своей судьбой, а собой. И не реальным собой, а воображаемым, который лишь постепенно становится истинным. И только со временем прожитое и пережитое обернется мудростью и станет частью его личности, а не хаосом случайных обстоятельств.

Тем не менее среди многочисленных лагерных стихов-рефлексий (стимулом для которых по большей части была природа, этот «фон» ежедневного бытия, а также вольно дофантазированные воспоминания о романтических приключениях на свободе) есть истинно драматичные: и из первых дней заключения — «Кончусь, останусь жив ли» и «Махорка» (1946), которые можно отнести к «лагерной классике», и помеченное 1951 годом едва ли не единственное во всем наследии поэта стихотворение, написанное белым стихом. И это уже та высокая поэзия, в которой просматривается будущий, поздний, «итоговый» Чичибабин: «...эта робость и радость влюбленности первой, и отчаянья очи, и ночи, что начертаны алым на черном, ласки, ссоры, стихи и любимые книги: Сервантес, Рабле и Толстой, Паустовский и Пришвин — это все, что тогда называлось «навекки», все, что было дыханием, вечностью, чудом, все, чем жил я, и все, чему верил, и все, что пронес нерассыпанным через мрак и тоску одиночек, в крови, обливаясь слезами, улыбаясь от счастья, через многие годы и сотни смертей, по этапу, — это все, тебе кажется, зыбко, обманчиво и постепенно улетучится, перегорит, постареет, станет призраком, ужасом, станет усталостью, скукой, — да? Ты думаешь так? Все пройдет, перемелется, канет? Ничего не пройдет. Если кончится, только со мною. Ты, наверно, не знаешь, какая бывает любовь».

Тут «карающий» поворот судьбы предстает как неожиданный внешний усилитель драмы осознания самого себя в постоянно обновляющемся диалоге с искомым женским alter ego.

Кто адресат этого укоризненного объяснения? Та, которую когда-то призывал: «Попробуй за это меня полюбить»? Очередной иллюзорный объект беспредметного романтического порыва? Или вечный идеал поэта, который «материализуется» значительно позднее?

Верить или не верить тем «послелагерным» стихотворениям Чичибабина, в которых он уверяет: «А я не стал ни мстителен, ни грустен», «не страдалец никакой»? Возможно, так оно и было, это соответствует его великодушному характеру и убеждению, что в лагерь он попал по недоразумению и об этом лучше забыть.

А тем временем будущий Чичибабин прячется за жизнерадостными самоимитациями. Отбыв срок и оказавшись на свободе, он словно бы торопится представить себя в разных ипостасях — в различных возможностях и «резервах» своей еще не сформированной личности: он и гуляка, и баламут, и язычник-солнцопоклонник, а иногда и аскет-чернокожничник, он и волокита, и искатель духовных сокровищ, и просто «веселый человек» — хотя не просто, а с оправдывающей хитринкой, что, дескать, «улыбка дуралея стоит грусти мудреца». Есть тут и преувеличенные заявления под влиянием мгновенного азарта: «Мастера, оптимисты, обжоры / Я пожизненно ваш тамада!» — напрасные, ибо не для Чичибабина были какие бы то ни было роли, или позы, или моделирование «лирического героя», он поэт, которому не нужно посредничество «лирического героя». Он идет к читателю напрямую, «такой, как есть, не мал и не велик».

В некоторых стихах этого времени ощущается потребность словно бы оправдаться (хоть и «без вины виноватый»), отринуть от себя подозрения, связанные с зэковским моментом его биографии, уточнить свою гражданскую позицию. Это Чичибабин делает в стихотворении «Мировоззрение» в свойственной ему веселой и даже несколько шутливой манере:

Хоть порой и ропщется,
На душе запенясь,
Никакого общества
Я не отщепенец.

Все мы люди — выходцы
Из гнезда того же —
Целоваться, двигаться,
Умереть попозже.

Не устал мотаться я,
Не ушел от чаши.
Будь рекомендация —
В партию тотчас же.

Все дороги пройдены.
От работы — жарко!
Для друзей и родины
Ничего не жалко.

Некоторые исследователи творчества Чичибабина, очевидно, желая оберечь мистифицированный и модернизированный образ поэта от возможного «компромата», относят это стихотворение к разряду «паровозов» — тех, что должны были «вытягивать» книгу. Но, во-первых, оно из рукописного сборника 1954 года. Во-вторых, Чичибабин, кажется, никогда не прибегал к «откупному». И в-третьих, чтобы подтвердить такое заявление, надо доказать чужеродность этого стихотворения в тогдашнем творчестве поэта. А доказать это невозможно (да и зачем?), наоборот, мотивы «вживания» в действительность (оставим в стороне игру с «рекомендацией») как раз характерны для его поэзии 50-х — начала 60-х годов, а в этой строфе из «Мировоззрения» — его кредо на всю жизнь, хоть и высказано оно специфическим языком 50-х:

Вы мне деньги? Об земь их!
Я ж за власть рабочих.
А, проклятый собственник,
Узнаешь мой почерк?

Это парадокс, но кое-кто сегодня ох как не хочет узнавать этот чичибабинский почерк в его более поздних вещах и в вещах прощальных. Чтобы не «портить» созданный образ... Вот и в 1993-м: «Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня...»

Но пока еще конец 50-х, 60-е. Общество пережило стресс от хрущевского доклада на XX съезде КПСС, короткую «оттепель», новые «заморозки», лихорадочные зигзаги «генеральной линии». Градус возбуждения возрастал, несмотря на все усилия руководства партии не допустить «расшатывания устоев».

Борис Чичибабин принадлежал к той части советской интеллигенции, которая верила в возможность демократического обновления общества, создания такой идейной и моральной атмосферы, которая сделала бы невозможным возврат сталинщины, что воспринималось как главная опасность. Отсюда в его поэзии — а она становится пафосно гражданской и публицистичной — апелляция к социальным и интернациональным идеалам Революции (неизменно с большой буквы) с явственным акцентом на их извращении (в унисон с младшими шестидесятниками: «...главная революция на свете не началась»), и миф «Авроры», и заклинания Лениным как неким спасением от Сталина — ведь Сталин не умер в наших душах:

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадь не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

Конечно, эта риторика звучит некоторым диссонансом обычной тональности чичибабинской поэзии, в которой ширится и усиливается лирико-философская стихия — причастность «природе и земле» и всему сущему, и вечная музыка любви, и вечный разлад с самим собой... Однако говорить, что это случайно и нехарактерно для Чичибабина, означало бы не понимать его эволюции, игнорировать природу его социального чувства, в которой до конца его жизни будут неизменными идеалы социализма, что в конечном итоге выводит его за грани реальной истории.

В 1967 году в харьковском издательстве «Прапор» вышел отдельной книжечкой очерк Бориса Чичибабина о Харьковском тракторном заводе им. Серго Орджоникидзе «Ода тракторному». Пятилетка завода». Вряд ли кто-нибудь сейчас станет его читать, но если прочесть без предубеждения, непредвзято, из интереса к нашей недавней истории, то можно увидеть, что это не заказная ода (хотя это, конечно же, был заказ), а искреннее восторженное слово об одном из величайших чудес индустриального мира, о людях большого рабочего таланта и совестливости.

От этого мира отворачивались те «интеллигенты» (кавычки — чичибабинские), для которых рабочий класс ассоциировался только с казенными агитплакатами и пьянством. Для Чичибабина же это был «океан жизни», и он мучился тем, сможет ли передать хотя бы «сотую частицу того, что увидел, вдохнул в себя, передумал, почувствовал, узнал» на заводе. Можно сказать, что это была ситуативная попытка принять реальность, найти свое место в ней. Но было в этом еще и неизменное, истинно чичибабинское: органичный демократизм, внимание ко всем проявлениям жизни, душевное родство с людьми труда (вспомним его ироничное: «Сторонюсь людей ученых, / Мне простые по душе», хотя его рабочие — далеко не простые, он видит в них талант и культуру, именно такие ему по душе).

Однако параллельно шел и другой процесс — разочарование в надеждах на социальное оздоровление общества. Режим подтверждал свою закостенелость, энергично демонстрировал свою последовательность в деле искоренения свободной мысли и попыток обновления (окончательную ясность внесло удушение «пражской весны»). И хотя Чичибабин все еще убеждает себя:

Жить хочу, трудясь и зубоскаля,
роясь в росах, инеем пыля.
Длись подольше, смена заводская,
свет вечерний, добрые поля, —

но уже и иронизирует над фальшивой официозной канонизацией «героев кукурузы, вождей по молоку» (хотя к труду рабочего и крестьянина относится с уважением и находит для него доброе поэтическое слово), обходит стороной торжище, «где кичатся и лгут книжных княжеств хмельные князья». Он хотел бы отойти от «политики», жить в своем мире каждодневных радостей бытия («Моя подруга варит борщ»), впечатлениями от добрых людей и мудрых зверей («Во мне проснулось сердце эллина. Я вижу сосны, жаб, ежа», оды скворцу, воробью, дельфину, верблюду...), своими увлечениями и стыдливими влюбленностями, своими доверительными беседами с великими поэтами России и мира. Это его мир, но остро и грозно напоминает о себе и мир другой:

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.
.....
Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?

И выходит, что «этой трудной порой нам терять свою совесть нельзя». Свобода поэта — вне политики, но, чтобы утвердиться в своей свободе от политики, приходится идти в рабство к политике и вырабатывать язык независимого гражданина своего времени. Таким вот образом:

Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?
А надо ж кому-нибудь быть...

И он был в ответе, потому что ему было страшно:

Как страшно, что ложь стала воздухом нашим,
которым мы дышим до смертного часа,
а правду услышим — руками замашем,
что нет у нас Бога, коль имя нам масса.

Как страшно, что все мы, хотя и подстражно,
 пьянчуги и воры — и так нам и надо.
 Как страшно друг с другом встречаться. Как страшно
 с травой и небом вражды и разпада.

Как страшно, поверив, что совесть убита,
 блаженно вкушать ядовитые брашна
 и все вымалывать чуда у быта,
 а самое страшное — то, что не страшно.

Чичибабину было страшно оттого, что стали нестрашными и выселение татар, и государственный антисемитизм, и смерть Пастернака, и травля Твардовского. И вполне закономерно, что в разгар борьбы с антисоветчиной дошла очередь и до него. Летом 1973 года его исключили из Союза писателей вместе с Миколой Лукашом, Григорием Кочуром и Василем Боровым. Инкриминировали ему стихи против антисемитизма, об Украине, о Твардовском; исключали, как сам он шутил, за сионизм и украинский буржуазный национализм — по совокупности.

Чичибабин был готов к этому, внутренне он давно вышел из официальной литературы и тогда испытал, как признавался позднее, чувство освобождения: можно быть самим собой, писать без расчета на публикацию. Чичибабин никогда не героизировал свой выбор, а скорее наоборот — профанировал (в бахтинском понимании этого слова):

Я был простой конторской крысой,
 знакомой всем грехам и бедам,
 водяру дул, с вожжами грызся,
 тишком за девочками бегал.

Правда, это более раннее стихотворение, однако:

И все-таки я был поэтом,
 сто тысяч раз я был поэтом,
 я был вправдашним поэтом...

Книжки, появившиеся после почти двадцатилетнего перерыва, триумфально подтвердили этот его высокий статус.

Разговор с миром

Чичибабин — разный. Но существует два измерения его разности. Одно — это когда он в меняющихся ситуациях, под влиянием изменяющихся настроений раскрывается порой противоречивыми сторонами своей души или когда со временем изменяются его литературные увлечения (например, отошел на второй план Маяковский). Второе — это идейные и мировоззренческие изменения в процессе познания бытия и динамики общественного развития. Возможность и даже неизбежность таких принципиальных изменений он считал атрибутом самостоятельной, независимой личности, о чем не раз достаточно четко высказывался: «Политические взгляды человека могут меняться. Говорят же, что каждый нормальный человек — в молодости революционер, а к старости консерватор. Я и сам не зарекаюсь (...) Взгляды, увлечения, суждения с годами изменяются, и мы изменяем им. Пока сами живые, пока не остановились в развитии, в росте, в пути, пока способны, слава Богу, меняться и изменять». Но: «Человек изменяется и поэтому неизбежно изменяет. Он не может изменить Главному, не может изменить совести, Божьей воле (насколько он ее слышит), призванию, не может, не должен изменять себе...» (Борис Чичибабин. Раннее и позднее. Харьков, 2002, с. 186).

Было нечто Главное, что составляло его суть, и сам он определял, что это. Можно конкретизировать и добавить: абсолютный слух на правду, чувство справедливости и плебейскость (так с вызовом элитарным болтунам-современникам он называл свой врожденный демократизм), открытость всем здоровым проявлениям жизни и высочайшая степень социальной солидарности.

Поэзия Чичибабина — широкий и импульсивный разговор с миром. Для него не существует проблемы самовыражения в том смысле, в каком ее канонизировали эгоцентрики и мистификаторы собственной исключительности; он открыт миру таким, каков он есть, а мир открыт ему, и между ними возникают тысячи контактов, они искрят, вспыхивают, дымятся, сгорают, прерываются и снова где-то привариваются... Нет, он не сражается с миром (бессмысленное занятие!), он ведет с ним диалог, извлекая урок не для мира (еще более бессмысленное!), а для себя. И в этом диалоге есть место и радости, и гневу, и боли, и разочарованию. Он не просто обращается к землям, странам и местам, в которых побывал, к друзьям, которых вспоминает, к книгам, которые прочитал, ко всякой живности, которая тянется к человеку или встретилась на пути, — это не тирада, это ответ на то, что он «услышал» от них. Чичибабина везет на таких собеседников, да и им вольготно в его поэзии.

Но самый излюбленный для Бориса Чичибабина способ разговора с миром — это разговор с конкретными людьми, с друзьями, с любимыми предшественниками в литературе. Его обширный поэтический эпистолярный был, возможно, в некотором роде компенсацией нехватки непосредственного общения — Чичибабин часто сетует на малочисленность друзей, отъединенность в быту, ограниченность интеллектуальных контактов, — особенно в некоторые периоды жизни. Но, с другой стороны, сам же он заставляет не принимать эти сетования за чистую монету: столько у него друзей, и пусть не все они рядом, зато какие друзья, какие люди — и знаменитые, и просто близкие ему по духу! Столько он сказал о них такого, что жизнь полнится их (и его!) добротой, красотой человеческого общения. И это самое главное его личное сокровище. Вот, например:

Хвалюсь не языком,
не родом, не державой,
а тем, что я знаком
с Булатом Окуджавой.

(Кстати, еще один пример того, как рифма «ведет» поэта.)

А еще: его особый жанр поэтического обращения к любимым поэтам и писателям — он их глубокий и утонченный интерпретатор. Своим глубоко субъективным и в то же время конгениальным переживанием русской классики XIX столетия и Серебряного века он создал собственный образ, он сделал их частью своего духовного мира, мерилom своей духовной высоты, «гарантом» человечности, обогатив и наши представления о них, призывая всех современников к сопричастности:

И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хоть бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.

Это 1959 год, когда в поэзии он искал силы для духовного протеста, «движения сопротивления». И имя Пастернака — как пароль:

Мне все друзья святы.
Я радуюсь, однако,
учуяв, что и ты
из паствы Пастернака.

Это 1964 год. И так всегда: Мандельштам, Волошин, Ахматова, Цветаева, Твардовский, Маршак... Лермонтов... А больше всего — Пушкин. Пушкин — его бог; за Пушкина простятся перед Богом все грехи России. С таким священным трепетом он говорит разве что иногда еще и о Шевченко. «Тяжело словесности российской, — пишет Чичибабин. — Хороши ее учителя». И благодаря им «в мирозданье... выживет Бог».

Опубликованные сегодня интервью и письма Бориса Чичибабина свидетельствуют о далеко не интуитивном характере его поэтических версий титанов русской

литературы: за его афористичными оценками — безупречное знание текстов, многолетние раздумья, работа аналитической мысли. Эта весомая, впервые полностью обнародованная часть творческого наследия Бориса Чичибабина еще должна стать предметом специальных исследований.

Что любит Борис Чичибабин и чего не любит?

Любит землю, все сущее на ней, любит человека, книгу, дружескую беседу, человеческую солидарность в добре и поиски истины в душевной широте.

Чего не принимает, что не любит? Жестокость, самодовольство, эгоизм, привилегии — социальные, наследственные, житейские, а больше всего — рабство и деспотизм во всех проявлениях, навязывание мыслей, бессмысленные обычаи, рутину...

Основа его духа — глубинное чувство справедливости. Как существуют люди с абсолютным музыкальным слухом, так Чичибабин — поэт с абсолютным чувством справедливости. Именно оно дает ему силу и право на независимое отношение ко многим явлениям жизни, событиям истории, великим личностям в истории и культуре. Нередко он бросает вызов общепринятому мнению.

Именно чувство справедливости направляет его переживания за Россию, Русь, русскую историю, русскую культуру — а это одна из главных тем его поэзии — не в русло самовосхваления и квасного патриотизма, а в русло патриотизма истинного, к честному разговору со своим народом также и о том, что вызывает горечь, а порой и стыд.

Именно это чувство справедливости помогало ему не только понять судьбу, душу, культуру других народов — а это тоже одна из ведущих тем его поэзии, — но и посмотреть на себя, свой народ глазами других народов, с точки зрения других культур (что далеко не всем доступно), а иногда и ощутить вину перед ними, ибо и все мы, люди, виноваты друг перед другом, и народы, нации тоже несут на себе историческую вину друг перед другом. Потому-то в его поэзии рядом с чувством справедливости живет и определяет ее духовный уровень чувство нашей взаимной вины, снимать которую он призывает не сведением счетов и взаимными обвинениями, а покаянием.

Нам, украинцам, Борис Чичибабин близок еще и тем, что ведет свою родословную от днепровской земли. Днепр, Киев, Чернигов, вся Украина — без них невозможно представить его поэзию. Быть может, никто из русских поэтов не сказал об Украине, о Шевченко таких проникновенных слов, как Чичибабин.

Но он — русский поэт. Украина — часть его мира. Сердцевина этого мира — Россия. И требовать, чтобы Украина была для него тем же, чем для Василя Стуса или Лины Костенко, мы не вправе.

Мы можем в чем-то не соглашаться с ним, с чем-то спорить. Он и сам не настаивает на единственности, безапелляционности своей мысли, не требует особого внекритического статуса — ценя свое право мыслить субъективно и независимо, он признает это право и за другими.

Именно это и дает мне основания поговорить о поэзии и публицистике Бориса Алексеевича последних лет, которая пронизана болью, общей для всех нас, поскольку вместо ожидаемого оздоровления и обновления нашего общества в нем возобладала дьявольщина, но есть в постперестроечных выступлениях Чичибабина и такие высказывания по поводу сегодняшней украинско-российской проблематики, с которыми не всегда можно согласиться и которые, на мой взгляд, кое в чем диссонируют с другими его мыслями.

Дымящаяся рана

Я уже говорил, что Борис Чичибабин вслед за Львом Толстым принципиально настаивал на праве человека меняться и менять свои взгляды. Такое право является для него гарантией духовной свободы — при условии верности Главному, своей высокой моральной сущности. Такие изменения могут быть вызваны развитием самой личности или значительными переменами в обществе. Их Чичибабину довелось пережить несколько, и они приводили к заметным изменениям в его мировоззрении.

Романтическая юношеская вера в идеалы социализма, которую не искоренили даже пять лет сталинских лагерей, в условиях развенчания культа Сталина и хрущевской «оттепели» начинает приобретать «ревизионистские» черты, соединяясь с идеалами демократизации и гуманизации общества, однако быстро наступает глубокое разочарование. Поэт освобождается от ощущения публичной миссии, замыкается в себе — и размыкается в мир универсальных идей добра и красоты и жизненной стихии во всем ее разнообразии, время от времени вспыхивая политической лирикой, теперь уже неудержимо протестного характера.

Но наступает середина 80-х, и Чичибабин устремляется из глубин отчаяния к новой надежде. Он, как и большинство лучших представителей советской интеллигенции, становится горячим сторонником перестройки, хотя она и представлялась ему скорее в сахаровском варианте, нежели в варианте Горбачева (которого он тоже уважал и которому посвятил горькое — уже после свержения — стихотворение «Всю ночь думаю о Горбачеве»). Чичибабину кажется, что найден путь переустройства общества, которое только называлось социалистическим, в действительно демократическое, справедливое общество благосостояния и свободы, а еще — и это для Чичибабина очень важно — путь «превращения империи в собратство».

И опять — разочарование. На этот раз особенно тяжкое, подобное личной смертельной обиде. Может быть, оттого, что последнее. Впереди уже не виделось ничего хорошего. Зло пало, но и добро не пришло, мрак кончился, но и свет не наступил, вышли из одного подземелья, попали в другое. Борис Чичибабин становится — и в поэзии, и в публицистике — гневным обличителем бездарной и бесчеловечной капиталистической реставрации:

Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня.
На безликости зорь каменеют черты воровские...

Чичибабин в отчаянии оттого, как быстро вырастает племя ненасытных нуворишей, как возрождаются не только имперские символы, но и имперское мышление, как утверждается культ ненавистных ему Петра I и Столыпина, как стремительно падает общественная мораль, а на трогательный флирт между коммунистами, черносотенцами и Православной Церковью ему просто тошно смотреть.

Поражает его и то, что общество оказалось не готовым к свободе. Люди остались рабами и компенсируют свое рабство расхристанностью и вседозволенностью. Свобода невозможна без культуры, без ответственности. А именно их и недостает. Это — предмет постоянных размышлений Чичибабина в последние годы.

Осознание зависимости свободы от состояния общества, от качества жизни людей связывается для него с другой проблемой — со степенью доходчивости его поэтического слова, — проблемой вроде бы интимно-творческой, а на самом деле драматически-общественной, политической. Он, который неоднократно и на разные лады, можно сказать, бравировал равнодушием к своей популярности, теперь ощутил, что это ему не только далеко небезразлично (скрытый интерес все-таки чувствовался и раньше), но глубоко затрагивает его статус русского поэта с украинскими корнями.

Проследим логику одного из характерных его рассуждений: «Ни одно государство не может быть свободным, если люди, живущие в нем, — рабы. Знаете, в последние годы, которые мы называем теперь застойными, я обрел свободу. Да, меня регулярно вызывали в КГБ, гэбэшники являлись домой. Но я обрел самую главную — внутреннюю свободу. Я был свободен той свободой, которая может быть присуща человеку даже в тюремной камере. И эту свободу у меня никто не мог отнять. Я знал, зачем и для кого я работаю, я знал, что в стране есть прекрасные люди, носители высокой нравственности и духовности. Теперь я опять несвободен. Я не могу оставаться в стороне, когда гибнет культура, когда одна порочная мораль заменяется другой, когда газеты и журналы под угрозой закрытия, когда люди перестают читать книги. Я не могу оставаться безучастным, когда все подвергается уничтожению и осмеянию». (Тут, очевидно, идет речь обо всем так называемом

постсоветском пространстве.) Это — из интервью корреспонденту «Литературной газеты» Ефиму Бершину (1992, № 44).

Бросается в глаза противоречие. Тогда стал свободным — вопреки гнетущим обстоятельствам. Почему же теперь нельзя быть свободным — вопреки другим гнетущим обстоятельствам? Тогда была одна «порочная мораль», теперь — «другая». Какая разница с точки зрения возможности или невозможности свободы? Тогда равнодушие к общественным проблемам могло быть только скрытым, теперь можно высказать свое равнодушие в полной мере, публикуя ранее невозможные для публикации вещи. Возникает парадокс: почему же тогда была внутренняя свобода, а теперь она утрачена? Потому что не можешь молчать, а тогда мог? А может быть, речь идет не о внутренней свободе, а о другой материи? Читаем дальше: «Кем был, тем и остался — русским поэтом. Знаете, меня трудно обвинить в том, что я защитник тех людей, которые меня же и преследовали, или защитник империи. Я сам приложил руку к ее разрушению. Но, видит Бог, не такого разрушения я хотел. Если угодно, я хотел преображения. Я хотел, чтобы новая жизнь выросла из ростков лучшего, что было в нашей прежней жизни. А мы опять все разрушили и пытаемся строить на пустом месте самую бесчеловечную, самую бандитскую разновидность буржуазного государства». Под этими словами Бориса Алексеевича я готов подписаться, я тоже не раз говорил что-то подобное и в то же самое время. Но дальше...

«Раздел страны ради раздела. Я всегда жил в Харькове и никуда из него не уезжал. Но стал человеком без Родины. Потому что моя Родина — это большая страна, по крайней мере та ее часть, что говорит и пишет по-русски. И для этой страны я писал свои стихи. А теперь меня хотят границей отделить от русской культуры, русской литературы».

Вот в чем дело, вот что утрачено! Честное, трагическое и даже опасное заявление. Опасное тем, что с ним могут солидаризироваться (и солидаризируются) те, кому Чичибабин противостоял всю жизнь. Это тезис, вокруг которого объединяются самые противоположные силы.

Для примера приведу один из бесчисленного количества таких голосов: «До боли жаль, как сложилась судьба отечества. Что создавалось веками, ценой *крови, и немалой* (курсив мой. — *ИДз.*), развалилось от кабинетных решений их превосходительств. Тяжело расставание с Казахстаном, а тем более с Украиной. Для меня, рядового россиянина и такого же украинца, разъединение — это жуткая нелепость» (Вл. Никифоров. Записки из подвала. «Новый мир», 1995, № 12).

Похоже, не правда ли? Однако давно известно: когда двое говорят одно и то же — это не одно и то же. И напрасно публицист и ученый, московский украинец в довольно грубой форме походя задевает Чичибабина, проявляя при этом незнание и его творчества, и мировоззрения: «Л. де Йонг говорит, что функции пятой колонны были различными в условиях мирного и военного времени. Функции мирного времени могут быть подытожены одним словом «подрыв». В наши дни стихи недавно умершего Б.Чичибабина «За что я родины лишен?» или, допустим, глумление над украинским языком, без которого не обходится ни один одесский КВН, относятся именно к таким случаям непреднамеренного подрыва — счет им идет на многие тысячи» (Владимир Коваленко. Сосед с камнем за пазухой. В каких случаях национальное меньшинство становится пятой колонной? — «Дружба народов», 1995, № 10).

Это негоже: ставить в один ряд с туповатыми остряками из какого-то КВНа человека с безусловным моральным авторитетом, великого поэта, который всю жизнь противостоял империи, всю жизнь сочувствовал угнетенным народам и угнетенному человеку, столько любви отдал Украине и украинскому языку, — его боль можно понимать, можно не понимать, но надо уважать. И попытаться увидеть проблемы, реальные проблемы многих людей, которых это коснулось.

Игнорирование этих проблем одними дает простор для спекуляции на них — другим. И если Чичибабину причиняет боль утрата духовного пространства — в его понимании, то для многих других это — ограничение имперского пространства и неприемлемость реального существования народов вместо виртуального «братства». Сколько имперского народа отвело душу, на разные лады передергивая невинно профанированное слово «суверенитет» (не говоря об осмеянии «незави-

симости»)! Все их беды, оказывается, от чьего-то суверенитета. В недобром политфестивале сливаются голоса правых и левых, консерваторов и модернистов, интеллектуалов и святой простоты.

И мне было горько обнаружить в прекрасном предисловии блестящего критика Льва Аннинского к книге Чичибабина «Раннее и позднее» небрежное сведение сложного национального чувства поэта до казенно-русопятской фразы: «Трезвый интернационалист среди опьяненных завоевателей суверенитета».

Но послушаем лучше Чичибабина. У него ведь не все так просто и однозначно. У него есть и такое, и другое, потому что у него не было окончательных ответов и больше всего он боялся тех, у кого они есть (о чем не раз говорил). Вот и в последнем своем интервью на известный коронный вопрос, какая трещина в сердце особенно сильно болит, Чичибабин дает ожидаемый ответ: «Исчезновение с карты мира Союза Советских Социалистических Республик». Но дальше не такое уж ожидаемое: «*Отдаю себе отчет, что, в сущности, это положительный исторический факт: рухнула еще одна империя (курсив мой. — И.Дз.)*. Но эта империя — моя Родина. И то, что у меня ее не стало, это даже не трещина, а огромная дымящаяся рана» («Раннее и позднее», с. 263).

Как видим, Чичибабин «обвиняет» не «опьяненных завоевателей суверенитета», а говорит об определенном свойстве объективного исторического процесса. Это несколько разные подходы... Чичибабину была близка идея Андрея Сахарова о мирной реорганизации СССР в Союз свободных держав: «Если бы Андрей Дмитриевич Сахаров был жив, может быть, не было бы этого развала, распада нашего единого государства, мы бы вместо империи построили действительно Союз, добровольный Союз совершенно свободных независимых государств, но все-таки — Союз, все-таки содружество, какое-то единение, потому что нас очень многое связывало» (там же, с. 279). Или такое: «Я воспитывался на украинских колыбельных песнях, практически всю жизнь прожил среди своих братьев. Я никогда не уеду в Москву, я не сторонник империи. Верю в иное: в союз братьев по крови и любви» (там же, с. 366).

Сейчас вроде бы существует некий Союз — СНГ называется. Но нет в нем ничего похожего ни на идею Андрея Сахарова, ни на надежды Бориса Чичибабина, ни на чьи бы то ни было гуманистически-интернационалистские иллюзии, потому что не может существовать никакой «союз» в условиях неизбытого имперского прессинга «первого среди равных». Это Чехия и Словакия могли «развестись» в доброжелательном взаимопонимании и живут себе рядом без взаимных претензий, не испытывая потребности ни демонстрировать славянское братство, ни создавать фальшивых ситуаций вроде «года Словакии в Чехии» или «года Чехии в Словакии» — не дотягивают они до подобных советско-бюрократических фантазий.

Может быть, если бы Украине не пришлось «отпадать» от России, если бы Украина и Россия размежевались (не только в смысле границ) цивилизованно, как Чехия и Словакия, возможно, не было бы той раны в сердце Чичибабина или она не была бы такой глубокой, поскольку тогда общее оставалось бы общим, а свое — своим. Но для этого Украина должна была стать Украиной, а не вотчиной «новых русских», пусть и с украинскими фамилиями. Мне кажется, что если бы Борис Алексеевич Чичибабин посмотрел сегодня, как совершается оккупация Украины российской финансово-промышленной олигархией, российскими массмедиа, полу-блатной попой и российской Православной Церковью (мудро названной украинской), он бы несколько по-иному расставил акценты в своем вердикте. Ведь он был человеком огромной чуткости ко всему недоброму и несправедному. И, любя Россию до самозабвения, он ненавидел русский национализм больше всех прочих национализмов: «Гораздо более страшной опасностью (чем украинский национализм. — И.Дз.) мне представляется великодержавный — русский, русско-имперский национализм (...) Если национализм нации угнетаемой, подавляемой, «покровительственно похлопываемой по плечу» и стремящейся освободиться от подавления, унижения, «похлопывания», возродиться, усовершенствоваться, по-человечески понятен и оправдан, то национализм нации великой, нации, не сумевшей сохранить и уберечь свою культуру, свои святыни, но с упоением подавляющей чужие культуры, уничтожающей чужие святыни, такой национализм страшен и отвратителен вдвойне. Любой национализм, какие бы чувства во мне ни вызывал — стыда, тоски, тревоги, отвращения, страха, — если не вызывает одновременно, то способен вызвать сочувствие к себе. Русский национализм сочувствия не вызывает, он вызывает во мне ужас и ненависть (...) И то, что этот имперский

русский национализм ищет и уже чуть не нашел опору в русском православии, в церковности, уже совсем противно и мерзко» («Письма», с. 437—438).

Врожденный такт и органичная чуткость к национальному достоинству другого человека, отношение к каждому человеку как к личности без какого бы то ни было специфического интереса к его «паспортным данным» характерны для Чичибабина еще в годы его юношеского самоосознания. Позднее это подкрепляется пониманием уникальности культур и судеб разных народов. Быть может, это возникло как реакция на грубую идеологическую кампанию против «буржуазного космополитизма» с циничным раскрытием псевдонимов «космополитов» — выведением их «на чистую воду» с настоящими, неславянскими фамилиями. В юношеском возрасте — а это был конец 40-х — начало 50-х годов — такие подлые приемы вызывают особенное возмущение.

Иногда Чичибабин называл себя космополитом — возможно, это была реакция на злостную традицию профанации этого понятия в партийно-имперской пропаганде, а может быть, осмотнительное дистанцирование от понятия «интернационалист», в то время оскверненного той же официальной идеологией (чего стоит хотя бы печально известное «исполнение интернационального долга» на чужих, политых кровью землях), хотя иногда он все-таки употреблял и его. На позднесоветском жаргоне космополит — это, как известно, эвфемистический псевдоним еврея. Безудержная кампания борьбы с космополитизмом, органично перешедшая в новую стадию — «борьбу против буржуазного сионизма», была для Сталина этапом идеологической и психологической подготовки общества к «окончательному решению» «еврейского вопроса». До радикального решения не дошло, но от либеральных форм «ограничения» еврейства наследники Сталина не отказались. Когда незадолго до смерти Бориса Алексеевича российский корреспондент спросил его, что означает для него «еврейский вопрос», он ответил: «Так называемый еврейский вопрос в моей жизни занимает первостепенное место. (Корреспондент в своем вопросе упомянул слова Льва Толстого, что для него этот вопрос стоит на дальнем месте. — *ИДз.*) Я живу в еврейской семье. Все мои самые заветные, самые близкие друзья и единомышленники — евреи. Какую роль играют евреи в русской духовности, в русской культуре, русской литературе, говорить не надо: все знают» («Раннее и позднее», с. 263—264).

Но мне кажется, что те личные обстоятельства, на которые ссылается Чичибабин, — скорее не причина, а следствие его моральной и психологической установки. Ведь еще задолго до того, как эти обстоятельства возникли, 23-летний Чичибабин пишет в некотором роде программное стихотворение «Еврейскому народу», в котором с вызовом провозглашает страстную солидарность с «племенем ветхого Сиона»:

...Всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

.....
Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью, золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

Так что дело не в обстоятельствах биографии, а во врожденной человечности, которая диктует противостояние человеконенавистнической мифологии, — в конечном итоге независимо от того, какой народ становится жертвой подобной мифологии.

Еще тогда, когда для всего писательского интернационала СССР Крым ассоциировался с литфондовскими домами творчества, Ливадией и Воронцовским дворцом в Алушке (плюс «Артек»), Чичибабина волнует другое:

Люди на пляж, я — с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» — спрашивал,
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал.
«Где ж вы, — кричал, — татары?»
Нет никаких татар.

Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской
ни одного татарина.
.....

Умершим не подняться,
не пробудиться умерших...
Но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься...

Это стихотворение 1961 года осталось, быть может, самым пронзительным из всего, что написано на эту тему (российские литераторы 90-х страдали главным образом от снижения уровня комфорта на коктейльных пляжах).

И так на протяжении сорока лет поэт чутко реагирует на беды других народов, солидаризируется с ними в их противостоянии, находит в их борьбе поддержку своей вере в общую победу над имперским злом, как, например, в стихотворении «Республикам Прибалтики»:

Слава вам троем, что первые
вышли на распутие времен
спорить с танкодавящей империей,
на века прославленной враньем!

Но есть одна большая тема, в которой у Чичибабина, казалось бы, нет соперников в современной русской поэзии. Это — Украина. Представить Чичибабина вне Украины — невозможно. Она дала ему жизнь, дала вдохновение. Даже Россия ее не вытеснила, а вынуждена была «считаться» с украинским началом в его поэзии. Мы еще не осмыслили, не оценили должным образом силы украинского заряда в чичибабинском слове. Всех его глубоких прозрений касательно украинского мира — от магии ее земли до образов истории, от многокрасочной людской стихии до ее духовных вершин, среди которых находит себе Чичибабин великих собеседников — Сковороду, Гоголя, Шевченко, Лесю Украинку. К Шевченко он обращается постоянно, на протяжении всей жизни, в нем находит для себя пример и подкрепление своим силам: в целом свете для него «нет души родней и ближе Кобзаря Тараса». В минуты слабости, советует он, «отважься перечесать Тарасов ЗАПОВИТ». И только Шевченко может он поставить рядом со своим единственным богом — Пушкиным: «Даже те, кто за всю свою жизнь не прочитал ни одной строчки стихов, говорит сегодняшним языком, видит мир сегодняшними глазами, любит сегодняшней любовью, потому что были на свете Пушкин и Шевченко» («Письма», с. 268.)

Однако есть все-таки объективное отличие между миссией украинского поэта и миссией русского поэта. Шевченко твердо стоял на том, что «у них народ и слово — и у нас народ и слово». Что это означает и почему это вопрос вопросов для украинского поэта — нуждается в разъяснении. Так же, как и то, почему не всегда можно требовать от русского поэта того же, чего от поэта украинского.

Чичибабинская поэтическая версия украинской истории может потешить наше самолюбие: она, эта история, и по древности своей, и по благолепию выигрывает в сравнении с российской, «омонголотатаренной»: «Нет еще московского Ивана... Ни опричник нет, ни канцелярий... И смотрю с холмов на храмы Божьи, проклиная все, что будет позже: братний спор, монголов и Москву». Это — «Чернигов», 1976 год. А вот из знаменитого «С Украиной в крови...», 1973 год, инкриминированного Чичибабину во время исключения из Союза писателей:

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,
если б город престольный, лучась красотой и добром,
не на севере хмурым возвел золоченые кровли,
а над вольным и щедрым Днепром.

То есть для Чичибабина киевский период милее и привлекательнее московского, но это два периода одной и той же русской истории. Но и не совсем так, а иначе зачем бы проклинать Петра за то, что «свободных украинцев обратил в рабов». А в общем, для него «...Россия не существует отдельно от Украины» и: «Я себе не мыслю Украины вне России, без России» («Раннее и позднее», с. 252). Это

сказано в 1993 году подчеркнуто полемично, но он и раньше настаивал на этом, хотя и симпатизировал первым шагам Руха (позднее — нет), приветствовал усилия украинской оппозиции и диссидентов, имел среди них своих «адресатов» (поэтические послания Борису Нечерде, Миколе Руденко).

Но из столь убедительной для многих извечной объединенности совершенно выпадает та Украина (не территориально, а духовно), символом которой гражданская мысль сделала Львов. Борис Чичибабин это чувствовал, и его настороженное отношение ко «второй столице» Украины отразилось в стихотворении «Львов» (1973). Рифмованные послания — оды «знаковым» городам разных народов СССР, в которых Чичибабин побывал, — это его излюбленный жанр, он всегда колоритно и точно воссоздает неповторимый характер своих «избранных». Здесь же перед нами единственный случай, когда явственно заметно ощущение чужеродности:

Ты праздничен и щедр — но что тебе Россия?
 Зачем ты нам — такой? И мы тебе — зачем?

 Нам все чужое здесь — и камни, и листва.
 Мы в мире сироты, и нет у нас родства
 с надменной, набожной и денежной Европой.

Казалось бы, больше оснований для такого чувства могли дать Рига и Таллин, но в посвященных им стихах этого нет. Наверное, потому, что их отчужденность никак не угрожает версии русского единства. И не оттого ли в стихотворении, посвященном украинскому городу Львову, из конфигурации «Россия—Европа» выпала Украина?

Много лет спустя в переписке с поэтессой-львовянкой Жанной Храмовой (и не только в ней) Чичибабин будет подробно развивать мысль о принципиальном отличии национального возрождения в Западной Украине и Украине Восточной. Эти его рассуждения небезосновательны, но, на мой взгляд, разница между «двумя Украинами» слишком абсолютизирована. Возможно, под влиянием стереотипов, популярных среди русской и русскоязычной интеллигенции крупных городов Восточной Украины («харьковский синдром»), которые незнакомы с множеством исторических фактов, свидетельствующих о постоянном интенсивном взаимодействии Галичины и Надднепровья на протяжении XVI—XX веков и, собственно, единстве украинского народа на всей его этнической территории. А исторически обусловленные различия могут быть источником духовного богатства, диапазона разнообразия и, следовательно, — жизнеспособности. Их надо ценить, а не раздражаться из-за них.

Украина для Чичибабина — очень важная, очень дорогая, очень интимная часть его русоцентричного мира. И это естественно. «Отпадение» (позднее, помеченное 1992 годом) Украины от России он воспринял как личную трагедию. И это естественно. Его боль понятна — боль приходит без спросу.

Однако же есть и те, для кого Украина не кровная частица русоцентричного мира, а — употреблю немилое московским публицистам обозначение: суверенный мир в большом мире человечества.

И когда Чичибабин «с отпавшей Украины» страстно зовет:

И днем шепчу: Россия, будь —
 и ночью: будь, Россия, —

я его понимаю. Но вспоминаю другие, более давние его слова:

Мне нужен Бог и человек.
 Себе оставьте остальное.

В «Современных ямбах» (1991) — драматической картине межнациональных счетов в СССР периода разрыва, где поэт буквально кричит о великом грехе раздора между братьями, читаем и такое, вроде бы на наш счет:

Мы пили плеск одной криницы,
вздыхали хлеб одних полей, —
кто б думать мог, что украинцы
возненавидят москалей!

Можно ли желание государственного отделения («отпадения») от России воспринять как ненависть к москалям? Но, с другой стороны, возможен ли в такой поэзии тон рациональной уравновешенности? Тут хочется сказать другое: есть *какие-то украинцы*, которые ненавидят москалей. Есть *какие-то россияне*, которые ненавидят украинцев (не хохлов, хохлов только похлопывают по плечу). В этом мы равны. Но нет таких украинцев, которые хотели бы присоединить Россию к Украине (или «возвратить» ее в свое лоно). И есть, к сожалению, такие россияне, которые хотели бы присоединить Украину к России (это желание существовало, существует и будет существовать в различных вариантах: «освободить», «исправить историческую ошибку», «возвратить свое исконное» или проще: «освоить», «заселить»). Вот тут мы неравны. В этом разница между украинским национализмом и российским, о котором так справедливо говорил сам Борис Алексеевич.

Не случайно в своих тревожных размышлениях о судьбе России, о новых и возможных отношениях между Украиной и Россией Борис Чичибабин обращается с настойчивым поэтическим «вопросом» к Лине Костенко — как к равновеликой и тоже несущей свою миссию:

Над очеретом, над калиной
сияет сладостная высь,
в которой мы с Костенко Линой,
как брат с сестрою, обнялись.

«Я, — говорит он Лине Костенко, — зло клеймил на русском языке, Вы — на украинском». А «тот и этот — как сестра и брат, что роднее нету». Но, очевидно, не оставляло его ощущение, что тут возникнет драматичное расхождение — не может его не быть. Не «персональное», а историческое. Поэтому в страстном послании «Лине Костенко» он буквально заклинает ее общностью нашей истории «двух Русей» («Городами древними славна/ Русь моя — Украина, / а другая русская страна/ растеклась бескрайно»), в которой идиллия общности чуть-чуть подпорчена ордынским искушением второй Руси («Соблазнилась Азией Русь, чтобы стать Россией»), но не все потеряно, потому что «Украина, Киевская Русь — русскости основа!».

И все бы ничего, но Чичибабин допускает невероятную — для него — некорректность:

Вот и дивно мне, что Вы за власть
ту, что вор на воре.

Действительно, дивно. Я, кажется, не пропустил ни одного слова Лины Костенко, появившегося в печати, и ни одного слова в защиту власти, да еще воровской, не встречал. Только упреки: «зло клеймила», если сказать по-чичибабински, как никто другой. Это какая-то непонятная аберрация. Лина писала об Украине, а не о власти. Так ведь и Чичибабин, когда молится за Россию, — не за ее же воровскую власть молится!

За шесть десятилетий творчества у Чичибабина, при всей его цельности и верности тому, что он называл Главным, «набралось» немало противоречий, как у каждого человека крупного масштаба и большой динамичности. Но эти противоречия подобны полюсам одной «просторной» мысли, широкого подхода к неоднозначному объекту, неоднозначной проблеме. Некоторые исследователи настаивают на том, что самым большим его разочарованием в последние годы было разочарование в неприкасаемом кумире прошлых лет — в народе. Вплоть до отказа от самого этого понятия как фикции. И этому немало подтверждений в его собственных заявлениях. Но в то же время в одном из последних интервью он говорит: «...Я

всю жизнь считал себя частью народа и свою жизнь, свою судьбу неотделимой частью народной жизни и судьбы». Более того, это свое самоощущение он связывает с ныне поверженной и осмеянной постмодернистами народнической традицией классической литературы: «...Так я же воспитывался на русской литературе! А русский писатель всегда был на стороне тех, кому плохо» («Раннее и позднее», с. 235).

Он убежден, что политика — не дело поэта, что поэт должен быть свободен и принадлежать Вечности, но его постоянно «заносит» в политику. Он говорит: «Я не знаю, куда пойдет Россия, и не могу — и не собираюсь! — что-либо делать, чтобы как-то подправить ее путь» (там же, с. 223), — и в то же самое время только и делает, только о том и думает, как этот путь подправить, и страстно заклинает ее «быть» — да и может ли быть иначе! Он до глубины души был предан идеалам социализма, как он сам их понимал: справедливость, равенство, гуманизм, духовное богатство и высокая мораль. Потом их скомпрометировала уродливая действительность, и необходимость в них словно бы отпала, однако новая несправедливость заставляет Чичибабина возвратиться к чему-то забытому из старой веры, без ее идеологического догматизма...

Итак, нам остается одно — рассматривать Чичибабина не фрагментарно, а во всей полноте и явной противоречивости, которая представляет собой форму более глубокой, более сложной цельности. Как одного из самых больших и самых человеческих поэтов второй половины XX века.

С украинского. Перевод Елены МОВЧАН

«Такая страна»

Рубрику ведет Лев Аннинский

Тайна... возьмет да и обернется причудой, крамолой или даже докукой, и неискушенный очевидец с презрением отвернется, сочтя бесстыдством и безобразием то, что таит в себе неявленный образ.

Леонид Бежин. Чудо на могиле

Бежин-беллетрист — образ, хоть и явленный для читателей, помнящих его по «Гуманитарному буму» 80-х годов, но несколько заслоненный теперь образом ученого-синолога, религиоведа, искусствоведа, педагога, тем более что ни модных причуд, ни диссидентской крамолы, ни бытописательской докуки в его ранних повестях и рассказах не было, а было спокойное и внимательное вглядывание в реальность при неутрачиваемом желании рассказать какую-нибудь историю.

Это и теперь так. Короткое лирическое вступление (камертон) и — непременно история, иногда традиционно-семейная, иногда курортно-эротическая, а иногда — общественно-значимая, как, например, снос в Москве знаменитой Собачьей площадки, помнящей Алексея Хомякова. Или интеллигентское паломничество москвичей в Новую Деревню к священнику Александру Меню, в тот момент еще не убитому неизвестным (и по сей день) палачом. Убийство у Бежина не показано — показано, как к нему подводит течение жизни, вроде бы утопленной в мелочах.

Эти «мелочи», суммарно составляющие в прозе Бежина социальный и психологический «фон», прорисованы пером «пуантилиста», но врезаются в сознание читателя.

Ну, например: снежный оползень свисает с шиферной крыши, но не обламывается; сквозь переплет террасы виден стол без клеенки... остановившиеся ходики... пара яблок, закатившихся в угол дивана.

Автор явно прошел курс у Чехова и помнит горлышко бутылки в лунном свете, хотя далек от чеховских времен и ситуаций. Перед ним дачи недавних, послевоенных десятилетий — «обманчивая и чарующая отрада» истерзанной страны: место, куда свозят старую мебель (жаль выкинуть), отправляют на лето детей... где донашивают траченные молью пальто, старомодные боты, выцветшие, вылинявшие, выгоревшие на солнце кители и гимнастерки...

Поворот хрусталика — и вы видите, откуда везут этих детей, откуда сплавляют эти гимнастерки. Проходной двор, заваленный досками, завешанный задубевшим от мороза бельем. Смердная помойка с котами и мухами. Арочный коридор, проходящий под домом — длинный, мрачный, отдающий сырým кирпичом и кошками, с тусклым мигающим фонарем в проволочной сетке. Родная коммуналка, да не из худших: здесь обитают создатели высоток, проектировщики лепнины, они слышат за стенкой пьяную брань, визг гармошки, они обсуждают творческие

вопросы по телефону, висящему в коридоре, а за спиной в это время шаркает, шмыгает, харкает, плюет и гремит ведрами народ.

Вываться! В вуз! Безденежье студентов — их мировоззрение. Аудитории полны. Старого профессора ведут на кафедру под руки, он трубно сморкается, крикает, насаживает на красный нос пенсне, отхлебывает из граненого стакана крепкого чаю и раскрывает рот:

— Ну-с, милостивые государи...

Милостивые государи, получив дипломы, начинают «вовремя получать, перед праздниками приносить и на демонстрациях размахивать». Должность младшего сотрудника — единственно доступная форма свободы: жизнь состоит из *неприсутственных* дней, и никто не мечтает о большей роскоши, чем остаться дома под предлогом посещения библиотеки или написания полагающихся по плану листов.

Страна-колдобина! Страна-яма! Страна-цистерна! Нефтехранилище с узкой лесенкой по железной стенке и завинчивающейся крышкой люка! Страна, где Соловки сделались лагерем, пыточной дыбой, душегубкой, а Дивеево — адской лабораторией, где изобретают водородную бомбу! Да есть ли в этой стране, в этой действительности, в этой железобетонной реальности хоть что-нибудь другое, кроме ноздреватых блоков на железных крючьях?

Есть. Полюс относительной недоступности: блондинки прибалтийского разлива. Холодные голубые глаза, волосы, туго стянутые и заколотые гребнем, нитка янтаря на груди, белый отложной воротничок поверх лацканов жакета.

На другом полюсе — бывший кулак-мироед. Наливает из огромной мутной бутылки, выпивает, еще наливает, еще выпивает. Прослезившись, занюхивает рукавом.

В центре, в середине этого мира, вернее, в зеркальном, перевернутом, вывернутом отражении этой среднестатистической середины — борец против системы. Он ушел в дворники, чистит снег во дворе высотного дома, где в подвале у него каморка с метлами, лопатами и скребками, а также чемодан с запрещенными книгами. Иногда он их читает, иногда стоит на голове, как йог, иногда молится перед иконами святых Гавриила и Евстратия, умученных от жидов, а иногда валяется на продавленной койке и бессмысленно разглядывает потолок.

Вопрос все тот же: что делать (если на вопрос: кто виноват — уже ответили умученные святые).

Сесть в электричку — и ты в рай. Нос плоскодонки, уткнувшейся в островок кувшинок... брошенные в траве велосипеды с привязанными к рамам подушечками... заросли малины.

А если зима?

А если зима, то сесть опять-таки в электричку (промерзшую) и завалиться к знакомой, которая работает на мебельной фабрике в обивочном цехе. На работу она ездит далеко, встает рано, досыпает все в той же электричке, если удастся захватить место, так что отгулы — тот же рай. Живет она в домике, занесенном снегом по самую крышу. Провести с ней в таком домике три дня блаженной истомы, после чего она скажет: «Если что... ты ничуть не обязан». И спросит: «Руфь, о которой ты говорил, — моавитянка? Она не еврейка? Боря, а моавитяне — русские?»

Я выбираю из разных повестей и рассказов. Бежина эти скользящие зарисовки, летящие штрихи, мгновенные реплики, вроде бы не имеющие прямого отношения к той или иной «истории», а если имеющие, то не более чем отношение дальнего, общего плана к ближнему, крупному, — я их собираю вместе, чтобы было видно, во-первых, что это единая, связанная картина, *общий план*; во-вторых, что этот общий план таит в себе «не явленную», однако хорошо осознваемую концепцию российской действительности, и, в-третьих, — именно эта общая картина позволяет понять смысл того сквозного драматического сюжета, который проходит через все «истории», рассказанные Леонидом Бежиным.

Начинается сюжет с того самого ощущения, которое побуждает бежинского героя бежать из страны-цистерны: он обречен жить, как все, и воспринимает эту перспективу с ужасом и отвращением. Виртуозная формулировка: «Быть похожим

на счастливых». Чуть прямее: «Отдаться привычному покою несчастья». Или так: «Жизнь сама по себе, а счастье само по себе».

Можно жить в этом состоянии? Можно — если постоянно подавляешь в себе беспокойство, неясную тревогу и тот уже упомянутый вопрос, с которого у нас начинается всякое разбирательство (а иногда им и кончается): кто виноват?

Виноват тот, кто выбивается из общего тягла, вылезает из цистерны. Обычно это артист, художник, музыкант — в традиционно-светской ситуации. В традиционно-религиозной — это святой, канонизированный или самозванный — не важно. В глазах других это всегда счастливчик, на которого обычный обыватель смотрит у Бежина со смешанным чувством, где восторженное и почти рабское поклонение соединяется с завистью и ненавистью.

Спасаясь от невыносимого комплекса неполноценности, бежинский герой избирает (или, лучше сказать, изобретает) позицию, которой нельзя отказать в изощренности: это обернутая в самоуничижение гордыня. «Приватный наблюдатель, эдакий хитрец с улыбочкой, себе на уме». Всмотревшись в эту улыбочку, иной счастливчик скажет: «Ах, вот он кто, мой наблюдатель», — разгадав секрет, заключающийся в том, что человек, не умеющий быть счастливым, решает стать тайным дирижером чужого счастья, его неузнаваемым устройтелем.

В сущности, это довольно дерзкая попытка соперничать со Вседержителем судеб, и «наблюдатель» про себя это знает. Или смутно чувствует.

Отсюда — разлитое в прозе Бежина двойное видение. Человек ест, пьет, разговаривает, интригует, влюбляется, очаровывается, разочаровывается, а каким-то потайным уровнем сознания допытывается: что же все это значит?

Это особенно ясно у Бежина во время диалогов, вернее, по ходу ремарок.

«— Да! — потребовала Нина Евгеньевна, протягивая руку и проворачиваясь в знак какой-то особой брезгливости...»

— Нет-нет, это я в другом смысле. — Кузя округлил глаза с отчаянием, которое одно могло донести до матери *другой смысл*...»

Сквозной мотив: «сказав одно, намекнуть совсем на другое».

Шире: на что ни взглянуть — непременно заподозрить «другое». Вечно хочется «чего-то иного, далекого, несбыточного». Старая добрая русская мечта — сбежать туда, где нас нет. На край света! В Опоньское царство! Куда угодно закатиться — из этой цистерны, бетономешалки, колдобины!

Позвольте, но вот исторические декорации меняются. Пока было завинчено, все помыслы летели за кордон. А теперь — пожалуйста! Лети собственной персоной! Вот тебе билет.

«Когда самолет поднялся, Ляля вдруг поймала себя на том... что она дерево, с корнями вырванное из земли... (Сейчас Бежин успокоит ее и нас финальной фразой.) ... но чем выше подымался самолет, тем спокойнее ей становилось».

Ей — спокойнее, нам — нет. Потому что человек, меняя место, все равно несет с собой все то, что изнутри определяет его состояние. Искорка у него там или «червячок»... Даже и с успехом меняя вокруг себя ситуацию, человек от себя самого спастись не может. Всякое изменение ситуации начинается внутри души. Пока существовала советская власть, можно было «тешиться и смутами, и путчами, и баррикадами». Но потом «у сказочного великана, сплотившего нерушимым союзом великую Русь, подломились глиняные ноги, и он рухнул, ударившись медным лбом о камни так, что из глаз искры посыпались и от этих искр занялось...».

Оттенок злорадства в этой метафоре (которая за шестьдесят лет до бежинской героини была, между прочим, озвучена господином Гитлером) побуждает меня договорить: это у вас «занялось», милая Ляля, это у вас посыпались искры и это у вас должно теперь обнаружиться то, что было скрыто за смутами, путчами и баррикадами.

Бежин и показывает, что именно обнаружилось. Жажда и ожидание чуда — вот «новоявленный образ», который дремал в душе «неискушенного очевидца», «приватного наблюдателя», дворника-диссидента, стоявшего на голове. Пала Держава, грохнулся советский великан, освободилась из его темницы «мудрая дева по имени Россия», и что же?

А то, что, оборачиваясь на «темницу», мудрая дева, вернувшаяся в лоно

Церкви, вдруг соображает, что союз *нерушимый* был создан не по образцу русской государственности (это какой? Киевской? Новгородской? Московитской? — Л.А.), а по образцу официальной православной церковности с ее Синодом (надо думать, это Политбюро ЦК КПСС. — Л.А.), анафемами, преследованием еретиков (проницательный религиовед, Леонид Бежин подсказывает замечательное определение: «марксистский приход». — Л.А.), и поскольку его герои, чудом освобожденные из советской темницы, на развалинах этой темницы продолжают ждать *чуда*, он разворачивает перед ними некоторые возможные в данной «истории» варианты воцерковления.

Ляля — та улетела к мусульманам. Вышла замуж за иранского «шейха». И обнаружилось, что ее муж — такой же диссидент, как наш Кузя, только по-шиитски. То ли стоит на голове, то ли сидит в тюрьме.

Валерия, старшая сестра Ляли, — приземляется у лютеран. Надоела, понимаете ли, вечная русская дурь, хочется порядка, хочется в Германию. Муж — немец. Что же выясняется? Немец, выучивший русский язык и начитавшийся Достоевского, изо всех сил русеет, его арийская душа изнывает по православию, он упоенно опаздывает на деловые встречи, отрачивает окладистую бороду и млеет от Всенощной Рахманинова! «И не мечтай! — кричит ему рвущаяся в лютеранство русская жена. — Я не собираюсь из-за твоих безумств испортить себе жизнь. Эта Россия, которую ты по-сыновнему любишь, для меня хуже злой мачехи. Хватит! Нахлебалась я тут! Хочу жить в Германии...» А он упирается, он из «образцового, послушного и исполнительного немца» на глазах превращается в «расхристанного и забубенного гуляку-русского».

«Расхристанного» — не случайное слово. На Христе пути сходятся и расходятся. Христа хотят переосвоить исламские реформаторы, для которых он — «скрытый имам». На Христа претендуют все христианские разнославия. Включая и еретические. Так что если старшая сестра стала лютеранкой, а средняя из комсомолок перелетела в мусульманки, то младшей, «этой дурехе» с косицами и модным кольцом в носу, «одна дорога — в секту».

В секте, натурально, дядя Паша. Тот самый, на могилку которого со временем станут ходить его слушатели в ожидании *чуда*. А пока он — неведомо откуда появившийся, «скуластый, со славянским открытым лицом, голубыми глазами и орлиным носом, но бритоголовый, как татарин, носит тубетейку и подпоясывается солдатским ремнем», — пророчит «возрождение России» на нынешней «мертвой земле». Поди поспорь.

Мда, в интересное время мы живем, загадочно улыбается Леонид Бежин. И переходит к главной теме своего религиоведческого пасьянса: к официальному русскому православию.

Каноны и догматы — вне критики. Речь о людях. Ну, почему у батюшки непременно живот, расплывшееся красное лицо и оловянная пустота в глазах? Почему дякон со сторожем пьют и редькой закусывают? Почему старухи у свечного ящика все востроносые, с луковками седых волос на затылке и так зло на всех шипят, наводя *свой* порядок? А эти черные рясы и клобуки, это какое-то... *царство мух!* И опять вера и любовь подменяются обрядом, и снова важнее всего православный *образ жизни*, с освящением яиц и кулича, пасхальным окороком, христосованием и рюмкой водки! Затем — квасной патриотизм, ненависть к евреям и прочим инородцам, затем — погромы...

— Кто убил отца Александра?

— Мы... *Наше православие*, — отвечает Бежин устами своих любимых героев.

Несомненно, это — самая острая, самая рискованная и даже опасная из всех рассказанных в его книге «историй». И несомненно, именно она вызовет возмущение у людей, приверженных ортодоксальной церковности.

Но не у меня.

Потому что *образ жизни* быстро не меняется. *Облик народа* — это то, что лежит под любыми догматами и канонами. Это то, что как *идеальный образ* хранится под всеми клобуками и рясами.

Идеальный образ?! «Ну... образ праведности, что ли... Святости, если хотите».

Понимаю: это образ, сокрытый под причудой, крамолой, докукой, под бесстыдством и безобразием повседневности, под бубнением ортодоксии и радением секты. Только этому бесстыдству тоже ведь надо в глаза смотреть. Не увликая от того, что и оно — «народ». Куда от народа-то?

Можно, конечно, куда-нибудь... к звездам. То есть на чердак, где скрываются от пошлой реальности мечтатели, романтики, люди с воспаленным воображением. Тут Бежин-беллетрист передает слово... нет, не слово, а дирижерскую палочку — Бежину-музыковеду. Следуют: прелюдия си-минор Баха-Зилоти, потом Чакона Баха-Бузони... Фантазия до-минор Моцарта... Лунная соната Бетховена... Лесной царь Шуберта-Листа... 11-я вариация из Симфонических этюдов Шумана... Интермеццо ми-бемоль-мажор Брамса... Этюд Паганини-Листа... Жаль расставаться с роялем... с мольбертом... с письменным столом...

Увы. Надо. Приходится возвращаться с пламенеющих высот в родные болота. Из-под персидских шатров — в родные палестины. Из апартаментов с бассейнами, из садов с павлинами — под родные осины. Сюда, где тайна спрятана глубоко, а на поверхности — говорение пустяков, все тот же нескончаемый *гуманитарный бум*: ожидание чуда, лукавство неискушенных очевидцев, *чары* художников, лай *собачьих площадок*. Живут люди, тикают часы, горят лампочки на новогодних елках, мяукают кошки, спят детки в кроватках. А рядом рычат бульдозеры, готовясь все это спрямить и сравнять. И Дар Божий, великая оздоровляющая сила, нависает над этой жизнью почему-то всегда в облике атеизма, богоборчества, бунта.

«Такая страна»...

Музыкой все это, может быть, и можно исчерпать. А вот словами — нет. И поэтому о главном — молчок. Тайна! Никогда до конца не откроется. Но неявно, «не явлено» — всегда будет терзать души и неискушенных очевидцев, и их искусленного создателя — Леонида Бежина.

Summary

ROMAN SENCHIN. Take It Easy. A long short story.

An ordinary today's family: Father, Mother, Daughter – separated from husband, having a little son. Ordinary present-day problems. Three life stories. Three points of view. Three ways out.

BORIS HAZANOV. The Third Time.

An exquisite weaving of the protagonist's mixed-timed memoirs of his youth, first awakening of sensuality, of the people, places and events which made the background of his life during the evacuation from Moscow in the time of the World War II.

ALEXANDER GUTOV's poems immediately attract the reader's attention by the dynamics of the rhythm, astonishing freshness of the metaphors, sometimes harsh definitions of the events in our present-day life. All this make the lyric structure of Gutov's poetry highly original.

ANATOLIJ ZIRULNIKOV. Several Nights with Warrior, Shaman and Blacksmith.

In his essay the author shares with the readers his exceptional knowledge and observations over the mentality, rituals, way of life, history and present day existence of Yakuts.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экзemplярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

E-mail: dn@mail.sitek.ru, <http://magazines.russ.ru/druzha/>

Слано в набор 20.03.03. Подписано в печать 21.04.03. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отг. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 3000 экз. Заказ 779. Цена свободная.

Отпечатано в ФГУП Издательство и типография газеты «Красная звезда». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38.

Читайте

во второй половине 2003 года в разделе

Публицистика

Борис Василевский

Русская Атлантида

Лирический и одновременно иронический рассказ о том, как «великими стройкам капитализма» обернулись «великие стройки коммунизма» — возведение каскада ГЭС на Ангаре, когда на дно водохранилищ, разлившихся в бассейне великой реки, разом ушло более десятка тысяч квадратных километров земель и около четырехсот деревень и поселков, а затем ушла в небытие еще более обширная Атлантида — великая страна Советский Союз.

Андрей Мурзин

От советского мифа к «уральской утопии»

Идеи «возрождения» вдохновляют не только национальные республики Российской Федерации. Вряд ли можно найти в нашей стране регион, который в поисках новой идентичности не пытался бы найти опору для своего нынешнего развития в своем историческом прошлом. Урал здесь — один из наиболее ярких примеров. «Уральский миф», сложившийся в советское время, продолжает и по сей день во многом определять логику развития региона.

Константин Фрумкин

Снобизм и его сублимации

Размышления об особенностях отношения российского интеллигента к своим менее образованным согражданам.

Библиотека XXI

Серия материалов — статей, очерков, бесед — о современном состоянии российских библиотек и проблемах развития библиотечного дела в России, о материальном положении и социальном статусе библиотекаря в наши дни.

«Дружба народов» — 2003

Романы, повести:

Геннадий АБРАМОВ. Новая повесть.

Анатолий АЗОЛЬСКИЙ. Севастополь и далее. *Рассказы.*

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ. Чудный олень вечной охоты. *Книга о любви. Лауреат многих российских и международных премий, автор трагических книг «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва» на сей раз обратилась к теме любви.*

Визма БЕЛШЕВИЦА. Билле. *Главы из книги воспоминаний выдающейся латышской поэтессы.*

Владимир БУТРОМЕЕВ. Сто тысяч королей. *Вторая часть романа-диссертации «Корона Великого Княжества».*

Василь БЫКОВ. Долгая дорога домой. *Воспоминания.*

Елена ГИЛЯРОВА. Кладоискатель. *Повесть.*

Даниил ГРАНИН. Оборванный след. *Повесть.*

Георгий ДАНЕЛИЯ. Безбилетный пассажир. *Короткометражные истории из жизни кинорежиссера. Вторая серия.*

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ. Победитель. *Повесть.*

Валерий ИСХАКОВ. Состояние комфорта. *Роман.*

Владимир ЛАКШИН. Дневники и попутное.

Грант МАТЕВОСЯН. По краю. *Повесть.*

Марина МОСКВИНА. Четырнадцать дней в Гималаях.

Повесть-странствие.

Ирина МУРАВЬЕВА. Новая повесть.

Анатолий ПРИСТАВКИН. Вагончик мой дальний. *Повесть.*

Елена РЖЕВСКАЯ. Домашний очаг. *Повесть.*

Дина РУБИНА. Вера. *Роман.*

Слава СЕРГЕЕВ. Путем актера. *Повесть.*

Виктор СМИРНОВ. Новая повесть.

Роман СЕНЧИН. Друг человека... *Повесть.*

Ольга ТРИФОНОВА. Новая повесть.

Борис ХАЗАНОВ. Третье время. *Повесть.*

Олег ХАФИЗОВ. Киж. *Роман.*

Леонид ЮЗЕФОВИЧ. Новый роман.

Рассказы:

А.АЙВАЗЯНА, Г.БАКЛАНОВА, А.БОССАРТ, Дм.БЫКОВА, Э.ГЕРА, О.ДАРКА, Е.ДОЛГОПЯТ, А.КОРОЛЕВА, Л.КОСТЮКОВА, В.МОЩЕНКО, К.ПЛЕШАКОВА, В.ПЬЕЦУХА, Н.САДУР, О.СЛАВНИКОВОЙ, А.ЭППЕЛЯ